

география / этнография

Придуманные люди
с острова Минданао



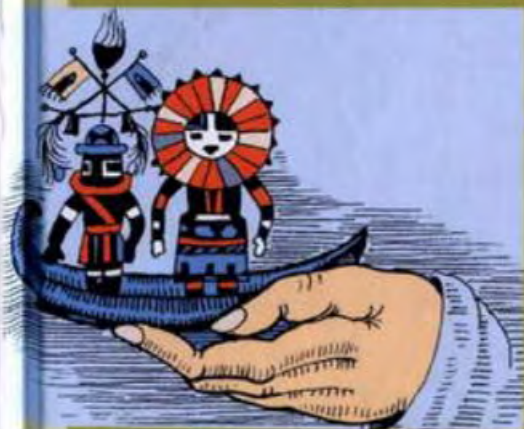
Лев Минц



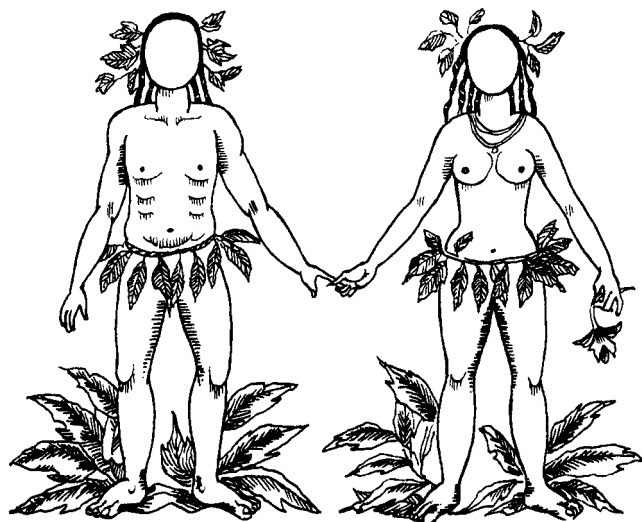
Лев Минц

П

ридуманные
люди с острова
Минданао

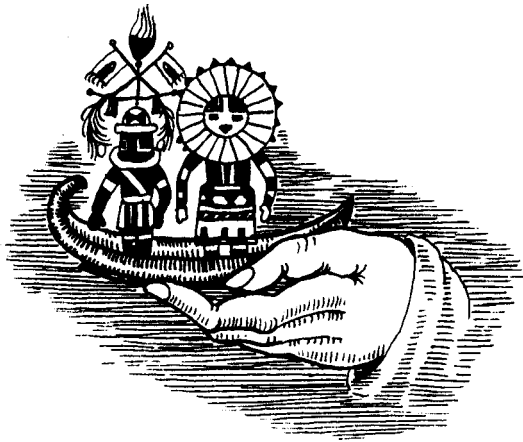


Ломоносовъ



Лев Минц

Придуманные люди
с острова Минданао



Издательство «Ломоносовъ»
Москва • 2010

УДК 392
ББК 26.8
М62

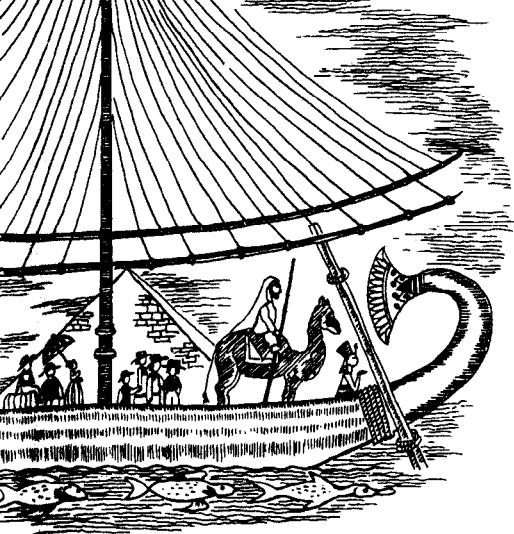
Иллюстрации И. Тибилевой

Scan by Greego

ISBN 978-5-91678-051-2

© Лев Минц, 2010
© «Издательство «Ломоносовъ», 2010

Ане и Ксюше —
дед Миرونч



Нильский пароход
(Отплытие)

Все капитаны нильских пароходов одеты в серые рубахи-габееи до пят. На головах у них феска-тарбуш, свободно обмотанная пышным тюрбаном тоже серого цвета. Почему они так одеваются — неизвестно; я выяснил только, что такой же костюм они носили и при англичанах, при которых пошли по Нилу туристские пароходы.

Пароход идет в историю: Древнее царство Египта с его столицей Фивами (нынешним Луксором), с Долиной Царей, с могучими храмами в Идфу. Сегодня корабли убранством и слегка старомодным уютом напоминают гостиницу в надежном викторианском стиле. Пароходы в основном называются «Аида» и различаются римской цифрой: «Аида I», «Аида II» и так далее. В Луксоре я видел «Аиду VII». «Аид» с последующими номерами встретить не довелось: я провел на Ниле всего две ночи. И почти два дня в пустыне.

В Ком-Омбу, портовый город на Ниле, мы ехали через пустыню почти 10 часов. Рано утром выехали из Хургады, чтобы успеть в город за несколько часов до прихода парохода «Аида II».

Программа нас ждала насыщенная: Ком-Омбу — город старинный, и даже в самом звучании его имени слышится нечто древнеегипетское. Мы должны были в полной мере хлебнуть древностей, погулять по городу и окрестностям, не торопясь подъехать к пристани и на «Аиде II» пойти вниз по великой реке. Группа у нас была маленькая: корреспонденты и телевизионщики, автобус — удобный и надежный.

Сразу скажу, что Ком-Омбу нам так и не удалось посмотреть: дорога затянулась. В том не было ни малейшей вины нашего слегка измученного рамаданом водителя. Помешали местные реалии, носившие совсем не экзотическое название «контрольно-пропускных пунктов». Первый из них располагался на окраине Хургады, и нами там интересовались мало: главная его задача не пускать в курортную зону лишних и нежелательных лиц.

Сразу за Хургадой начиналась пустыня — серая и каменистая. Больше всего она напоминала высохший пустырь между домами в наших новых районах, только бесконечный. Потом пошли голые каменистые горы. Их гряда отделяет побережье Красного моря от остальной части страны и тем создает приятный для отдыха хургадский климат.

Вскоре стал появляться песок. Сначала он лежал в складках гор, как снег в северных широтах, и как поземка мел по шоссе, но затем пошел сплошняком. Это была уже такая пустыня, как мы себе ее представляем, — без растительности, но и без удручающего однообразия. Пески разных цветов и оттенков напоздали друг на друга, вторгались языками и тем создавали вечно меняющуюся картину.

Перед городом Кена — на самом краю пустыни — появились чахлые пальмы. И сразу же — вдруг! — буйная зелень. И дома, дома, дома — серые, кубические, слепые и невзрачные. Дома тянулись вдоль канала, параллельного Нилу.

И словно не было в десяти минутах отсюда безлюдных песков — во все стороны брели люди в серых галабях, тюр-

банах, а то и кашне на головах: февраль на дворе. У людей были смуглые, почти черные лица и курчавые волосы. Брели они медленно, египетский климат к спешке не располагает, и если останавливались, то надолго и немедленно принимали позу, удобную для отдыха.

Мы въехали в Ком-Омбу почти минута в минуту с прибытием «Аиды II». По расписанию, к счастью. Так что около часа у нас еще оставалось в запасе. Уходить с пристани не имело смысла. Я подошел к парапету набережной и впервые в жизни увидел Нил вблизи.

Вода в нем была почти синей и на вид чистой. Я представлял его мутным и илистым: читал об этом в «Истории древнего мира» в пятом классе. Величественно появилась наша «Аида» и начала швартоваться. На мостике стоял капитан, и солнечный ветер трепал длинные полы его галабеи. С борта на берег брошен был трап, и по нему на берег высыпала толпа темнокожих людей с правильными чертами лица. Очевидно, это были нубийцы; известны своей преданностью и непритязательностью, они составляют большинство среди услуги в этих местах. Они, радостно улыбаясь, кинулись к нашим вещам, как бы состязаясь друг с другом — кто больше ухватит за раз.

Я спросил нубийцев:

— О, нубийцы! Зачем вы забираете мои тюки и сумы?

Нубийцы сказали:

— О, господин! Мы несем твои тюки и сумы туда, куда приказал наш господин, менеджер отеля — твой друг, определивший тебе место, где ты будешь приятно жить, а мы — хвала Аллаху! — будем служить тебе там!

Я сказал нубийцам:

— О, нубийцы! Сколько я должен дать вам за верную службу?

Нубийцы отвечали:

— О, господин! Нисколько, ибо если друг твой, наш господин, узнает, что ты нам платишь, он огорчится столь сильно, что мы не сможем вынести этого. Но поскольку нам больно обидеть тебя, мы с благодарностью примем твой подарок, чтобы помнить о тебе. Три египетских фунта будет достаточно.

— О, нубийцы! — сказал я нубийцам. — Слова ваши приятны. Примите же от меня этот один фунт.

Честно говоря, у меня не было сум и тюков: с одной своей сумкой я бы справился сам, играючи. Более того: я не понял, что говорили нубийцы: запас их английских слов ограничивался почти одними числительными. Но на фоне башен города Ком-Омбу, на берегу великого Нила, среди темнокожих людей в тюрбанах хотелось говорить в стиле «Тысячи и одной ночи». И на пароходе было столько красного дерева и начищенной бронзы...

Тут я должен остановиться — и не только чтобы передохнуть после дороги по пустыне и содержательной беседы с нубийцами. Следует объяснить с читателем: с чего это книжку об этнографии буднего дня я начал с путешествия по Нилу.

С Нилом проще всего: это не просто река, это история, причем история, знакомая нам с детства: фараоны, пирамиды, «Египет — дар Нила» — все это мы усваиваем с детства и ждем увидеть и услышать, попав на место. Более того, все мы начитались — в детстве же, с особым удовольствием — книг о приключениях в жарких и экзотических странах. Отсюда и знаем всякие «О, господин!», «Да, бвана!», «Друг твой, наш господин» и прочее, что идеально сочетается с красным деревом, начищенной бронзой дверных ручек и подержанными викторианскими зданиями.

Но там же на нильском пароходе мне пришлось столкнуться с тем, что у Жюль Верна и капитана Марриета не описывалось, но что, несомненно, было этнографией. Только в отличие от «Да, бвана, сэръ!», этнографией живой. Этнографией каждого дня.

Столкнуться пришлось не только мне, а всей небольшой съемочной группе, с которой я путешествовал по Великой Реке. Большую часть пассажиров на «Аиде Номер-Не-Помню-Какой» составляли немцы. Вообще-то сейчас не найдешь места на планете, где немцы не составляли бы значительную часть путешествующих, но был нетуристический месяц февраль, когда в путь-дорогу тронулись не самые богатые и не очень образованные немцы, которым этот рейс как раз был по карману.

Мы неплохо уживались на корабле, здоровались, переговаривались на пиджин-инглише. По вечерам туристическая компания устраивала нашим спутникам развлечения, мы туда не ходили, но, впрочем, нас и не звали. Я как-то случайно зашел в зал, откуда доносился гомерический хохот, и увидел веселье, знакомое мне по младшему отряду пионерлагеря. Но люди за свое веселье заплатили полновесными евро и веселились от души.

Но вот в одном порту случилась — по вине египетской стороны — досадная нестыковка: нашей группе не подали микроавтобус. Немецкую же группу туристов ожидал большой и комфортабельный автобус. Ехать нам было в одном направлении и к одному объекту: им посмотреть и пощелкать фотомыльницами, а нам — снять кадры телефильма. Поэтому нервны были операторы: нужного освещения, не попади мы туда прямо сейчас, ждать пришлось бы сутки. Суток у нас не было. Автобус с немцами был рядом. Наш египтянин, помявшись, подошел к их египтянину и стал с ним договариваться. Тот не выказывал радости от возможности нам помочь, но решился. И через минуту мы влезли в автобус, где уже сидели, вытянув красные от африканского солнца волосатые ноги, наши спутники. Мы ехали стоя, они — сидя. Автобус все-таки был нанят ими. Глядели они на нас с заметным холодком, но без враждебности и вызова. По приезде приняли наши благодарности и предупредили: «Автобус от этого места тронется в девятнадцать часов. *Ровно в девятнадцать*. Удачных съемок!»

Без пяти семь к автобусу подошел я. Немцы уже были на месте. Ровно в семь автобус тронулся, хотя видно было, что к нему бежит сценарист Кукушкин с дамой-блондинкой. Я, естественно, остался. В течение получаса подошли наши, мы взяли фэтоны — совсем недорого и очень занимательно! — и прибыли на «Аиду».

В сущности, здесь нет ничего особо интересного — так, эпизод. О немецкой пунктуальности все мы слышаны. О дальнейшем же мы слышаны не были.

Питались мы на шведский лад с семи до десяти утра. Всем всего хватало и египетской службе оставалось. Немцы встают и начинают работать (а тут культурно отдохнуть) очень

рано. К началу девятого последние из них уходили на палубу, зато первым из наших появлялся я и успевал еще обменяться с немцами «Гут морген!». К полдесятого спускались остальные. Но это никому не мешало.

Тем злосчастливым утром, спустившись в столовую, я услышал как бы плач: то постанывал египетский персонал, которому, кажется, не оставалось ничего. Как, впрочем, и нашим землякам. Немцы прошлись словно бульдозером. Персонал выкрутился, сварганив какую-то яичницу и сосиски. С опозданием.

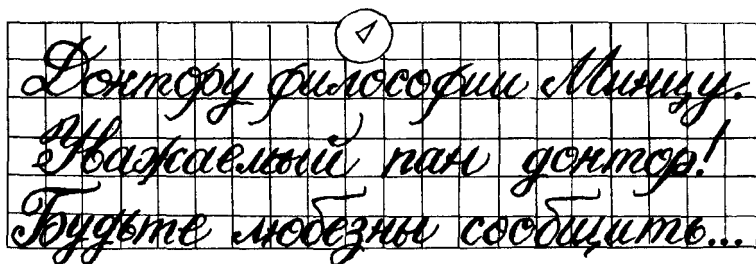
На палубе немцы выглядели довольно любезно, но глядели на нас с интересом. В обед история повторилась. Они наказали нас за вторжение в их частную жизнь — в данном случае в оплаченный ими автобус. В ужин не осталось даже хлеба. Не помню, как мы выкрутились, но слышно было до рассвета, как ликовал немец. Немцы пели хором, и звучное «а-ха-ха!» разносилось над нильскими водами.

Утром наши пути разошлись.

Тут-то я и подхожу к главному: все произошло от того, что мы, зная, к примеру, о немецкой педантичности, не имели ни малейшего представления о том, что такое вежливость в немецком представлении, что может, к примеру, обидеть их, когда мы этого даже не замечаем. Что такое понимание собственности — у немцев, у англичан, у венгров, чехов, вьетнамцев, в конце концов.

Какое у них чувство юмора. Все ли смеются от того же, что и мы. Надо ли вставать, когда входит дама.

Всего не перечислишь. А ведь все это и есть *этнография буднего дня*.



Доктору философии Миницу.
Уважаемый наш доктор!
Будьте любезны сообщить...

Автор на нескольких примерах показывает, что вежливость — понятие разнообразное, что лезть у одних звучит как брань у других, но это не должно нам мешать придерживаться в каждом монастыре его устава: это оценят всегда правильно — но именно этого не знал мелкий коммерсант из Вьетнама.

В нашем доме проживает одна крайне вздорная пожилая женщина. Ее желание навести порядок на свой лад совершенно неудержимо. И стоит ей выйти на улицу и заметить некий беспорядок, как она немедленно вступает в бой. Делает это она в хамской форме. Ее стремления обычно натываются на ответную реакцию и добрых плодов не приносят. Соображая, что на ее слово ответят двадцатью, пятнадцать из которых не подлежат опубликованию, она стала поосторожнее и сдерживает свой всегда праведный гнев, пока не наткнется на жертву, с ее точки зрения, более слабую. Именно таковой жертвой ей представился также проживающий в нашем доме коммерсант-вьетнамец, невысокий брюнет, разъезжающий на «Фольксвагене». И вот, увидев, что вьетнамец припарковал свой «Фольксваген» у самого дома, не заезжая, впрочем, на траву, вздорная пожилая женщина ринулась к нему от своего подъезда, куда вьетнамец машину никогда не ставил. Она ревела, она кричала, она визжала, так что и понять-то было трудно, что она, собственно, хочет. Слабо владеющий рус-

ским языком коммерсант не стал разбираться в законности и обоснованности ее требований. Он миролюбиво произнес: «Хорошо, *бабушка*», — и сел за руль, чтобы отъехать. На лице его не отразилось никаких эмоций.

Я думал, что даму хватит кондрашка — так она завелась и покраснела. Даже не знаю, чем бы это закончилось, но, на счастье, она увидела меня (я курил у подъезда) и взвыла: — Вы-то что молчите!

Я попытался объяснить, что не увидел никакого криминала в действиях азиатского торговца, но она прервала меня желчной диатрибой, из которой примерно следовало, что именно из-за равнодушия и бессердечия таких, как я, орды вьетнамцев и других незаконных иммигрантов покушаются на достоинство и покой почтенных московских дам. Продолжать эту банальную историю не имеет смысла. Но есть в ней элементы, которые позволяют сделать некоторые полезные выводы.

Собственно говоря, из-за чего взорвалась вздорная бабка? Из-за того, что ее назвали бабушкой, то есть подчеркнули ее преклонный возраст и — очевидно — соответствующую ему дряхлость и прочее, прочее. У нас принято выглядеть молодым и энергичным, или производить таковое впечатление, или по крайней мере охотно давать себя обмануть, когда на ваше заявление, что вам уже шестьдесят, вам ответят: «Ах, что вы! Я бы вам больше пятидесяти пяти не дал!»

Примерно так же ведут себя и остальные европейцы, включая американцев. (Впрочем, описываемая мною дама по свойствам своего характера вряд ли приняла бы любой комплимент: ей нужно было победоносное сражение.)

Вьетнамец же поступил максимально вежливо — с его восточноазиатской точки зрения. Для него признание человека *старшим* равносильно признанию его правоты. Со старшими на Востоке не спорят. Старшие всегда правы. И поэтому, когда встреченный вами вьетнамец, кореец, китаец спросит вас (если вы не очень молоды, разумеется): «Вы уже на пенсии или еще работаете?» — это не означает, что он хочет вас обидеть («Надо же! Такая развалина, а туда же — делает еще что-то...»). Наоборот, он показывает вам, что готов вас беспрекословно уважать и слушаться.

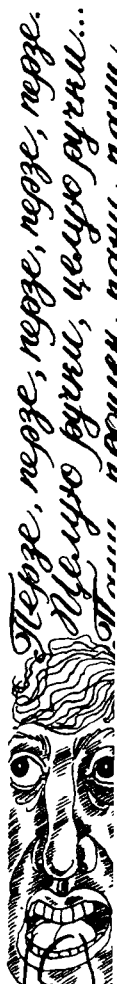
Тут столкнулись два совершенно разных мировоззрения, и понять им друг друга довольно трудно. Тем более в таком сложном и трудно объясняемом деле, как вежливость.

В сущности, что такое вежливость? Соблюдение неких правил, принятых в обществе, четко определяющих положение и статус — ваши и окружающих: тут и манера обращаться, и жесты, и некоторые взаимные обязательства. Усвоить их довольно трудно. Нас им обычно начинают учить в раннем детстве («Мишенька! Старшим надо говорить “вы”!», «Надо вставать, когда здороваешься!», «Помолчи, когда взрослые говорят!» и т. д.). Со временем они так въедаются в нас, что мы совершенно автоматически переключаемся с «ты» на «вы», с имени на имя-отчество; знаем, кому представиться по имени, кому — добавляя свое отчество, а кому только по фамилии. Причем тут существуют десятки оттенков: имя — на «ты», имя — на «вы», имя-отчество и «ты», только отчество. Так, за столом вы совершенно естественно скажете вашему девятилетнему брату: «Кончай жрать шпроты, поделись с другими!», своему приятелю-ровеснику: «Димон, кинь мне шпроты!», мужу старшей сестры: «Коля, дай мне, пожалуйста, шпроты!», но то же самое — тете, маминой приятельнице в форме вопроса: «Теть Валь, вы мне шпроты не передадите?» При этом каждый раз вы выражаете одну — не бог весть какую глубокую — мысль.

Тут читатель вправе задать вопрос. Стоит ли о вещах столь очевидных рассусоливать? И так все ясно. Но иностранцы, изучавшие русский язык, могут подтвердить вам, что это далеко не просто. Наоборот: именно с этим, с вежливыми формами, с правилами вежливости, справиться труднее всего, даже выучив все падежи, склонения и спряжения такой, прямо скажем, неразновидности эсперанто, как русский язык. Что-то, конечно, можно найти в учебниках. Но многое — нет. Именно потому, что учится это в раннем детстве, а потом воспринимается как естественная норма.

Посочувствуем иностранцам, но не будем смеяться над ними, ибо в таком же положении оказывается каждый из нас, когда попадает в стихию чужого языка и чужих обычаев.

Начали мы с вьетнамца, который обидел вздорную старуху, собираясь ее успокоить. Где мы, где Вьетнам, несмотря



*спина, спина, спина, спина, фасон, фасон
зуб, зуб, зуб, зуб. кус, кус, кус, зуб, зуб, зуб, зуб
you, there, you, there, you, there, you, there*

на пройденный общий светлый путь строительства социализма! Но и в Европе нас могут ожидать самые неожиданные подводные, а иногда и надводные камни. Европейцы, ведь, тоже люди. В смысле — другие люди. Даже братья-славяне. У них, к примеру, нет отчеств. Более того: употребление отчества вызывает у них неудержимые приступы смеха.

Моя переписка с пани Ноймюллеровой

Лет тридцать пять назад автор этих строк защитил в Праге диссертацию. Сообщаю об этом не только как о приятном факте автобиографии, но — прежде всего — потому, что с этого момента я получил право на титул «доктор» перед фамилией. А также и без фамилии. (Хотя честность требует уточнить, что тот «малый доктор» с трудом тянул на нашего «кандидата».) Вместе с защитой кончилось и мое право на пребывание в академической гостинице, а я мог задержаться в Праге еще недели на три, чтобы уже без всякой суеты и спешки насладиться этим — красивейшим в Европе — городом. Коллеги помогли мне снять недорого комнату в пражском районе Нусли в квартире пани Милады Ноймюллеровой. То, что ее зовут Милада, я узнал значительно позже, ибо правила чешского этикета требовали знать только фамилию. Так ее мне и представили, а меня ей — «пан доктор». Жил я там прекрасно. Небольшая загвоздка была лишь в том, что в доме не было горячей воды: каждый раз ванну нужно было растапливать. А пани Ноймюллерова уходила на работу, когда я спал, и ложилась спать много раньше, чем я возвращался. Прежде чем я успел обеспокоиться ванной, на моей двери появилась записка.

Доктору философии Минцу.

Уважаемый пан доктор! Будьте любезны сообщить мне, когда Вы намерены принять ванну: я согрею воду заранее.

С искренним уважением,
Милада Ноймюллерова.

Я тут же ответил и прикрепил записку к дверям пани Ноймюллеровой — в двух метрах от моей двери:

Пани Ноймюллеровой.

Уважаемая пани Ноймюллерова!

Я хотел бы принять ванну завтра. Будьте любезны сообщить мне о наличии воды.

С искренним уважением,
д-р фил. Л. Минц.

Придя домой, я обнаружил следующее послание:

Доктору философии Минцу.

Уважаемый пан доктор!

Согласно Вашему пожеланию, вода будет готова. Полотенце повешено на вешалку. Будьте любезны сложить те Ваши вещи, которые надо постирать, в мешок в ванной комнате.

С искренним уважением,
Милада Ноймюллерова.

Я с удовольствием помылся и сложил *те* вещи. И написал благодарственное письмо:

Пани Ноймюллеровой.

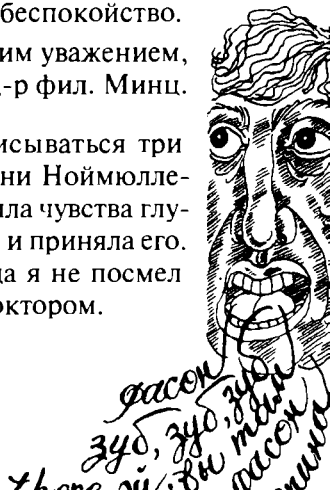
Уважаемая пани Ноймюллерова!

Благодарю Вас за нагретую воду и за любезное предложение постирать вещи, столь необходимые одинокому мужчине в чужом, хотя и прекрасном городе.

Примите извинения за причиняемое Вам беспокойство.

С искренним уважением,
д-р фил. Минц.

Так с приятностью мы продолжали переписываться три недели. В последнем письме я пригласил пани Ноймюллерову в кафе. В ответном послании она выразила чувства глубокого удовлетворения от этого приглашения и приняла его. Мы прекрасно провели вечер. Но даже тогда я не посмел назвать ее Миладой. И сам остался паном доктором.



Да, это было совсем не по-нашему. Но у чехов так принято, и с этим следует считаться. Так же как с тем, что, зайдя в магазин, надо поздороваться. И со всеми встреченными в подъезде. И пользоваться титулами: «инженер», к примеру. А его супруга — «пани инженирова». Супруга доктора же — «пани докторова». Если она сама инженер или доктор, то «пани инженерка», «пани докторка». Чехи так уважают все эти звания, что обозначают их повсюду: на двери в квартиру, в подъезд. Когда наши братские войска, по сей день неизвестно по чьей просьбе, вошли в 1968 году в страну, они начали издавать газету «Зправы». На первых порах на весьма условном чешском языке. Потом язык улучшился: появились активисты, одобрявшие от всей души ввод войск. Но поскольку они выражали радость сдержанно (не все ее бы разделили), то подписывали свои письма с выражением радости только инициалами. При этом никогда не забывая о заслуженных и уважаемых званиях. Выглядело это так: «инж. д-р А. Б., канд. наук».

К моменту нашей переписки вместо инициалов уже появились полные имена: положение, как там принято было говорить, нормализовалось.

И именно по этой причине к правилам моего хорошего тона добавилось еще одно: первым вежливо здороваться с домовым стукачом паном Вальногой и никогда не говорить ему, что я снимаю комнату. Для него я был родственником пани Ноймюллеровой из Остравы. Надеюсь, что мое неукоснительное следование правилам чешского хорошего тона заставило его в это поверить...

Пани, прошен пани, моя пани...

Польский язык обычно нам понятнее, чем чешский, хотя далеко не всегда. Договориться можно. Но поляки — народ, так сказать, шляхетского воспитания и правилам вежливости, а также манерам придают большое значение. Как это часто бывает в родственных языках, вполне понятные слова и обороты, звуча схоже, понимаются неверно. И, употребляя их, можно попасть впросак. К при-

меру, польская вежливость требует обращения к собеседнику в третьем лице. Да еще вместо «он» и «она» следует говорить «пан» и «пани». Поэтому выражение «Пани, прошен пани, моя пани проше пани, жебы пани моей пани пожычыла пани рондлен» следует переводить, как «Моя супруга просит одолжить ей вашу кастрюльку». Тут «пани» означает и вежливое обращение к даме, и супругу спрашивающего.

В недавние времена братства отдельные очень партийные товарищи даже обижались, когда слышали слово «пан» в свой адрес.

— Я не пан, — говорили они, — чего это вы ко мне так обращаетесь?

— Конечно, конечно, — отвечали гостеприимные поляки, мучительно соображая. — Он не пан?! Неужто считает себя женщиной? Бр-р-р... — И, не вдаваясь в обсуждение, соглашались: — Да, товарищ Сергей Иванович, конечно. Так что пан будет пить: чай или, как обычно, водку?

С человеком, которому только кажется, что он польский язык знает, могут случаться разные казусы.

— А пан знает? — спрашивает поляк, имея в виду: «А вы знаете?»

— Пан знает, — отвечает наш земляк, предполагающий, что если его называют паном, то и он о себе должен говорить то же самое.

— Я-то знаю, — отвечает поляк, полагая, что его спросили, знает ли он, — а вот пан знает?

Будь собеседники беспросветными идиотами, они могли бы беседовать таким образом до второго пришествия... Но в силу истории знание русского языка у поляков существенно лучше, чем у других иностранцев, поэтому они переходят на более понятную нашим форму. Хотя она им тоже кажется смешноватой.

В общем, не так уж это все трудно. Стоит запомнить, что в качестве первого доверительного шага вы можете обращаться не по фамилиям, а по именам: «пан Антони», «пани Крыстина».

А вот перейти на «Антось» и «Крыся» за время краткого визита вам вряд ли удастся. Так что нечего и запоминать.



*Пан
Зуб, зуб, зуб
ты пан
пан*

Похвальное слово мистеру Хэду

Не следует думать, что Чехия и Польша — последние оазисы вежливости в Европе. Просто мы начали с них, как понятных — так, во всяком случае, нам кажется — славянских стран. Или по крайней мере нам кажется, что жизнь их более понятна.

Можно было бы описать весь Старый Континент, страну за страной, и везде найти поучительные и полезные примеры, показывающие, что у каждого — даже маленького — этноса существуют свои правила вежливости, хотя в целом европейские понятия и нам не чужды, и, соблюдая привычные нам правила, мы вполне можем приобрести репутацию воспитанных людей. Различия же чаще всего связаны с языком. Только для обращения на «вы», к примеру, у итальянцев существуют три формы с разным оттенком почтения: *voi*, *lei* и *Donnevostra*, причем с «вои» можно обратиться и к нескольким людям, и к одному, не слишком почтенному, «леи» — к персоне уважаемой, а «Донневостра» — к очень уважаемой. А у румын обращений два: «*voi*» и «*Dumnevoastra*»; поскольку у них язык близкородственный итальянскому, это можно и не объяснять. И уж если мы говорим о романских языках, то обязательно следует добавить и испанское уважительное «*Vd*», что читается как «устед» и восходит к обращению «ваша милость». И, гурмански завершая тему, мы посоветуем читателю, говоря с французами по-французски (и даже по-английски, если они поймут), вставлять чуть ли не после каждого третьего слова «мадам» или «месье».

Впрочем, что толку объяснять нашим людям, что в Скандинавии, например, все больше распространяется обращение на «ты», когда подавляющее их большинство не владеет шведским языком — что уж тут говорить о датском или норвежском! Говорят-то наши за рубежом все больше на русской разновидности английского, а в нем этого самого «ты» днем с огнем не отыщешь! (Разве что при обращении к Богу, но это тема совсем другого исследования...)

При этом стоит отметить, что в большинстве стран Европы наблюдается, как бы это сказать, заметное упрощение нравов на американский манер. Это когда джентльмен лет семидесяти, протягивая вам руку, представляется: Джек. Или — Роб. Не говорить же ему для уважения Джек Клиффордич!

На самой этой простецкой манере стоит остановиться. Она создает у людей неискушенных ощущение равенства и панибратских отношений. Бедняга бывает крайне разочарован, когда любая его попытка нарушения субординации жестко пресекается.

И все-таки есть в этой манере что-то привлекательное! Один американец японского происхождения поступил на работу в японскую фирму. Однако долго он там не выдержал.

— Не мог терпеть, — жаловался бедняга, — как старый хрыч Микимото, наш управляющий, не глядя ни на кого, шествует по коридору, а все низко кланяются. У нас в Америке в фирме все по именам: Фрэнк, Дик, Том. Правда, если Фрэнк — президент фирмы, а бедный Дик Каяма — это я, его служащий, то в один буфет мы не ходим...

Потому, наверное, некоторая американистость нравов и идет победной поступью. Даже по Германии.

Недавно мне пришлось встретиться в Германии в гостях с настоящей баронессой. (Вообще-то она доцент в университете, но все-таки и баронесса.) Хозяйка меня предупредила, что называть гостью надо «фрау баронесса», потому что «фрау доцент» звучит слишком уж старомодно. Но баронесса при первой же попытке мягко поправила меня, назвав свое имя. Имя это, кстати, столь необычное, что я его запомнил: Диотима. Папа дал ей его не потому, что был бароном, а потому, что был профессором философии и при Гитлере мысли свои держал при себе, но мог выразить осторожный протест против фашизма, назвав дочь не германской Брунхильдой или Гудрун, а именем, взятым из классической античной философии.

Правда, соседа по дому, даже прожив с ним в соседстве лет сорок, называют только по фамилии с добавлением «герр», а жену его — «фрау». Как их зовут по-человечески, вы можете и не узнать никогда.



Но есть в Европе такая страна — Великобритания! О ней-то мы знаем все. Мы читали Диккенса и «Сагу о Форсайтах» и Шерлока Холмса знаем не понаслышке. Там говорят «сэр» и «миссис», «милорд» и «миледи», а в пять часов пьют чай. И дворецкие, отвечая на вопрос, обязательно добавляют: «...если мне позволительно так сказать».

Но Диккенс писал в позапрошлом веке. А Голсуорси свою «Сагу» — в прошлом. В нынешнем же «сэром» вас назовут только приказчики, полицейские, кондуктора — словом, те, кто служит обществу. А на улице вас вполне окликнут хамским «you there» — примерно, «эй, вы там!», или даже «эй, ты!». И, представляясь, так же произнесут: «Джек» или «Молли». А если кто-нибудь предупредит, что тако-го-то следует титуловать «милорд», будьте уверены: это британец не местного разлива.

Эта картина всеобщего усреднения и опрощения была бы удручающей, не живи в Англии мистер Хэд. Я познакомился и подружился с ним в Девоне. Он живет в городке Ашбертон и работает садовником. Садовник он отличный. До того был отличным полицейским, достоинства которого с ностальгией вспоминает старшее поколение ашбертчан. А до того — служил в войсках в Малайе и, наверное, тоже отлично. Словом, настоящий британец, добросовестно делающий свое дело, и, как нетрудно понять, человек молодой.

Мистер Хэд четко знает, к кому обращаться «милорд» или «миледи», к кому «ваше высочество», к кому просто «профессор такой-то», ибо по британской традиции, если у вас есть звание или титул, так это навеки. Служили майором — значит вы пожизненно майор Смит или там Аткинс (если вас, конечно, не произвели в подполковники).

Но ни у кого не повернется язык назвать мистера Хэда Питом, хотя его зовут Питер. Он — *мистер Хэд*. И только так.

Ей-богу, хорошо, что существует такой британец. Будем надеяться, не единственный на этом маленьком острове. Потому что демократия демократией, а традиции — вещь хорошая.

«Ты», «вы» и демократия

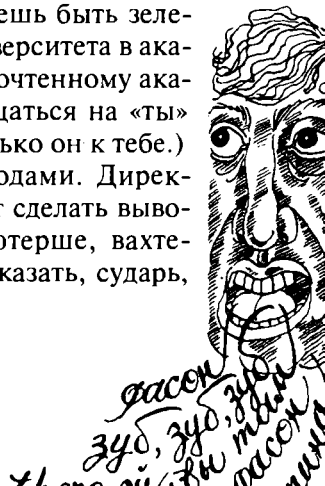
П^рошу понять меня правильно: демократизм в манерах тоже совсем не плох. В меру. Скажем, «тыкать» всем налево-направо — это не демократизм, а обычное хамство. А «тыкать», ожидая в ответ «вы», — хамство заскорузлое и торжествующее. В нашей культуре нейтрально-вежливым обращением служит «вы». Автор этих строк предпочитает именно это обращение (кроме людей, которых знает с детства: общего или только их). Как выяснилось, не везде это рассматривается как признак хороших манер.

Уточню: неуместным это оказалось в Венгрии. Так уж получилось, что сначала по службе, а потом по душевной склонности я связан с этой страной и ее языком довольно много лет. Есть у меня там друзья, а у них тоже есть друзья, и стал я бывать в больших компаниях. И в этих компаниях я, естественно, всем говорил «вы», а то, что мне иной раз слышалось, что мне «тыкают», относил на счет несовершенства своего венгерского языка. Пока однажды мой друг Габор Миклош, сидя со мной за рюмкой, не сказал мне:

— Слушай, кончай ты всем говорить «вы». Выглядишь как идиот. — И прежде, чем я своим непониманием подтвердил это нелестное определение, пояснил: — У нас принято, что в компании все мужчины примерно одного возраста и положения сразу переходят на «ты». Женщины должны тебе предложить это сами.

Женщины скоро предложили. А далее, двигаясь в глубь венгерского общества, я узнал, что все коллеги по работе обязательно между собой на «ты». Ты можешь быть зеленым юнцом, только что пришедшим из университета в академический институт, но к его директору, почтенному академику, ты можешь — нет, обязан! — обращаться на «ты» и по имени. Он к тебе тоже. (У нас чаще только он к тебе.)

Экий демократизм! Не спешите с выводами. Директор и любой начальник все равно вам могут сделать выволочку, а то и уволить. И вдобавок — лифтерше, вахтеру, шоферу говорят только «вы». Вы, так сказать, сударь, не из наших-с.



О венгерской вежливости и ее формах говорить можно долго и интересно: уж больно она отличается от всех остальных. К примеру, *все* дети *всем* взрослым говорят вместо «здравствуйте» — «целую ручки». И *все* мужчины *всем* женщинам тоже. Тут могут возникнуть забавные ситуации.

Приходит, к примеру, мой друг Габор Миклош вечером домой и обнаруживает в прихожей симпатичную девушку — достаточно взрослую, чтобы жизнелюбивый мужчина проявил всю свою учтивость. Но прежде чем он успевает произнести вежливую формулу, юная дама делает книксен, вежливо приговаривая: «Целую ручки, дядя Мики!» И бедняга соображает, что это — приятельница дочки по гимназии. Просто он до этих пор не обращал на нее внимания...

Мало того что нам, иностранцам, трудно привыкнуть к венгерской манере обращения, есть тут еще одна проблема. «Тыкая», нужно употребить правильное спряжение глагола — одно из весьма многочисленных в этом занимательном языке. А при вежливой форме достаточно помнить служебное слово «тетсик» — «изволите», а дальше лепить к нему неопределенную форму глагола. И за умного сойдешь. Вот почему говорящие по-венгерски иностранцы столь преувеличенно и старомодно вежливы.

Ну да это не беда: лишней вежливостью кашу не пере-солишь...

Г-н Амбадкар, владелец
и водитель моторики

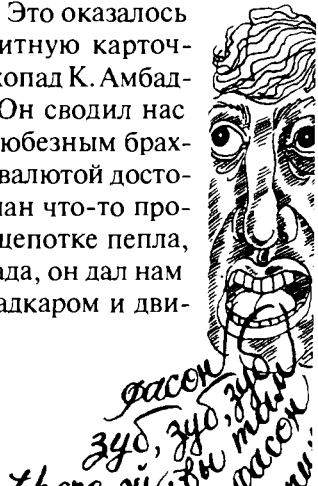
А вообще-то пересолить можно. Я сам раз перестарался, поэтому эта заметка может послужить предостережением. Для тех, кто попадет в Индию.

Как-то в городе Бангалор, столице штата Карнатака, мы с моим киевским коллегой (тогда еще не иностранцем) освободились очень рано и решили погулять по городу. Жили мы в европейской части города, а пошляться хотели по индийской. Бангалор — город разбросанный, где эта традиционная часть города, мы не знали, но чувствовали, что далеко. Сдерживало нас и еще одно обстоятель-

ство: принимающая сторона еще не выдала нам обещанные командировочные. По совету опытных людей мы захватили с собой по пачке сигарет «Золотое руно», сильный аромат которых очень нравился гражданам Индии. Да и все заморское они тоже уважали. Сигареты в Индии очень дороги, а заработки трудящихся — низкие. Не пропадем, решили мы. И вышли.

Сначала нам тихо гудели дорогие такси, ждавшие добычу во дворе отеля. Потом на улице нас стали окликать водители моторикш, забавных сооружений с брезентовым навесом, созданных на основе мотороллера. Мы все еще не решались предложить наше платежное средство и продолжали идти пешком. Тут перед нами затормозил моторикша, и из-под навеса выскочил любезно улыбающийся мужчина в рубашке и довольно глаженных брюках. Любезным жестом он показал нам на места за его спиной. Мы нерешительно объяснили ему, что вместо денег можем предложить сигареты. Он сказал, что этого будет достаточно, а потом осведомился: куда?

И мы помчались, подпрыгивая, в сторону базара. Вел он уверенно, был любезен, и мой киевский спутник расчувствовался и преподнес ему кубинскую сигару в алюминиевом патроне: он держал ее в кармане, чтобы с аппетитом выкурить в каком-нибудь живописном месте. Киевская интеллигенция, объяснял он, очень любит эти сигары. Шофер же, судя по всему, вообще держал такую дорогую вещь в руках впервые в жизни. Шофер был настолько тронут, что предложил немедленно — и бесплатно! — отвезти нас обратно. Этого нам было не нужно, и мы попросили его отвезти нас в индуистский храм, если это возможно. Это оказалось возможным. Водитель преподнес нам визитную карточку, исполненную на ксероксе. Его звали Бхопад К. Амбадкар. Я ответил своей служебной визиткой. Он сводил нас в маленький храм, познакомил с пожилым любезным брахманом. Мы внесли нашу лепту иностранной валютой достоинством в три рубля. В благодарность брахман что-то произнес и посыпал нам темя пеплом. Еще по шепотке пепла, завернутого в обрывок газеты на языке каннада, он дал нам с собой. Тут мы распрощались с г-ном Амбадкарсом и дви-



нулись в лабиринт остро пахнувших лавочек, но это уже другая история.

Наша же история в том, что я считал невежливым отблагодарить нашего благодетеля только сигаретами. Вернувшись в Москву, я купил несколько детских книг на языке каннада, какую-то игрушку и симпатичный альбом на английском языке для самого г-на Амбадкара. И отправил в Индию бандеролью.

Через месяц от него пришло письмо. В конверте находилась отскерокопированная статья о г-не Амбадкаре из местной английской газеты и большое письмо. В письме г-н Амбадкар благодарил за подарки, разъяснял основы своей личной и вообще индийской философии. Выяснилось, что он «сделал мне святую пуньяпурушу». В заключение он изъявлял неукротимое желание посетить Москву. Он извинялся, что может взять с собой только несколько старших детей и младшего брата.

Я не знал, что такое св. пуньяпуруша, но очень возгордился: не каждый из нас, согласитесь, был до нее допущен. Но гордость никак не совпадала с желанием увидеть г-на Амбадкара со чады и домочадцы в малогабаритной квартире. Кроме того, мне не казалось, что за одну поездку по городу мы стали такими уж близкими друзьями.

Я ответил, что очень благодарен за все, а особенно за св. пуньяпурушу, и обещал быть ее достоин. Вопрос приезда большей части семейства Амбадкар в Москву я опустил, но послал еще одну большую книжку на языке каннада. (Их тогда в магазине «Прогресс» продавалось множество, на всех языках.)

Не прошло и месяца, как пришло новое письмо от г-на Амбадкара. В нем была ксерокопия статьи о г-не Амбадкаре и письмо, где он разъяснял основы философии, напоминал о св. пуньяпуруше и выказывал желание посетить Москву.

Я что-то кратко ответил, но через месяц пришло письмо. Вы уже поняли, что в нем содержалось, включая св. пуньяпурушу.

На восьмом письме я подавил в себе сильное желание сделать пуньяпурушу г-ну Амбадкару и попросил колле-

гу ответить, что переведен на работу в район полюса холода, куда почта почти не ходит. Но еще в нескольких письмах в адрес коллеги г-н Амбадкар добивался моего адреса, напирая особо на породнившую нас пуньяпурушу...

Так вот для всех, кто собирается в Бангалор и окрестные города и веси. Не надо пережимать. Наша вежливость в общении с коллегами г-на Амбадкара и другими, кто оказывает нам платные услуги, заключается в достаточной и точной оплате этих услуг. Пуньяпуруша — не обязательна.

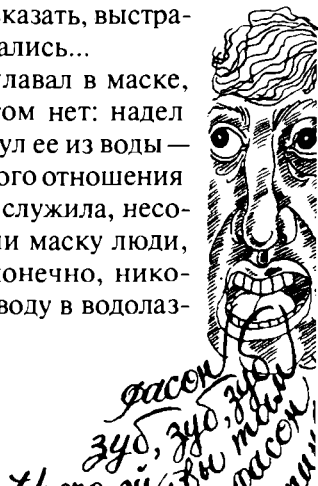
Кусок зуба

(Только для взрослых читателей!)

Тему, которую мы хотим поднять, поднимать как бы и не принято. А зря, ибо она чрезвычайно интересует едва ли не всех подряд. И правильно. Впрочем, что это я все вокруг да около? Речь пойдет о ругательствах и словах, к ним приравненных. А также о могущих быть к ним приравненными, хотя и в мыслях у вас не было сквернословить и богохульствовать. Просто многие совершенно безобидные и привычные (приличные) слова родного языка иной раз звучат как просто мерзкие ругательства на языке страны пребывания (употребим этот точный советско-казенный термин). Зато зная, какие слова не следует произносить в той или иной стране, как невинно они ни звучали бы в родном языке, вы не оскорбите слуха гостеприимных хозяев.

Прошу поверить моим советам. Я, можно сказать, выстрадал право, чтобы к моим словам прислушивались...

...Дело в том, что я никогда в жизни не плавал в маске, но предполагал, что ничего сложного в этом нет: надел стекло с резинкой, сунул в рот трубку, высунул ее из воды — и ныряй-резвьись. Причиной моего несерьезного отношения к этому увлекательному виду водного отдыха служила, несомненно, та легкость, с которой использовали маску люди, которых я видел на экране и в жизни. Я, конечно, никогда бы не отважился лезть без подготовки в воду в водолаз-



ном костюме или с аквалангом: вид любой техники вызывал и вызывает у меня почтительный страх. Маска же такого страха не вызывала, но и желания поплавать в ней — тоже. До определенных пор. Ибо до определенных пор я не видывал моря столь лазурного и столь прозрачного, как Красное.

Легкость оказалась обманчивой. Во-первых, маску нужно было точно подогнать — выяснилось, что это совсем не так просто, как представлялось. Во-вторых, в ней нельзя дышать носом. А я — в силу физиологических своих особенностей — предпочитаю дышать именно им. Это не страшно, объяснили мне, нужно равномерно вдыхать и выдыхать воздух ртом через трубку, хорошо набирая его в легкие. Минут десять так вполне можно выдержать. Только нужно плотно сжать загубник трубки между губами и зубами. И — вперед! Точнее — вниз.

...От борта до лазурной поверхности было метра два. Все коллеги по экспедиции уже бултыхнулись, и их трубки, как перископы подводных лодок, бороздили кристально-чистую морскую гладь. Время от времени, вырывая голову из воды, они жестами выражали высшую степень наслаждения и подбадривали меня к решительному шагу.

Я свесил ноги с борта, сделал несколько гимнастических движений руками, как бы не решаясь расстаться с теплым солнцем, посмотрел на море, подумав, что с борта катера оно тоже красиво, и довольно неуклюже сполз в воду. И, конечно же, тут же резко погрузился, вынырнул и судорожно хлебнул из трубки. Слово «хлебнул» подходит в данном случае, как никакое другое, ибо вместо воздуха я принял изрядную дозу лазурных и ласковых вод теплого Красного моря. Если кому-нибудь когда-нибудь доводилось пить английскую соль, то заверяю вас, что перед красноморской водицей она все равно что джин с тоником. То-то в этом море так хорошо плавается!

Если я и преувеличиваю, то только потому, что помимо мерзкого вкуса я ощутил такую нехватку кислорода, что инстинктивно рванул носом ту небольшую порцию воздуха, которая еще сохранялась в маске. Увы, и она была смешана с водой.

Я резко рванул загубник и, испустив китовый фонтан, судорожно вдохнул. Мне стало чуть легче, и через стекло я вдруг увидел божественной красоты мир, открывшийся подо мной. И какую-то пеструю рыбу, заинтересованно устремившуюся к изяшно скользящему сверху крошечному предмету. Раскачиваясь, как бабочка, он неспешно уходил в глубину.

В отличие от рыбы я узнал этот предмет. Я знал его очень хорошо. Он был частью меня. Это был мой зуб... вставной, державшийся на изогнутой перекладинке, упиравшейся в небо. Именно эта перекладинка, ставшая от курения коричневой, и позволяла зубу с медленной грацией планировать в прозрачные до самого дна глубины Красного моря.

Не задохнись я так, следовало бы нырнуть за зубом, благо маска позволяла все видеть. Но я судорожно хватал ртом воздух, беспомощно крутясь в воде. Тут же рядом со мной оказались мои товарищи по поездке. Под левую руку меня подхватила мощная длань г-на Кукушкина, корреспондента одной из наших туристических газет, в то время как правое плечо сжал Григорий Евгеньевич Темкин, наш руководитель, великолепный пловец и ныряльщик. Очевидно, им показалось, что я тону. Я хотел объяснить, что случилось, но вместо слов из моих уст вырвался очередной фонтан, пальцем же я показывал вниз, под поверхность. Лишь набрав воздуха досыта, я смог произнести:

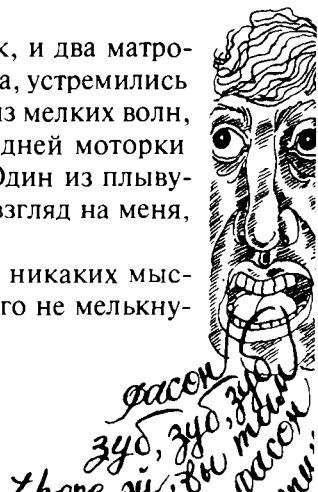
— 3-зуб!

Но поскольку в ушах тоже была вода, я, как и всякий кратковременно оглохший, не произнес, но проревел это короткое слово:

— Зуб! Мой зуб!

В ту же секунду раздался жалобный крик, и два матроса-египтянина, одновременно взлетев с борта, устремились ко мне. Лица их, то и дело вынырывающие из мелких волн, выражали крайнюю степень ужаса. С соседней моторки свесился человек и что-то спросил у них. Один из плывущих коротко ответил, и человек, переводя взгляд на меня, издал протяжный жалобный стон.

Я еще только приходил в себя, а потому никаких мыслей по поводу происходящего чего-то не того не мелькну-



ло. В этот момент Темкин махнул египтянам рукой и крикнул:

— Ля, ля! Син! — и еще что-то по-арабски.

И тут раздался хохот, от которого могли бы расступиться волны Черного — Красного — моря. И будь оно не лазурным, а истинно черным, я и тогда бы выделялся на фоне его красноты своею багровостью. Ибо уже на палубе мне было разъяснено, что простое и понятное наше слово «зуб» обозначает на языках стран Ближнего Востока совсем другой, тоже очень важный (может быть, даже самый важный!) орган нашего тела, данный нам Аллахом. (То же, что я утратил, будет «син»; в Библии на иврите — «шин», и «шин ба-шин» значило «зуб за зуб», да не произнесете вы эту фразу по-русски в арабской компании!)

Тут мы подходим к совету на немаловажную тему.

Итак, кроме «зуба» никогда не употребляйте на арабском Востоке слова «кус» («кус мяса»): им называется дар Всевышнего другой половине рода людского, а уж тем более — «кусоч» («кусоч пищи») — тут появляется притяжательное окончание, обозначающее принадлежность вышеупомянутого вашей собеседнице.

Что же касается моего «сина» — то он, бедняжка, покоится один-одинешенек в глубинах Красного моря. И, думая о нем с грустью, я на всякий случай именую его по-арабски...

Воля ваша — можете и не внять моим предупреждениям. Лет тридцать назад я гостил в Эстонии с венгерским коллегой. Точнее говоря, гостил он, а я его сопровождал. Принимали его дважды по-братски: как представителя братского социалистического государства и — что важнее — как братского угро-финна. А потому подробно выясняли все его желания и выдвигали заманчивые предложения. Венгр все внимательно слушал, кивал головой и приговаривал «Перзе, перзе». Что по-венгерски означает: «Конечно». По-эстонски же этим словом именуют то место, где спина теряет свое благородное название. И, видя, как с трудом сдерживают смех хозяева, а дамы среди них даже и краснеют, я сказал об этом своему спутнику (благо, что и в братском угро-финском окружении венгерский язык непонятен). На что он

ответил, что знает об этом по Финляндии, чей язык с эстонским весьма схож, но не намерен отказываться ни от какого слова родного языка.

Если вы не занимаете подобную, скажем, великовенгерскую позицию, вам на родине моего спутника не следует употреблять слов «спина», «спичка», а также «фасон» — но по совершенно другой, нежели в двух первых случаях причине. «Спичка», кстати, нежелательна и в славянских Чехии, Словакии и Болгарии. (Причина опасности к спине отношения не имеет, скорее, обратно.)

Одному моему знакомому даже пришлось из-за этого жениться. Он работал в Будапеште, и туда приехала его мама посмотреть, как живет холостой и одинокий сын, и помочь ему в бытовых вопросах. И они пошли в ателье, где он заказал себе костюм. Маму он обо всем предупредил, но, женщина пожилая и привыкшая командовать сыном, а не прислушиваться к его советам, она все пропустила мимо ушей. И сев в ателье в кресло, она достала папиросы «Беломор» (мастер тут же подал пепельницу) и спросила:

— Мишенька, у тебя *спички* есть?

— Мама! — воскликнул побагровевший сын, но персонал ателье сделал вид, что ничего не слышит.

Мама осмотрела костюм, велела повернуться и спросила:

— *Спина* не морщит?

— Мама!

Но мама опять не вняла, осталась очень довольна и поделилась с мастером:

— Чудесно! И *фасон* превосходен.

Тут уж и портной сильно закашлялся. Бедняге Мише пришлось жениться: работать в стране он собирался долго, костюмы ему еще требовались по роду деятельности, а заказывать или покупать их сам он отродясь не умел. Жена же поддавалась воспитанию.

Надо сказать, что в странах Дальнего Востока такие опасности вам не грозят. Местные жители категорически не верят, что европеец способен правильно произнести хоть слово на их односложных языках с большим количеством музыкальных тонов. Следовательно, что бы вы ни сказа-



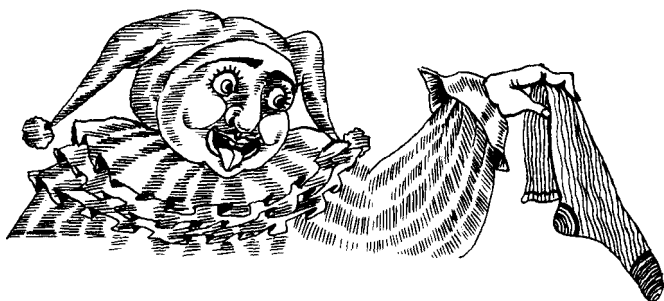
фасон
 зудо, зудо, зудо
 there, si, dy, тейн
 фасон
 мин

ли, это никогда не будет принято за осмысленное слово на человеческом языке.

Сами же они знают, что не все из того, что столь приятно для них звучит, будет адекватно воспринято длинноносими белокожими. И — люди вежливые — не хотят никого вводить даже в неожиданное смущение.

В университете у нас учился миниатюрный вьетнамец по имени Ле Дык Зуй. Когда его земляки освоили азы русского языка — грамматику на уроках, а неформальную часть в общежитии, — они стали, произнося его имя, как-то странно хихикать и доверительно сообщали, что он — совсем не Зуй. У нас это тоже вызывало приступы глупого смеха, поскольку в истинном звучании мы не сомневались. И, как выяснилось, совершенно напрасно. Потому что, когда отношения наши достигли уровня доверительности, мы его спросили, как же его зовут на самом деле. И он, побагровев, прошептал: «Хыу». Просто еще во Вьетнаме ему оформлял документы большой знаток русского языка. Как же был бедняга рад, узнав, что его имя в коррекции не нуждалось! И как он же смеялся, вспомнив, что в Харьков поехал учиться *действительно* бедняга, с неоткорректированным именем, чьи документы были оформлены тем же знатоком!..

Глава 2 Есть ли у иноземцев чувство юмора?



Исследуя юмор разных знакомых ему народов, автор приходит к парадоксальному выводу: юмор у иноземцев есть! И даже иногда смешной. Но что смешного в павлине, загородившем Конфуцию проход по мосту, автор понять не может и оставляет разбираться в этом читателя.

То, что чувство юмора нам жить помогает, известно всем, даже тем, кто таковым чувством не обладает. Впрочем, утверждение о том, что существуют люди, лишённые чувства юмора напроочь, весьма спорно. Некоторый жизненный опыт автора этих заметок заставляет его утверждать, что это чувство присуще всему роду homo sapiens. Только у некоторых оно совсем другое, и не их вина, что остальные их не понимают. Скорее, это беда тех, остальных.

То же — причем в высшей степени — относится и к разным народам. Если вы не хотите предстать на чужбине человеком, смеющимся без причины, или, наоборот, сохраняя каменное лицо среди толпы хохочущих, пытаться понять, что случилось и нет ли тут *провокации* западных (восточных) спецслужб, вам лучше заранее подготовиться к тому, что вас может ожидать вдали от родных осин.

Позвольте начать с простого. Будьте готовы к тому, что смех — не обязательный признак веселости. Более того, иной раз он признак глубокой грусти и крайнего смущения.

Мой хороший знакомый, блестящий специалист в области экономики и никакой — даже в начатках — этнографии, совершенствовал свои блестящие знания в Южной Корее. Страна эта своими успехами в экономике дает возможности для глубоких и полезных рассуждений. Итак, погруженный в подобные рассуждения экономист ехал по Сеулу, старательно соблюдая правила дорожного движения, и уже тормозил на красный свет на перекрестке, когда ему основательно врезали в багажник. Это немедленно прервало рассуждения нашего специалиста, и он выскочил из арендованной машины с тем свирепым лицом, которое приличествует у нас жертве дорожно-транспортного происшествия. Виновницей столкновения оказалась дама средних лет. Оба участника ДТП сошлись, и дама расхохоталась. Она смеялась, вежливо прикрывая рот ладошкой, и сквозь смех пыталась что-то сказать.

«Ненависть к европейцам!» — пронеслось в голове специалиста-экономиста. Где-то он об этом читал.

Появился полицейский. Увидев иностранца, он тоже радостно засмеялся.

«Охранка! — мелькнуло в голове специалиста. — *Провокация!*»

Не будем забывать, что действие происходило лет двадцать назад, а совсем незадолго до того Южную Корею у нас малевали только черной краской.

Собрался народ. Народ смеялся.

«Даже народ оболванили... — мучительно подумал специалист, — трудовой народ...»

Опустим занавес сострадания над этой сценой, тем более что через некоторое время появился переводчик, и все встало на свои места. Главное же для нас — смеялись корейцы не оттого, что им было смешно. Дама смехом скрывала отчаяние от совершенного деяния. Полицейский — неудобство от того, что: а) происшествие имело место на вверенном ему участке и б) смущение перед иностранцем, который бог весть что может подумать о Корее, ее водителях и полицейских.

Народ же выражал таким образом сочувствие всем.

Павлин на мосту

Корея, Вьетнам, Япония... Особенно Китай. Разница цивилизаций приводит к тому, что в этих странах мы обязательно ждем чего-то отличного от нашего: в конце концов, мы принимаем как должное, что эти люди едят палочками, а не вилками, как мы. Более того, кто сейчас не умеет есть палочками, поливая еду соей, вон даже восточный Новый год стали отмечать! Мир сблизился. Правда, поздравляем мы с ним не тогда, когда он наступает по лунному — подвижному — календарю, а по нашему, так ведь и сои мы льем куда больше, чем надо. Но автору этих замечаний никогда еще не доводилось встретить человека некитайских (невьетнамских, неяпонских) национальностей, который был бы знатоком и ценителем восточноазиатского юмора.

Меня занимал этот вопрос, и я постарался прочитать как можно больше о понятии смешного в столь глубоко мною уважаемых странах буддийско-конфуцианской цивилизации.

Помню, в записках некоего Тралли — не помню, кто он по национальности, главное, что европеец и работал в японской фирме — я прочитал, что самым трудным в общении с коллегами и работодателями была неожиданность их реакции. Бедный Тралли как-то опаздывал на работу, неудачно прыгнул с трамвая, упал, задрал ноги, и был замечен японцем-коллегой. Японец не мог на месте устоять от хохота, чем бедного Тралли обидел. Но еще больше он обидел беднягу, немедленно рассказав об инциденте начальнику, скажем, г-ну Сумитомо. Г-н Сумитомо тут же вызвал Тралли, попросил все рассказать снова и корчился при этом от смеха. Не плати японцы приличную зарплату, только бы они своего сотрудника и видели! Зарплата была приличной, пришлось терпеть. Стоило приехать каким-нибудь инспекторам из Токио, как беднягу вызывали, и когда настроение повышалось, начальник говорил: «Тралли (получалось: Тулари), расскажите, как вы упали».



А высокий гость из Токио уже начинал хихикать от предвкушения. Потом рассказ утратил юмористическую свежесть, но служебное положение (сильно от этого комического инцидента усилившееся) требовало неформальных встреч с токийскими визитерами, и те стали воспринимать его как почти своего. И вот один почтенный пожилой джентльмен, служивший во время войны на флоте врачом, рассказал о том, как их эскадру нещадно разбомбили американцы у побережья Суматры.

— Вода, — рассказывал отставной врач, — просто кипела от напалма! И моряки императорского флота, — тут он сделал паузу, — плавали в кипятке, как вареные рыбы!

И рассказчик захохотал, и все захохотали, а врач, усиливая юмористический эффект, повторил, утирая слезы:

— ...как вареные рыбы!

Тут через силу засмеялся и Тралли, честно говоря, ничего смешного в страданиях моряков императорского флота (хоть они и были тогда врагами) не видевший.

Отсмеявшись, господин доктор сказал:

— Я вижу, у вас превосходное чувство юмора, Турари-сан! Мне говорили, что вы очень смешно падали с трамвая. Расскажите, пожалуйста...

Так вот страдал бедный господин Тралли...

Ну да бог с ним. Автор этих заметок в японских фирмах не работал. Зато ему пришлось провести немало времени во вьетнамских коллективах. Я заметил, что вьетнамцы очень смешливы, во Вьетнаме все время слышишь смех. По любому поводу. И даже без причины — на наш взгляд; тогда он служит проявлением вежливости и воспитанности. Тесно сойдясь с вьетнамскими друзьями и коллегами, я услышал от них множество забавных историй и могу утверждать, что народные вьетнамские анекдоты смело можно рассказывать у нас в здоровом армейском коллективе. Поэтому и пересказывать их не имеет ни малейшего смысла.

Но мой мудрый друг Ле Суан Ту, вспоминая своего дедушку-конфуцианца, поведал, что дедушка любил рассказывать одну смешную и поучительную историю о Кунфуцзы (Учителе Куне — Конфуции).

— Кун-фуцзы однажды шел по мосту. На мосту сидел павлин. «Павлин, кш-кш!» — сказал Учитель.

Мой друг приходил в состояние крайней веселости, излагая эту поучительную и забавную историю. Но так никогда и не смог объяснить мне — что же тут смешного. Наверное, чтобы оценить всю прелесть новеллы, надо хорошо знать иероглифы, чтение которых и каллиграфию всю жизнь преподавал дедушка-конфуцианец.

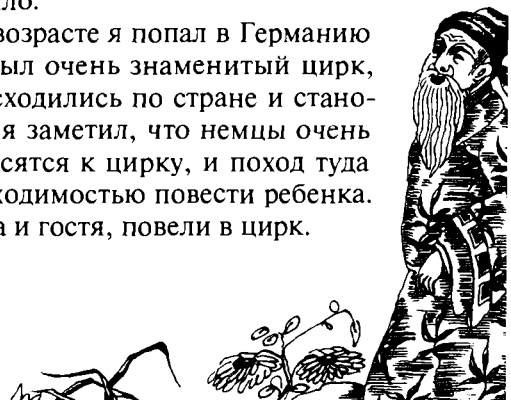
Носки на рояле

Впрочем, понимание юмора и способ пошутить может заставить нас врасплох и в тех местах, где окружающие люди — не сплошные брюнеты с характерным разрезом глаз. В странах, где блондинов больше, чем брюнетов, и глаза самые обычные, и история не записана иероглифами, тоже есть от чего стать в тупик.

В детстве я часто читал переведенную с немецкого книжку «Макс и Мориц — шалуны». Она была издана до революции и потому отличалась прекрасной бумагой и смешными рисунками. Я хорошо помню, что мы с ровесниками искренне веселились.

Хотя сейчас не могу вспомнить — отчего же именно: то ли Макс с Морицем плюхались в реку, прогуливая уроки, то ли, наоборот, так привязывали веревку, что их сосед, портной по фамилии Бек, спотыкался и падал, а шалуны М. и М. издевательски пели: «Портной-портняжка, мек-мек-мек!». В любом случае это был так называемый «юмор ситуаций». Без всяких там тонких намеков и иронии. Нам, восьмилетним пацанам, этого и надо было.

Но уже в весьма взрослом возрасте я попал в Германию и был поведен в цирк. Это был очень знаменитый цирк, и шутки здешнего клоуна расходились по стране и становились фольклором. Вообще я заметил, что немцы очень серьезно и уважительно относятся к цирку, и поход туда не обязательно связан с необходимостью повести ребенка. Вот и меня, зарубежного друга и гостя, повели в цирк.



Посредине арены стоял рояль, и на нем играл грустный клоун в преувеличенно-концертном наряде. На рояле стояла ваза с очень большим и ярким цветком. Появился другой клоун — тот, чьим остроумием наслаждалась чуть ли не вся Германия (объединенная к тому моменту). Публика начала смеяться с первого его шага по арене. Но когда он разулся, стянул с ног длинные полосатые носки и положил их на рояль, публика напряглась и смолкла в предвкушении. Цветок в вазе на рояле вдруг согнулся и стал увядать на глазах. Цирк взорвался от аплодисментов. Игравший на рояле клоун, до тех пор не замечавший новоприбывшего, грустно спросил:

— Что это?

— Это мои носки, — ответил второй, — я ношу их, не стирая, уже второй год.

Аплодисменты. Первый клоун зажал нос. Его нарисованные брови поднялись до половины лба.

— И в таком виде вы приходите в гости?

— Ха-ха! — парировал второй. — Вы еще не знаете, что я ел перед приходом к вам!

Музыкант громко хлопнул ушами:

— Я знаю ваше любимое блюдо! Это, конечно, кислая капуста с копченой свининой!

— Ха-ха! Сегодня я ел колбасу с горохом! Потому что вы такой скупой, что не накормите меня.

Тут музыкант, подобрав фалды лилового фрака, неуклюже кинулся бежать, путаясь в широченных штанах. А гость повернулся к нему спиной, согнулся и...

...Мощный залп слился с ударом оркестровых медных тарелок и ревом почтеннейшей публики. Я прикрыл лицо, конвульсиями спины как бы показывая, что тоже корчусь от хохота.

Потом мне приходилось беседовать с приятнейшими и интеллигентными германцами о странноватой природе немецкого юмора. Из бесед и собственных размышлений у меня родилось впечатление, что странноватость эта происходит от достоинств немецкого характера и служит как бы их продолжением.

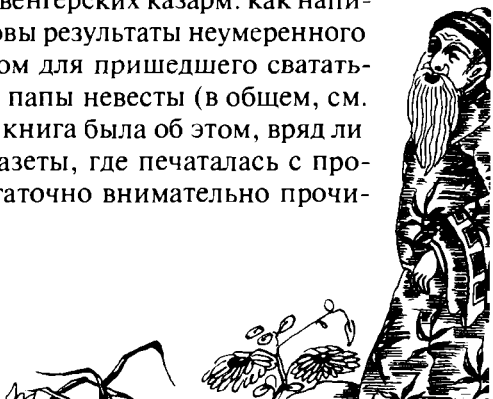
Выражение «Яблоки отдельно, ящики отдельно» пришло к нам именно от немцев, которые никогда не смешивают *Работу* и *Отдых*, серьезные занятия и развлечения. Они очень трудолюбивы и организованны. И работают тяжело.

А когда отдыхают, «оттягиваются» по полной программе. Не давая спуска ни себе, ни другим...

Кто спорит?

На первый взгляд — а если этот взгляд поверхностный и беглый, то и на последний, — юмор славянских соседей Германии — чехов, схож с немецким. Говоря ученым языком, разные «проявления телесного низа» обыгрываются чехами куда как чаще, чем, скажем, нами, и по поводам, нам не свойственным. (Справедливость требует заметить, что наш способ реакции на различные жизненные пертурбации тоже достаточно своеобразен, хотя и выражается обычно *одним* словом и *одним* выражением. Всем известно каким, так что нечего и писать: в конце концов, в этих заметках мы пытаемся исследовать странности зарубежных народов, а наши странности пусть исследуют эти самые зарубежные народы, если им кажется, что самое нормальное — то есть наше — поведение действительно странное!)

Давайте обратимся к самому прославленному произведению чешской литературы — «Похождениям бравого солдата Швейка», которое читали, наверное, все. И многие из отчаянных поклонников Швейка воспринимают эту книгу как собрание анекдотов из быта пражских пивных и императорско-королевских австро-венгерских казарм: как напились, и с кем подрались, и каковы результаты неумеренного потребления колбасы с горохом для пришедшего свататься жениха, который испугался папы невесты (в общем, см. предыдущую главку). Если бы книга была об этом, вряд ли бы она пережила те номера газеты, где печаталась с продолжением. А между тем достаточно внимательно прочи-



тать само ее название, чтобы задуматься: а почему, собственно, Швейк, всеми силами старающийся уклониться от выполнения своего воинского долга, назван бравым солдатом?

Швейк ведь отнюдь не глуп, но когда ему нужно, притворяется идиотом — не таким, что пускает слюни, а с восторгом развивающим любую начальственную глупость до полного абсурда и тем выставляющим на посмешище того, кому не может сказать прямо: «Дурак!» Вот это и есть «швейковина», в сущности, ирония, при которой говорят совсем иное, чем думают. В чешской же истории, увы, предостаточно эпох, когда лучше было не говорить то, что думаешь...

Одну из таких эпох я прекрасно помню. Она началась в августе 1968-го, когда по просьбе государственных и партийных деятелей Чехословакии наши и другие братские войска вошли в союзную, тогда единую, но несколько странно себя поведшую страну. Тех государственных и партийных деятелей, кстати, так с тех пор и не нашли: они и в 1968-м не признавались, а уж теперь-то и подавно не признаются. Это тогда дало повод для шутки:

— Что советские войска так задержались у нас?

— А ищут деятелей, которые их пригласили. Невежливо, знаете ли, уходить, не поблагодарив...

Потом началась «нормализация», в ходе которой каждый свободный квадратный миллиметр страны был заклеен идейно выдержанными плакатами. Среди них выделялась цитата из речи первого коммунистического президента тов. Готвальда: «С Советским Союзом — навеки!» Лозунг нашел отклик в сердцах широких масс. Они часто его повторяли. С небольшим добавлением: «И ни секунды больше!»

Но это был, так сказать, «юмор между своими». Коварная «швейковина» подстерегала чужих. Чаще всего — наших сограждан. Наших, правда, чего винить? Мало кто из них представлял все, что произошло — и происходит, — иначе, чем пел единый хор радио, телевидения и газет. И многим было странно, что кто-то может думать иначе. Для того мы и пишем эти строки, чтобы, прочитав их, наши земляки

не попадали впросак, причем не только в Чехии. Видя правильные плакаты, слыша правильные речи и — к тому же — не всегда будучи тактичными, земляки наши иной раз такое лепили...

К примеру, убедившись, что многие чешские слова звучат и значат почти то же, что и русские, а понимать надписи мешает латинский шрифт, который почему-то многие из наших читали на английский лад, можно было посоветовать чехам:

— Вам бы надо русскими буквами писать!

На что следовал ответ:

— Ой, как хорошо бы было! — начинал один чех.

А второй подхватывал:

— Даже просто начать говорить по-русски!

— Но это сразу трудно. Наверное, сначала мы перейдем на украинский, он нам чуть легче.

— А может, и вы на украинский перейдете? И у нас будет один язык.

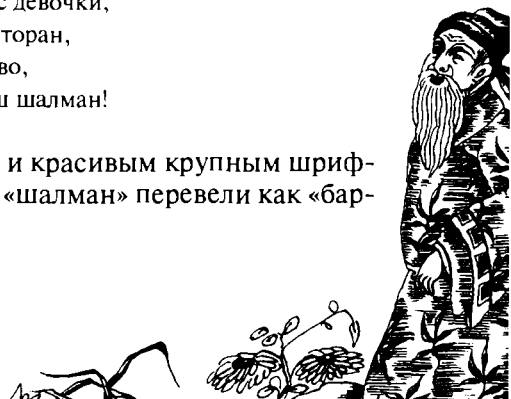
Спорил с этим разве самый тупой; до остальных доходило, что над ними смеются.

А в одном районном центре, увешенном плакатами, на главной площади стоял стенд. «Вовремя пришли!» — так на казенном языке выказывалась благодарность за август 1968-го. Мое внимание привлекло письмо в самом центре. Написали его «дембели».

«Мы, из Сибири, Вологды, с Урала, сегодня уезжаем. Но помните: можем вернуться в любой момент!» Далее следовал примерно такой же текст, написанный наивными ребятами. А потом — стихотворение из тех, что пишут в дембельский альбом:

Там ждут нас девочки,
Друзья и ресторан,
Вино и курево,
Веселый наш шалман!

И оно было тут же переведено и красивым крупным шрифтом напечатано. Только слово «шалман» перевели как «бардак».



Над своим горбом...

Помните одну из самых смешных программ советского телевидения — «Кабачок 13 стульев»? Действующие лица именовали друг друга «пани» и «пан», а все потому, что все содержание передачи было заимствовано из польских юмористических журналов.

Шутки и ситуации были нам доступны, проблемы социалистического общества — бытовые прежде всего — были общими, а то, что выходило за эти рамки, не попадало в «Кабачок».

И вообще-то не попадало многое: скажем, польский политический анекдот, а уж он-то в польском юморе занимает почетное место.

В 1967 году, после Шестидневной войны, когда Израиль наголову разбил арабские армии, многие поляки (зачастую даже и совсем не юдофилы) восприняли это событие не так, как должно бы было гражданам одного из государств Лагеря мира и демократии. (Лагерь осуждал вероломную агрессию против миролюбивых арабских государств, за день до полного разгрома обещавших стереть противника в порошок и утопить его граждан в море.) И партийный руководитель тов. Гомулка грозно этих несозначательных одернул и радость их осудил, произнесши верные, хотя и не по делу слова:

— У каждого поляка может быть только одна Родина!

На что старший писатель Антони Слонимский ответил:

— Правильно, только одна. Но почему именно Египет?

Любая шутка и афоризм Слонимского тут же расходилась по всей Польше.

Великолепная ирония! Поляки предпочитают иронизировать над собой. И этим сильно отличаются от великих соседей справа и слева.

Чужеземца, однако, подстерегают тут подводные ямы и каверзные ловушки.

Лет двадцать назад на закате социализма мне довелось приятно отужинать в польском доме.

Гостей было немало, беседа текла непринужденно, галантно и остроумно. А крутился разговор вокруг взяточ-

ничества, достигшего в предзакатной Польше неприятных размеров.

При этом у моих собеседников рвань рубашки на груди не наблюдалось — просто очень смешно рассказывали о своем опыте. А поскольку я был единственным среди них иностранцем, то в рассказы ненавязчиво вводились элементы, помогающие мне разобраться. И так это забавно звучало, и так я смеялся со всеми, что на какой-то момент почувствовал себя одним из них и, отсмеявшись после очередного рассказа, заметил шутливым тоном:

— Ну, панове, не могу понять, о какой стране вы говорите. Это что — Конго-Киншаса?

Наступила тишина, словно я сотворил нечто непристойное. Улыбки не исчезли, но стали только вежливыми — без теплоты. Последний рассказчик сказал:

— Нет, это Польша. Мы знаем это и переживаем. И знаем, откуда *это* к нам пришло.

Уточнять *откуда* я не стал. Хозяин мастерски загладил неловкость. Гости, увидев мое искреннее смущение, подчеркнуто тепло стали со мной общаться. А осаливший меня пан довез меня до гостиницы. Происшедшего он не касался, но я сам за благо почел извиниться.

— Пустяки! — отвечал он. — Хотя, знаете, у нас говорят, что над своим горбом может смеяться только сам горбатый. Как насчет стаканчика завтра вечером? Скажем, в шесть, в «Гонге»?

Прыгающий интриган

Наверное, отсутствие на нашем тогдашнем телевидении программы, основанной на венгерском юморе, объясняется его малой понятностью для наших телезрителей. Дело, естественно, не в самом юморе, а в непривычном антураже, трудных именах и фамилиях. Ну, как вы объясните, к примеру, что в сочетании Ковач Бела на первом месте обязательно стоит фамилия? Что Бела — имя не женское, а мужское? Зато Ковач Белане — имя женское, обо-



значающее замужнюю даму, хотя имя Бела — и тут мужское, а последнее «не» — вовсе не отрицание всего сказанного выше, а лишь подтверждение того, что супруга указанной дамы зовут Ковач Бела? (См. сначала.) Пока все объяснишь, смеяться расхочется.

И очень жаль. Венгрия — родина блестящих юмористов, сам язык полон таких неожиданных сравнений, эпитетов, сочных выражений, что просто призывает на нем шутить и смешить.

Естественно, это относится только к тем, кто владеет венгерским языком. А им пока владеет не большинство населения нашей планеты. Попытки же неумелого перевода с дословной передачей идиом могут запутать даже человека, в некоторой степени этим языком владеющего. Как автора этих строк, гордящегося тем, что неплохо читает, пишет и изъясняется по-венгерски.

Как-то ехал я несколько часов по Венгрии, а попутчиком моим оказался человек, изъяснявшийся по-русски. Изъяснялся он плохо, но делать это очень любил. И всю дорогу излагал мне нудную историю своих карьерных неудач, вызванных интригами одного коллеги. У них в конторе освободилась вакансия...

— ...И тогда он пригалсиа как пердуц, потому что жие его воспитательный отец бюль начальник главного отдела, — дундел он мне в ухо.

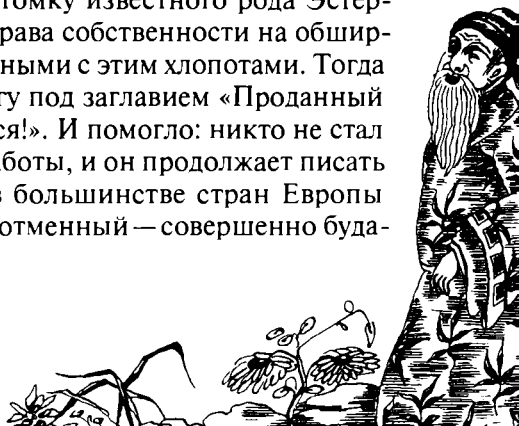
Я не понял, кто такой «пердуц», что делал «воспитательный отец» и что за «бюль» у «начальника главного отдела». Я попытался расшифровать фразу: бедняга не произносил звуков «я», «ы», добавлял частицу «ся», куда надо и куда не надо. «Жие», очевидно, значило «же», которое совершенно не влезало во фразу. Стой, «воспитательный отец» — дословно «отчим», а «главный отдел» — по-нашему главк. Оставался не расшифрованным «пердуц», как который «пригалсиа» интриган. А так — получалось почти нормально: «Он прыгал, как (неведомый мне. — Л. М.) *пердуц*, поскольку его отчим был начальником главка». С сочувствием я представил себе полного, бледного усатого мужчину. Почему-то он находился в клетке и время от времени «пригалсиа» на решетку.

Я прервал очередной пассаж описания гнусных интриг и спросил о пердуце. Спутник не смог ответить словами и, подняв руки с пальцами, растопыренными, как когти, с ревом подпрыгнул слегка над диванчиком. Было убедительно, но непонятно. Я подумал, что, будь мой отец начальником главка, я бы все равно не стал прыгаться, как пердуц. Будь я даже сам начальником!..

Тут наш поезд прибыл на Западный вокзал, и в будапештской сутолоке я потерял жертву интриг навеки. А с ним — и тайну ревущего пердуца. Разбирая этот лингвистический казус с венгерскими друзьями, блестяще знающими русский язык, я так и не смог добиться от них разъяснения глубокого смысла образа. Хотя мы и пришли к выводу, что спутник мой имел в виду «леопарда» — по-венгерски *пардуц*. Поскольку он не знал, как по-русски «леопард», то и искажил слегка венгерское слово, полагая, что так мне будет понятнее. При этом друзья прекрасно понимали, что он имел в виду, только никак не могли объяснить мне: откуда же взялся в венгерской образной речи леопард. Даже столь бесстыдно искаженный.

Мой прекрасный зуб

Нет, венгерский юмор, если его понимать, явление высокого порядка. Прекрасно переведенный на русский язык Иштван Эркень — тому прекрасное подтверждение. Или вот возьмите — Петер Эстерхази, которого относительно недавно начали издавать у нас. Когда в Венгрии начались разговоры о возвращении национализированного имущества, писателю, потомку известного рода Эстерхази, грозило вступление в права собственности на обширное поместье со всеми связанными с этим хлопотами. Тогда он написал остроумную книгу под заглавием «Проданный товар обратно не принимается!». И помогло: никто не стал навязывать г-ну Эстерхази заботы, и он продолжает писать свои книги. Их переводят в большинстве стран Европы и ценят за глубокие мысли и отменный — совершенно буда-



пештский! — юмор. Вообще в Будапеште уверены, что все анекдоты в мире рождаются именно здесь.

Как анекдоты — не знаю. Но то, что в Венгрии вырос один из известнейших юмористов мира, это правда. Для того чтобы стать таковым, ему понадобилось немного: переехать в Англию, начать писать по-английски и прославиться. В Венгрии его звали Микеш Дьёрдь, в Англии он стал Джорджем Микешем, и хотя его фамилию — *Mikes* — можно было бы прочитать на совершенно английский лад «Майкс», до конца жизни он настаивал на том, что он — *Микеш*. Тут мы завершаем венгерскую часть нашей темы и переходим к английской. Ибо Англия — классическая страна Высокого Юмора, и уж если иностранца приняли здесь, значит, ему было что предложить английской публике.

Автор этих скромных исследовательских заметок не страдает манией величия, а потому не собирается описывать и классифицировать английский юмор, дело это мне не по плечу. Мне по плечу поделиться собственным опытом.

Несколько лет назад мне довелось проживать в Лондоне, где на недолгий срок снята была квартира в доме, принадлежавшем дантисту Дэвиду Броу. Я с ним знаком не был. И вот, возвратившись под вечер домой, я обнаружил в своей квартире человека, который орудовал водопроводным ключом, сидя на корточках у батареи. Он — еще прежде, чем я его увидел, — крикнул мне, чтобы я не беспокоился: он — домовладелец, и ему стало известно, что тут протекает батарея. Вот он и предотвращает возможную протечку. По его просьбе я принес из ванной большой таз, подставил под батарею и, присев рядом, стал помогать. Мы еще долго разговаривали на разные темы за чаем. Я обратил внимание, что он внимательно поглядывает на мои зубы. Профессионал-дантист, ничего удивительного.

А у меня во рту — прямо спереди — красовался вставной зуб. Я им очень гордился. Классе в девятом мне в этот зуб врезали (по ошибке: предназначалось не мне, а я вертелся рядом), он слегка шатался лет сорок пять и неожиданно и безболезненно выпал. Обтачивать для протеза здоровые зубы не хотелось, и одна старенькая врачиха-частница

сделала мне у себя на квартире съёмный зуб. Он был белый, крепкий и мне очень нравился. (Потом я безвозвратно утратил его в глубинах Красного моря, о чем писал выше.) Но пока он был цел. И я заметил, что доктор Броу смотрит внимательно именно на него. Может быть, изучает методы чужой работы.

— Это вставной, — сказал я, постучав по зубу ногтем.

— Вижу, — отвечал доктор Броу без восторга.

— Что? Плохо сделано? — спросил я с обидчивым интересом.

— Ну что вы! — отвечал дантист. — Если вы сами его себе вставляли, то просто великолепно...





Автор, основываясь на своем довольно богатом опыте, объясняет, что знакомство с миром может стать полноценным только тогда, когда со знанием дела вкусишь плодов той земли, куда занесла вас судьба, и почему жениться стоит только недалеко от ишкембеханэ.

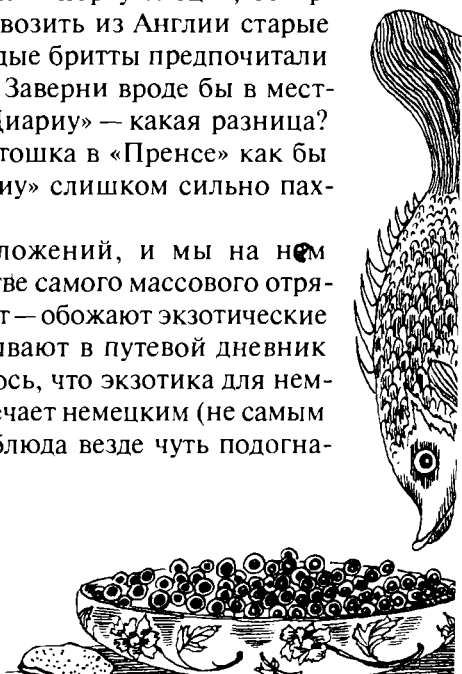
Мы хотели бы предложить нечто очень удобное и легкое в транспортировке: знания — знания о странах, которые вы намерены исследовать. Ведь любой турист, командированный и просто заезжий человек становится исследователем незнакомых стран и дотоле неведомых народов. И каждая попытка включить электробритву в розетку, самой конструкцией своею сопротивляющейся этому, становится маленькой (но зачастую весьма малоприятной) ступенькой на пути познания иного мира. Наша цель гораздо более скромная, нежели попытка дать полную и исчерпывающую картину окружающего нас Дальнего, Среднего и даже Ближнего Зарубежья. Мы хотим поделиться с вами некоторыми возможностями получения маленьких радостей во время путешествия. Все эти возможности проверены нами *органолептически*, совершенно без риска для жизни и особого урона для кошелька. Мы несем за это ответственность.

Хватит наукообразия! Скажем простым языком, о чем идет разговор. Мы хотим рассказать вам, что, где и как вы можете покушать (поесть). «Органолептика» — в данном слу-

чае — обозначает, что мы сами это все поели (отвели) и ощутили прелесть туземной еды собственным языком и нёбом. (О тех случаях, где эта прелесть не имела место быть, мы вам просто не рассказываем за полной ненужностью.)

Что ни говорите, а воспоминания о том, что и где мы ели, составляют важную часть наших повествований о путешествиях. (И что пили — тоже.) В любой гостинице, где вы остановитесь, обязательно будет завтрак со шведским столом, а иногда и ужин — тоже со шведским столом, но более плотный. И, хотя шведскость этого стола будет скорректирована местным колоритом, это все-таки — всемирный стандарт. Между завтраком и ужином время достаточно продолжительное, чтобы вы почувствовали голод и прибегли к услугам точек питания вне гостиничного комплекса. Но и это несет на себе признаки того же всемирного стандарта. Предполагается, что турист хочет потреблять блюда знакомые ему и не подозрительные своей иностранностью. Виноваты в этом, наверное, англичане, этот первый отряд мирового туристического движения. Видеть далекие страны они хотели, а отказываться от привычной пищи — нет. Заказчик, как известно, хозяин, вот и стали в Португалии, где англичане отдыхали спокон веку, продавать жареную рыбу с картошкой (с точки зрения португальцев, совершенно несъедобную). А также ввозить из Англии старые газеты, в кульках из которых гордые бритты предпочитали лакомиться рыбой с картошкой. Заверни вроде бы в местную газету «А Пренса» или «У Диариу» — какая разница? Но для англичан, оказалось, картошка в «Пренсе» как бы и не картошка, а рыба из «Диариу» слишком сильно пахнет рыбой.

Это только одно из предположений, и мы на нем не настаиваем. Англичан в качестве самого массового отряда сменили немцы, а те — наоборот — обожают экзотические яства и всегда аккуратно записывают в путевой дневник их сложные названия. Но оказалось, что экзотика для немцев лишь тогда хороша, когда отвечает немецким (не самым изысканным) вкусам. Местные блюда везде чуть подогнали под немецкий вкус.



Японцам подгонять ничего не надо, они безропотно съедят все, им поданное, тоже запишут в дневник меню (совершенно перевернув названия), но про себя-то знают, что как бы иноземцы ни старались, а вкуснее толстой лапши удон ничего на свете нет. Но получить ее будет можно только на Японских островах.

Наш человек — а наш отряд уже вышел в путь и заметно о себе повсюду заявил — неприхотлив, готов с аппетитом и обильно поесть любую иностранную пищу. На него и рассчитаны наши заметки. Поскольку объять необъятное не представляется возможным, мы остановимся на нескольких странах, особенно посещаемых нашими соотечественниками. И цель наша — познакомить с блюдами, наиболее излюбленными местным (в этих странах) населением. Вкусными, своеобразными и не стандартными. Которые хочется именно покушать.

Мы намеренно употребляем теплое и вежливое слово *покушать* вместо холодного *поесть*. Есть, в конце концов, можно в полковой столовой после команды «Приступить к приему пищи!». Прием пищи может утолить голод, но вряд ли доставит удовольствие. Зато когда вас приглашают *покушать*, удовольствие обязательно предполагается. И в какую страну ни забросит вас судьба, а также туристическая контора, воспоминания о ней всегда будут окрашены в теплые цвета, если вам довелось там потешить брюхо.

Не верьте людям, которые утверждают, что им все равно, что на столе. Во-первых, это неправда, а во-вторых, если уж это и правда, то такой человек доверия не заслуживает. Ибо он пренебрегает одной из основных радостей жизни — или живота, как сказали бы высоким штилем.

Автору этих строк пришлось исследовать питание, не щадя живота своего, в довольно многих странах. И он уверен: не следует щадить живот.

Какие землетрясения ни потрясали бы турецкую землю, какая бы война ни ярилась в какой-нибудь паре тысяч километров от турецких берегов, а любовь россиян к отдыху в Турции не слабеет. Во-первых, дешево, во-вторых, гарантия хорошей погоды, которую у здешнего моря не нужно напрасно ожидать. И в воспоминания о синем море и жар-

ком солнце вплетается дымок дёнер-кебаба и истекающая медом пахлава.

Не надо дёнер-кебаба! Не думайте о пахлаве! Прошу понять меня правильно: я не враг вышеназванных деликатесов, более того — я их люблю. Но... Где теперь не увидишь дёнер-кебаб, даже если он скрывается под псевдонимом «арабская шаурма» — оба слова в названии сушая бесстыдная ложь. Ну, тут чуть получше, там чуть похуже, но все одно.

Вот «джаджык» — великолепный овощной салат с йогуртом — он и под греческим именем «тцатцики» одинаково прекрасен. Он родился под этим средиземноморским солнцем из местных овощей, оливкового масла и принесенного из среднеазиатских полупустынь кислого молока. А разные имена получил после развода Греции с Турцией.

Впрочем, джаджык вы получите и в гостиничном ресторане. Но сделайте несколько шагов в сторону от центральных улиц (или пляжа), пройдитесь по довольно тихим улочкам, и вы обязательно наткнетесь на небольшую точку общественного питания («кючюк локанта», как говорят здесь) на семейном, так сказать, подраде. Точку обслуживает хозяин со чады (в Турции многочисленные) и домоладцы. Выбор тут не так уж велик, а чаще всего вам предложат «кюфте». Это может обозначать целую палитру блюд, но главное будет в нескольких котлетках или мясных шариках, тушенных с картошкой, баклажанами и помидорами, со свежим, тонко нарезанным луком. Подают его прямо на сковороде. В каждой локанте вкус свой, но везде — домашний. Так вы ели только у мамы, да нет: у бабушки, которая знает вкусы внука и ждет его прихода. Как бы вы ни заботились о фигуре, пусть тут будет картошка — красноватая от перца и коричневатая, поскольку тушилась с баклажанами в оливковом масле, а без хлеба не обходитесь. Вы ведь решили поесть как турок?

Турецкий хлеб — это особая поэма: лаваш, который здесь потолще, чем привычный нам, лепешка, пышная и круглая, гигантский каравай, от которого в лавке отрезают куски по килограмму. (Всех видов не перечислил, даже и не пытаюсь.) Хлеб этот вкусен сам по себе, даже без масла, даже



без брынзы и зелени. Не раз я видел турок, которые закусывали чаем с хлебом; ну, еще маленькая мисочка с салатом из помидоров и лука, политых лимонным соком и оливковым маслом. Турки обмакивали куски хлеба в салатную подливу и неторопливо поглощали их.

Мне кажется, когда (и если) наступит эра всеобщего благоденствия, турецкий пекарь появится во всех населенных пунктах всего мира. Кстати, наблюдая в любом зарубежном городе турецкий общепит, где в любое время суток трудолюбивые усатые люди тоненько срезают корочку с дёнера и радостно предлагают вам фасолевый суп, баклажаны разных изводов и прочее, прочее, прочее, мне приходила в голову мысль, что в истории европейцы понимали турок неправильно. Ошибались, наверное, европейцы. И когда где-нибудь под Веной обнаруживалось скопление турок и слышалось бряцанье металла, не следовало приглашать польского короля Яна Собеского громить магометан: то были не захватчики. Турки шли просто для того, чтобы открыть во всех австрийских, венгерских и чешских городах короны торговые точки с дёнер-кебабом и пекарни с кондитерским цехом для пахлавыв. А также научить туземцев пить чай... В XVII веке их просто не поняли. Они добились своего — кроме чая — триста лет спустя.

Впрочем, оставим теоретические размышления. Вот что было со мной.

Долмуш — междугородный автобус с надежной принудительной вентиляцией в виде открытых окон — самое удобное транспортное средство в Турции. Несколько часов путешествия, возможность курить на заднем сиденье и природная общительность местных южных людей сделали его для меня ценнейшим местом для получения неформальной информации о стране и привычках ее народа. Обменялся сигаретами, как верительными грамотами (я — наше «Мальборо», мне — «Кэмел» турецкий), и начинай беседу.

...Сосед затянулся, одобрил качество, поинтересовался ценой и сказал, что, когда приехал из провинции в Стамбул, курил только самые дешевые местные сигареты «Юлдуз». Потом разговор сам по себе перешел на разные другие жизненные случаи.

— Я потом в Стамбуле женился и остался. — Сосед засмеялся, вспомнив забавный эпизод. — Я жену как выбирал? Человек хороший, жить есть где, а главное — ишкембеханэ рядом. Женюсь, решил.

Он переоценил мой запас турецких слов. Я не понял, что такое «ишкембеханэ» и почему это могло повлиять на дальнейшее устройство жизни. Я прямо спросил об этом.

— Ишкембеханэ? Ну, это заведение, где готовят и продают ишкембе-чорбасы. Ишкембе, ишкембе... у коровы внутри, у овцы тоже. Желудок, кишки-мишки всякие разные. Понятно?

Теперь стало понятно: требуха. Ну и что?

— Из них делают очень вкусный, очень сытный суп. С луком, перцем. С картошкой можно. Очень дешево, главное. Студенты, строители, небогатые люди его любят. Съел — весь день сытый. А в жару как хорошо!

Занятно, но за неделю в Турции я этого сытного блюда из кишок-мишок не встречал, при том что каждый удобный квадратный метр турецкой территории занят предприятием общественного питания. Там шипит на вертикальном вертеле дёнер-кебаб (почему-то известный у нас как арабское блюдо «шаурма», хотя оно турецкое, и название его тоже происходит от турецкого слова «чеверме» — «крутящееся»); там шкварчит на противнях средиземноморская рыба; там громоздится прозрачный лукум и истекает медом пахлава. И зазывалы, лстиво называя вас «коллега», чуть ли не за полу тянут отведать вышеназванное и многое другое, выкликая дразнящие аппетит и фантазию имена. Но ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь зычно кричал: «иш-кем-бее» и дергал за рукав прохожего. Скорее всего, решил я, эти заведения не рассчитаны на студентов, строителей и прочих небогатых людей, а туристы — по определению — все состоятельные и подлежащие стрижке.

Потому город Демре-кале, к которому приближался наш долмуш, представился мне подходящим местом для органолептического изучения ишкембе-чорбасы. Он пока в стороне от туристских троп. Кроме того, жара и рассказ попутчика разожгли мой аппетит.



В трех первых точках питания ишкембе не готовили: там был обычный шикарный — и недорогой — набор. Заведения стояли рядом, и обойти их труда не составило. Четвертое было тоже тут, но — закрыто. А до пятого пришлось идти минут десять по пространству, лишенному тени.

— Ишкембе-чорбасы вармы?

— Есть, есть, бей-эффенди, заходите.

И не успел я плюхнуться на стул, как передо мной поставили грушевидный стаканчик с чаем и салат из помидоров с луком. Я развежился. Чай снял жажду, салат с дивным турецким хлебом утолил острое чувство голода. Развежился я совершенно зря, ибо за мной следили. Я не успел еще обмакнуть последний кусочек хлеба в помидорный сок, как раздался жалобный вопль и из кухни в зал выскочили два повара. С ножами они напоминали янычар из исторических фильмов.

Я остолбенел. С другой стороны подбегали два официанта: весь персонал окружил меня. На лицах их был написан ужас. Я быстро оглядел себя, но ничего, способного внушить ужас этим достойным людям, не обнаружил.

— Бей-эффенди, — горестно произнес старший по возрасту официант, — простите нас. Ишкембе-чорбасы нет. Может быть, что-то другое: шиш-кебаб, тавук...

Поняв, что я ни в чем не виноват, я осмелел и перебил его:

— Как — нет? Вообще нет? Но вы же сказали...

— Не вообще нет. Сейчас нет. Его готовят. Но это очень долго. У нас готов шиш-кебаб, тав...

— А когда будет? Будет когда? — Я постучал по своим часам.

— Через час. Всего один час! Он должен быть совсем мягким. Мы его варим с утра.

Мне стал ясен план этих добрых людей: сказать, что нет — нельзя, подать — тоже. Зато, заманив клиента и дав заглотнуть наживку, они рассчитывали, что у него не хватит сил покинуть их. Но близость и недосягаемость искомого лишь укрепили мои намерения.

— Менеджер-бей, — сказал я, соединив международный титул с турецкой вежливостью и тем польстив чело-

веку, который был максимум «гарсон-баши» — старшим официантом, — я приду через час. Я могу заплатить за чай и салат...

Персонал единым энергичным жестом отверг это недостойное предложение. С *таких* гостей — не берут, *таким* — платят за честь...

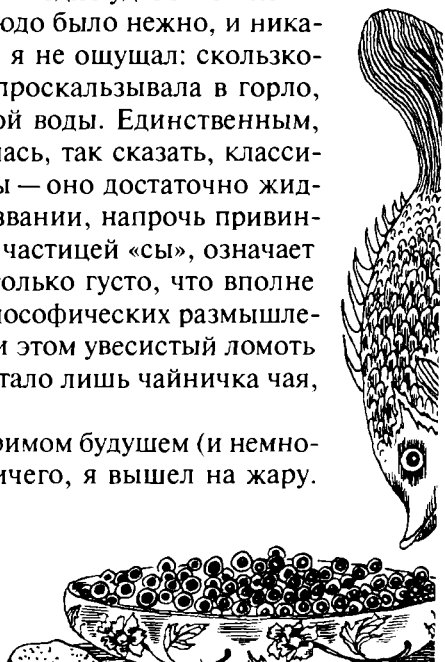
Покинув гостеприимное заведение, где меня полюбили так, что не могли отпустить, пока я не покушал, я час гулял по городу, потом полчаса пил чай в чайхане да еще на полчаса сделал круг и очень точно — по местным понятиям — вернулся.

Гарсон-баши и гарсон просто пребывали в праздничном настроении: очевидно, ишкембе-чорбасы был на подходе. Его же, несомненно, дожидались несколько достойных людей небогатого, но приличного вида, пивших чай. Мне его тоже тут же поставили.

Еще через полчаса передо мной стояла миска, полная сероватого, испещренного красными черточками перца варева, источавшего аппетитный запах мяса, лука и чеснока. Я взял в руки ложку и под дружелюбными взглядами гарсонов отправил ее в рот. Язык и небо обожгло, не могу сказать точно от чего: от перца или от температуры блюда. Наверное, от того и другого. Гарсон-баши поставил стакан воды. Дышать стало легче. Глотать — одно удовольствие.

Это было не просто вкусно. Блюдо было нежно, и никакой резиновости резаной требухи я не ощущал: скользковатая и благоуханная, она сама проскальзывала в горло, сопровождаемая глотком холодной воды. Единственным, чего я не мог определить, оставалась, так сказать, классификация блюда. С одной стороны — оно достаточно жидкое, да и само слово «чорба» в названии, напроць привинченное к требухе притяжательной частицей «сы», означает суп. С другой же — все было настолько густо, что вполне могло сойти за второе. В этих философических размышлениях я завершил трапезу, умяв при этом увесистый ломоть хлеба. Для полного счастья не хватало лишь чайничка чая, и я его немедленно получил.

И с ощущением того, что в обозримом будущем (и немного потом) не смогу уже съесть ничего, я вышел на жару.



Но пожар внутри настолько поддерживал температурный баланс, что я этой жары не замечал.

Не торопясь пошел я к автобусной станции, размышляя: вот в Стамбуле бы жениться! Главное, голову ломать не надо. Была бы рядом ишкембеханэ...

Хумус? Хумус!

В Египте надо отведать хумус. Хумус — это турецкий горох, отваренный и тщательно протертый до состояния нежнейшего пюре.

Конечно, не хумусом единым жив Египет: весь восточный набор здесь присутствует. Несколько напоминает турецкую кухню, но та все же поразнообразнее и повкуснее будет. И, что ни говори, нам ближе. Зато хумуса в Турции нет. А в Египте он почему-то не наличествует на шведских столах в гостиницах. Простецким что ли считается среди менеджерской общественности? Народ его любит. Я тоже.

Я влюбился в него неожиданно, заплутав в архитектурно несовершенной части города Хургада, где живут и торгуют трудящиеся египтяне. От украшенной штучными отелями туристской части ее отделяет изрядное расстояние. Все дела были сделаны, но микроавтобус из нашей гостиницы ожидался лишь часа через полтора. Чувство голода переставало быть легким и становилось навязчивым. В безликом переулке за углом я увидел надпись, латинское начертание которой все равно ничего не проясняло. «Хумус». Изображение тарелки, однако, обещало нечто съестное.

Внутри заведение было крайне скромным, но — в здешних условиях не последняя забота — чистым.

— Что вы можете предложить? — поинтересовался я по-английски.

— Хумус, сэр, — отвечал хозяин, израсходовавший, как выяснилось, примерно треть своего запаса английских слов. — Хумус, сэр?

Я кивнул: мне тоже нечего было больше сказать. Он поставил передо мной флакон оливкового масла. Я кив-

нул, смутно надеясь, что оливковое масло не называется по-арабски «хумус». Он положил круглую и пустую лепешку-питу. Потом долго возился за стойкой и вернулся ко мне с тарелкой, на которой медленно расползлась некая густая масса, похожая на замазку.

— Хумус, сэр! — гостеприимно сказал он и принес половинку лимона.

Я продолжал сидеть, не зная: это уже все или еще что-то принесут. Хозяин понял мои затруднения и, взяв лимон в жменю, сильно его сдавил. Сок брызнул на замазку. В лимоне оставались еще соки, и хозяин жестами показал мне, что, если надо, я могу дожать цитрус. Он наклонил флакон, и оливковое масло золотистой лужицей растеклось по массе на тарелке.

Ложки подано не было. Я сообразил, что следует оторвать кусочек питу и, орудуя им как ложкой, приступить к делу. Я приступил. Было очень вкусно. Несколько отдавало кунжутom. С хлебом все сочеталось самым лучшим образом. Я добавил соку. Добавил масла.

Хозяин добродушно наблюдал за мной из-за стойки. Я начал орудовать питой с заметным умением.

— Хумус? — спросил хозяин и показал поднятый большой палец.

— У-у-у! — согласился я.

Расплачиваясь, я развел руки, показывая крайнее удовлетворение.

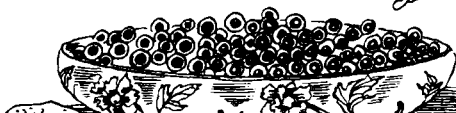
— Хумус? — уточнил хозяин.

— Хумус! — ответил я с энтузиазмом.

От ужина в гостинице я отказался.

Дивное карри с глазами

То, что страна Малайзия существует, знает каждый, кто проходил географию. Гораздо меньше людей осведомлены о том, что не существует малазийской кухни. Точнее: не существует единой малазийской кухни. В стране живут малайцы — их больше всех, от них название страны, и есть малайская кухня. Китайцев в стране не просто



много, их очень много, особенно в городах. И есть китайская кухня, да не просто: южная гуандунская, шанхайская и пекинская. Все, естественно, палочками едят и соей поливают, но разница между этими кухнями, как примерно между украинским борщом и карельскими калитками с кашей.

Еще в стране много индийцев, а потому тут представлены тамильский юг и пенджабский север, да еще и индийские мусульмане с севера держат свои рестораны и ресторанчики.

Таким образом, попав в Малайзию, вы располагаете широкими возможностями познать почти все кухни Востока, ибо индийская, скажем, мусульманская кухня не так уж сильно отличается от персидской, а та — от турецкой. Но чем европейца там точно не попотчуют, так это малайским соусом «траси» из перебродивших морепродуктов.

Именно на траси мы с моим спутником Иваном Захарченко и наткнулись сразу, как вышли из гостиницы. Человек в клетчатой индонезийской юбке сидел, поджав ноги, на обочине улицы. Мы находились в стране уже два часа, а вся, как говорят казенным языком, программа нашего пребывания начиналась только вечером — с приходом человека из министерства. Очень хотелось есть. Жара, правда, охладила, если так можно сказать, наши желания, но набор коробочек и баночек на циновке перед человеком разжег любопытство. В одной баночке содержалась сероватая и комковатая паста.

— Европейцы этого не едят, сэр! — поймав наши взгляды, заявил продавец. И этим только разжег наше любопытство. Баночку открыли. Запах оказался не для слабонервных, коих, по счастью, в нашей маленькой экспедиции не было. Траси оказалось почти тем же самым, что бирманское нгапи, тайское нам-пла и вьетнамский ньюк-мам — распространенная по всему Индокитайскому полуострову приправа из перебродивших (да чего там: просто подгнивших) рыбы, креветок и прочих даров моря. Тоже мне: напугал исследователей Востока своим траси! Все это мы знали и любили и раньше, но, поскольку покупка в наши планы не входила, сморщились и вернули банку.

— Вот видите, джентльмены, я вам сказал! — с удовлетворением заметил торговец. — Вам еще надо привыкнуть. Вы были в малайском ресторане?

И он показал на ограду, из-за которой поднимался аппетитный дымок. Этого нам и было нужно.

Ресторан являл собой открытую площадку под деревьями. Что-то кипело, булькало, шипело и скворчало на длинном столе: для первого раза слишком разнообразно и непонятно. Разве что многочисленные маленькие шашлычки казались родными и близкими. В меню мы нашли слово «карри». Здесь карри готовили из рыбы. Об этом было написано.

Зато не было написано, что в дело шла не вся рыбина, а только ее голова. (Много голов.) Это нас тоже не смутило. Смutilи нас рыбы глаза. Не то чтобы они глядели на нас с укором: из-за вас, мол, меня загубили. Нет. Их было просто много. Официант, ловко орудуя ножиком, извлек их и красиво расположил на тарелке. Он сиял. Он угощал уважаемых гостей лучшим блюдом.

Под его ликующим взглядом мы подцепили палочками глазки и сделали вид, что нам это нравится. Он не уходил. Очевидно, он решил разделить с нами удовольствие до конца. Мы покушали еще маленько очей. Положение становилось безвыходным, когда в наши головы почти одновременно не залетела спасительная мысль.

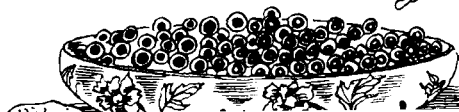
— Как называются вон те кусочки мяса на палочках? — спросил я.

— Сатай! — радостно сообщил официант. — Из курицы и из баранины.

— Друг мой! — сказал мой спутник проникновенно. — Принесите нам их по четыре штуки. Тех и других.

Шашлычки с острейшим соусом оказались восхитительными. Мы погасили пожар во ртах жасминным чаем и отвалили официанту приличные чаевые. В благодарность он не поинтересовался, чего это у нас карри недоедено. Глаза на тарелке провожали нас с грустью.

Справедливость требует добавить, что все другое, что нам довелось есть на малайском столе, было весьма вкусно. Но так как этническое кулинарное разнообразие страны



позволяло делать выбор, мы остановились на китайской пище как повседневной. Время от времени мы позволяли себе экзотические отступления: то индийскую, то малайскую. В конце концов, все они — малазийские.

Правда, карри из рыбьих голов мы впредь не заказывали: слишком недолго оставались в стране, чтоб привыкнуть...

Помните про умеренность!

Задержались мы что-то в некрещеных странах... В крещеных тоже поесть можно.

В отличие от Малайзии в Венгрии живут венгры, отчего, очевидно, страна и получила такое название. И карри из рыбьих голов там не подают. Там вообще не подают карри. Там своего хватает так, что о карри не вспомнишь.

Путешественник, направляющийся в Венгрию, должен твердо знать, что в этой стране нет места, где бы накормили невкусно. Тут можно не волноваться.

Увы, существует другая проблема: венгерские порции столь обильны, что это может сказаться на фигуре потребителя самым заметным образом. А вся беда в том, что наши земляки никак не хотят рассматривать суп как целый обед, необходимый и достаточный. Каков бы ни был суп, наш человек норовит съесть после него еще и второе, желательнее — мясное.

Самое венгерское слово, известное у нас, — «гуляш». Понятно, что второе, иногда довольно вкусное. Вообще-то есть еще и суп-гуляш, но он у нас встречается редко. А в Венгрии вы чаще встретите именно суп, а то, что называем гуляшом мы, называться будет «пёркёлт» или «гуляш пёркёлт». Путаницы никакой нет. Просто гуляш как гуляш — это у венгров не первое и не второе. Это вообще несъедобная (для нормальных людей) штука: живой усатый мужчина, пасущий в венгерской степи — пугает — коров. Поставленный перед определяемым словом, он становится эпитетом «пастуший». И получается «пастуший суп» и «пастушье жаркое». Так как пастухи-гуляши в пугающей степи имели привычку съесть на обед у костра одно блюдо, оно должно было

быть очень сытным. Тут ничего лучше супа не придумаешь, хотя назвать это блюдо просто супом язык не повернется. Как не повернется в нем ложка из-за обилия нарезанного кубиками мяса, картошки, лука, красного перца. И все сварено в огромном количестве наваристого бульона. Так сказать, «шампунь и кондиционер в одном флаконе». Полагается к нему увесистый ломоть белого хлеба. После такого супа остается только выпить чашечку кофе.

Но венгры после этого (и других не менее сытных) супов едят что-нибудь легкое. Знаете ли вы, что такое «туруш чуса»? Нет, вы не знаете, что такое туруш чуса. Это горка лапши, на которой возлежит холмик творога, а сверху покоятся свиные шкварки в растопленном жиру. Лицам невенгерских национальностей, которых довольно много, блюдо это кажется на первый взгляд: а) несъедобным, б) очень тяжелым. Они не правы, эти несчастные невенгры. Туруш чуса, при всем своем своеобразии, весьма вкусна и — вы удивитесь — насколько не тяжела.

Вот тут бы и выпить чашечку кофе. Но истинный мадьяр заказывает еще изрядный сегмент торта с кремом и съедает его, ловко орудуя вилкой и ножом. И, поймав ваш удивленный взгляд, объясняет: «Венгры любят свой желудок!» Истинный венгр в таких случаях употребляет вместо местоимения «я» собирательное «венгры». Вот теперь можно выпить чашечку кофе.

Король и простолюдины

В Праге очень много ресторанов. И очень много очень хороших ресторанов. Но вы никогда не узнаете, что едят сами чехи, если ограничитесь посещением этих предприятий общественного питания высоких разрядов. При этом у вас возникнет странное ощущение, что чего-то вам не хватает. К примеру, супа. То есть супы есть, но они иностранного происхождения. То французский буйябес, то индийский с моллюсками, то, не дай вам бог соблазниться, борщ. Русским, а тем более — украинским его не назовешь. Его можно было бы назвать, к примеру, как-нибудь вроде «капустного



супа по-южночешски», но этого делать не стоит, ибо чехи воспринимают борщ как суп сугубо иностранный и даже экзотический и почему-то кладут в него сосиски. Если же присутствует в меню нечто далекое от экзотики, то это просто бульон. Иногда с тоненькой лапшой.

Очень много очень вкусных вторых блюд, но они все такие сложные, что вряд ли кто из рядовых граждан может себе это готовить каждую неделю. И возникает законный вопрос: а что же едят на обед рядовые граждане этой красивой страны?

Узнать это очень не трудно. То есть трудность есть, но она вовсе не кулинарная. Дело в том, что чехи непристойно рано начинают рабочий день — в семь, а то и в шесть, — и, следовательно, обед у них приходится на время, когда заезжий иноземец только продирает глаза, — часов этак в десять. И к двенадцати блюда обеденного ассортимента уже исчезают. Поэтому сделайте усилие над собой. Нет-нет, я не призываю вас вставать в шесть! Просто, пробудившись часов в девять, скажите себе, что у вас сегодня плотный завтрак. И направьте свои стопы в любой приличный магазин, где торгуют мясом, ветчиной, колбасами и прочими подобными продуктами. Даже если вам трудно читать латинским шрифтом, вы не пройдете мимо, такие ароматы из него исходят. Там обычно есть нечто вроде буфета со столиками «в стояка». Там уже обедают хорошо выбритые строители в чистых комбинезонах и другие представители рабочего класса. Выбор тут не слишком большой, но аппетитный.

Начните с супа. Суп по-чешски женского рода — «полевка», а среди этих полевок нужно отметить «дрштькову». Почти полное отсутствие гласных при суровом скоплении согласных подчеркивает истинно чешское происхождение этого блюда. Переводится это как «суп из требухи», но требуха в нем столь мелко перемолота, что вы ее и не заметите. Там еще много чего есть, но вы ощутите языком и нёбом хорошее наличие красного перца, причем не по-чешски жгучего. Это очень вкусно, особенно с небольшой булочкой, хорошо пропеченной и почти без мякоти. Чехия вам — не Венгрия, порции здесь умеренные. Так что чрезмерная сытость не помешает вам насладиться вторым блюдом.

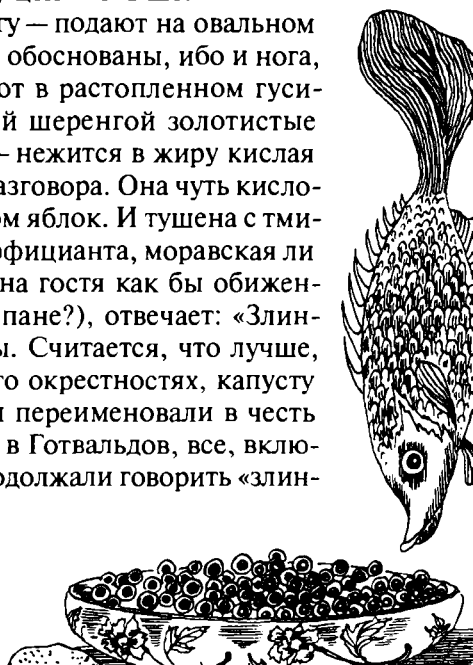
Возьмите копченую вареную свиную коленку с горчицей. И опять же с булочкой. Грамм сто пятьдесят будет достаточно. Кстати, коленка коленкой, но кости не будет — одно тающее во рту мясо. Чуть не забыл: все это настолько дешево, что не верится. Естественно, что помимо пива все это есть просто преступно. Но пиво здесь не подают. И следует, ступив два шага от выхода из магазина, зайти в пивную. Строители уже сидят там и курят недорогие сигары.

Вместо дрштьковой можно взять «цыбулячку» — луковый и совсем не французский суп — или «чеснечку», что, как вы понимаете, суп чесночный с несколько резким вкусом. (Если у вас скоро свидание, от этого супа лучше воздержаться.)

Да и коленкой меню простецкого заведения тоже не ограничивается. Никак не могу понять, почему эти яства не подают в лучших ресторанах. Наверное, очень уж они простонародные. (Вы знаете в Москве ресторан, где вас попотчуют макаронами по-флотски? А ведь вкусно-то как!)

С моей точки зрения, король чешской народной кухни — это гусь. «Народной», кстати, не понимайте как «простонародной». Блюдо из гуся довольно дорого, и не в каждом дешевом ресторане «3-й или 4-й группы цен», где это доступно, найдете гуся каждый день. Но чешский гусь того стоит, чтобы заглянуть и в «группу цен» повысить.

Гуся — правильнее, гусиную ногу — подают на овальном блюде с высокими бортами. Борта обоснованы, ибо и нога, и все ее сопровождающее плавают в растопленном гусином жиру. Слева лежат изогнутой шеренгой золотистые картофельные блинчики, справа — нежится в жиру кислая капуста. Капуста — тема особого разговора. Она чуть кисловатая, чуть сладковатая с привкусом яблок. И тушена с тмином. Истинный знаток спросит у официанта, моравская ли капуста. И официант, посмотрев на гостя как бы обиженно (Как вы можете сомневаться, пане?), отвечает: «Злинская!» И тем снимает все вопросы. Считается, что лучше, чем в моравском городе Злин и его окрестностях, капусту не квасят нигде. Даже когда Злин переименовали в честь коммунистического руководителя в Готвальдов, все, включая самых идейных товарищей, продолжали говорить «злин-



ская». То ли не звучало «капуста готвальдовская», то ли черт его знает, тов. Готвальда, какую он капусту ест, а фирменное название меняться не должно.

Убедившись в злинскости капусты и проткнув корочку гусиной ножки, вы узрите под ней нежное мясо. Отрежьте кусочек. Отхватите кусок блинчика и хорошо повозите им в жиру, чтобы пропитался. Положите на него мясо и наберите капусты. И все вместе отправьте в рот. Именно — вместе. И вы поймете, как бы вы обедали по воскресеньям, если бы вы были чехом и королем одновременно.

Справедливость требует добавить, что чехи, похоже, не менее превосходно готовят утку. Она и подешевле, и распространена повсеместно.

Только вместо картофельных блинчиков попросите к ней кнедлики из булочки.

Дядя Фо и его котелки

К сожалению, трудно передать русскими буквами вьетнамскую фонетику. Поэтому тот читатель, которому по прочтении нашей заметки захочется «фо» (разумеется, во Вьетнаме), рискует, что его не поймут. В этом односложном слове звук «о» — не совсем «о», а нечто среднее между «о» и «ы». А «ф» вьетнамцы обозначают сочетанием «ph». Запомнив эти нехитрые, но тяжкие для не гибкой европейской гортани вьетнамские фонетические реалии, смело можете искать «фо». В крайнем случае напишите на бумажке, только не забудьте приделать к гласной букве крошечную загогулилку, вроде крючочка, чтобы эту букву подвесить. И для полной надежности изобразите рукой и губами, как вы едите. Ручаюсь, что спрошенный вами вьетнамец в ответ на это изобразит на лице блаженство. Потому что все вьетнамцы очень любят суп фо.

Из чего состоит фо? Это горка рисовой лапши, бульон, нарезанная кинза и сырое, очень мелко нарезанное мясо, смешанное с кусочками имбиря. Сырым мясом суп сильно отличается от китайских супов с лапшой: китайцы все быстро жарят и варят на сильном огне. Не бойтесь:

никто не станет угощать вас сырым мясом; его *почти* сварят при вас в кипящем бульоне. «Почти» — потому что мясо все-таки останется не до конца сваренным, и это придает супу фо неповторимый вкус. Второе — и тоже существенное — отличие от китайской кухни — это соус из перебродившей рыбы «ныок-мам». Во всем Индокитае такие соусы (под разными названиями) необходимая приправа к еде, очень полезная, добавим, а китайцы предпочитают соевый соус. У всех, в конце концов, свои вкусы, и у китайцев — тоже. И хотя, как известно, они едят все, что растет, бегаёт, летает или плавает, к ныок-маму это не относится.

Воспоминание о родине у вьетнамцев всегда связано с супом фо. Даже точнее: не с тем супом, который мама готовила в родном доме, а с тем, который можно съесть на улице. А значит, с тем, который варит «бак-фо», «дядя фо»: так по традиции называют торговца-мастера, который появляется в людных местах с коромыслом на плечах. На этих коромыслах дядя фо тащит: жаровню, котел с бульоном, корзину с мясом и всем прочим, что необходимо для готовки, включая большие пиалы, палочки и ложки (фо едят одновременно и палочками, и ложками). Грузоподъемностью своей дядя-суповар сравниться может с грузовиком.

Как-то раньше считалось, что приготовление фо — дело чисто мужское, но и теперь, когда — особенно на базарах, где установлены неподъемные печки, — фо варят и тети (даже чаще, чем дяди), словосочетание «дядя фо» осталось. К примеру: «Пойдем к дяде фо!» — говорит ваш вьетнамский знакомый, и вы идете к тетушке, сидящей на базаре.

Для начала вам положат в пиалу (вроде тех, из которых узбеки едят плов) рисовую лапшу, она сварена заранее и уже остыла, но это не страшно, ибо ее заляют кипящим бульоном. А для этого в половник кладут мясо — всегда говядину, полусырую свинину есть опасно, и не только в тропических условиях Вьетнама, — и, окунув его в бульон, чтобы набрать жидкости, тут же чуть-чуть приподнимут бортики половника над котлом. Мясо должно вариться, но жидкость не должна выливаться в котел. Бульон в половнике сразу порозовеет от крови. Его подержат секунд тридцать и выльют



на лапшу. Мясо останется в половнике, и с ним повторят ту же процедуру; только розоветь бульон уже не станет. Можно повторить все то же и еще один раз, но вьетнамские гурманы этого никогда не делают. Для нас же с вами и после третьего раза мясо остается достаточно сырым.

Теперь поверх всего кладут колечки лука, кинзу, мелко нарубленный, очень кислый лимончик и пододвигают пиалушку с ньюк-мамом, куда дядя (тетя) сыпанет мелко нарезанного дявольского перца. (Опытные вьетнамские мастера фо, увидев европейца, вопросительно глядят на него: как насчет перца? Известно, что «длинноносые» его есть боятся.)

Ваше дело — размешать варево палочками, добавить соуса по вкусу, взять в левую руку фарфоровую ложку, нагрести палочками, что в вашей правой руке, туда лапши и всего прочего и — не стесняясь чавканья, признака удовольствия от пищи — отправить ее в рот.

Миска фо — это целый обед, вкусный, сытный и острый. Он поможет вам переносить жару.

С первой пиалы при слове «Вьетнам» вы вспомните дядю фо, даже если это — тетя.

И не забудете уже никогда.

Все равно, куда позовут вас: на прием во вьетнамское посольство или в гости в трудовую вьетнамскую семью, украшением стола будут маленькие золотистые блинчики, свернутые в трубочку. Как наши блины с начинкой, только меньше и тоньше. Это — «нэм сай-гон», «сайгонские блинчики», хотя город и сменил имя на Хошимин.

Их же вы увидите в любой вьетнамской харчевне, в любом месте, куда нелегкая торговая судьба забросила сынов Южной страны. Это — кулинарная гордость Вьетнама, любовь к которой начинают немедленно испытывать чужеземцы, отведавшие их с пылу с жару.

Главное в нэме — бань-чан. Так называется кружок из рисовой муки размером с хороший русский блин, тонкий и шершавый, как пергаментная бумага, и очень ломкий. Вьетнамцы делают их, высушивая жиденькое рисовое тесто на шелке, растянутом на рамочках. Рисунок матери передается бань-чанам — к примеру, дракон, пальмы

или что-нибудь еще красивое с точки зрения восточной эстетики. Обычно бань-чаны продают стопочками, перевязанными тонкой лианой, и придирчивые покупатели выбирают и рисунок. Понять не могу: к чему? Когда нэм снимают со сковороды, никакого рисунка на нем нет. И вообще возникает одно желание: съесть и заурчать от наслаждения.

Но от бань-чана до нэма лежит долгий путь готовки. Надо приготовить фарш. Для этого надо очень-очень мелко нарубить мясо. Именно — нарубить. Халтурщики — а они есть и среди вьетнамцев, — правда, пропускают свинину через мясорубку, но на то они и халтурщики, зачем нам есть их нэмы? Для изысканных нэмов — следует подготовить отварных креветок, но держать их отдельно. В мясо следует добавить сахар, соевый соус, яичный желток. Смешать с мелко нарубленным луком; во Вьетнаме он очень едкий и сочный, но и наш сойдет, особенно — красный.

И еще нужна отваренная прозрачная вермишель, которую во Вьетнаме называют «мен-тао». Ее добавляют в фарш, чтобы придать блинчику форму.

Теперь наступает самая главная предварительная операция. Бань-чан следует намочить, чтобы из хрупкого и ломкого он превратился в гибкий и податливый.

Чуть передержали — и он разбрызнет до полной негодности. Поэтому вьетнамцы не пользуются тарелками, а льют на стол воду или — что еще лучше — плескают, не скупясь, пиво. Прикладывают к нему бань-чан и выкладывают на него фарш, креветочку, несколько вермишелеинок. Далее сворачивают, как наш блин с мясом, только маленький.

Все это делается настолько стремительно, что почти не уловить движений рук. Но это — цветочки, ягодки стремительности — впредь.

На глубокой сковороде шипит и чадит свиной жир или растительное масло в достаточном количестве, чтобы блинчик в нем почти утонул. Его кидают на сковороду, следующий, следующий, и когда кинули последний, нужно перевернуть первый. Ломкая в начале пути облатка бань-чана, гибкая и податливая после соприкосновения с пивом, становится в раскаленном жиру хрупкой, твердой и непро-



нищаемой. И в ее панцире стремительно варятся в собственном соку и мясо, и креветки, и все остальное. Но ни капли не выливается. (Если, естественно, крутила блинчики хорошая мастерица. Между нами говоря, даже если и выльется что, все равно вкусно...)

Минута на одном боку, минута на другом — и пора вынимать и класть на противень. Ибо нэмы ни в коем случае нельзя класть один на другой, даже не стоит им давать соприкоснуться: они могут отсыреть и утратить свою обольстительную хрусткость.

А при этом надо еще класть новые порции, а для этого успеть скрутить нэмы, а для этого... Что там цирковой жонглер по сравнению с нэм-мастером!

На ханойском рынке Донг-Суан я видел подлинную мастерицу: она не только делала все, что описано выше, но еще успевала и расплачиваться с покупателями. С ней работала небольшая девочка, наверное, внучка (у вьетнамцев трудно бывает разобрать возраст: то ли бабушка она ей, то ли мама, но, правда, никак уж не сестра). Так вот, девочка крутила нэмы, а бабуля еще успевала бдительно следить за качеством ее работы и, если оставалась недовольна, ухитрялась хлестнуть чадо бамбуковым прутиком по рукам. С точки зрения вьетнамцев, которая была мне изложена моим другом и спутником высокоученым Ту, никакой жестокости тут не было. Была достойная почтенная забота о том, чтобы подрастающее поколение выросло мастером своего дела.

Два небольших — но вкусных —
дополнения

1. Кто такие мамалыжники?

Вы, наверное, подумали о Румынии? И вы ошиблись. Латинские народы, с большим уважением относящиеся к кулинарии, почти все имеют (у других народов) прозвища, связанные со своим излюбленным блюдом. Французы — «лягушатники», румыны — «мамалыжники»,

итальянцы — «макаронники», хотя правильнее было бы «спагеттики». Румыны действительно мамалыгу любят. Это блюдо пришло к ним с Апеннинского полуострова. При этом оно и в Италии осталось не менее национальным, только зовут его там музыкальнее и нежнее: «полента». («Малига» — у венецианцев значит «кукурузная крупа»; отсюда и румынская «мамалыга».) Итальянцы известны и другими вещами — спагетти, вермичелли, лазаньей. Пармезаном... Натертый, он ставится на стол, как у других соль или что-нибудь подобное. И официант у итальянского шведского стола, видя, как иноземец неуверенно лезет в коробку с пармезаном ложкой, произносит: «Витамино итальяно!» Сыпать его можно и в суп, и во второе, хотя насчет мороженого не уверен. Только один раз мне это не было позволено. Подавали спагетти с разными дарами моря, кажется, даже небольшие осьминожки там присутствовали. И помидорный соус с базиликом источал ароматы. Это было так хорошо, что я зажмурился, пытаюсь представить себе — чего же там не хватает? Да я же не сыпанул пармезану! И уверенной рукою я направил ложку к коробке с тертым пармезаном. Но официант остановил меня суровым, но по-отечески заботливым взором.

— Пармиджиано? А тутти фрутти дель маре?! Криминале, синьор! Пармезан? В плоды моря? Синьор, это преступно!

Я смущенно пробормотал по-русски «пardon» и ретировался. Спагетти оказались выше всяких слов и без пармезана. (Но, думаю, поскольку я не итальянец, я бы и с пармезаном съел и добавки попросил.)

Поленту же подают с грибами, опять-таки с пармезаном (и еще пятью сырами), с овощами, с чертом, дьяволом, но вкусно. Ой, как вкусно! И в любом супермаркете найдется полка с разными видами полент быстрого приготовления. Стоят они недорого, стоит их купить, чтобы дома ощутить вкус Италии, известный не всем. Так сказать, Италия мамалыжной.

О чем ни вспомнишь, то и пир духа (от аромата), и пир просто.

Кофе в любом месте в любое время суток. Ветчина с дыней, к примеру. Хлеб, загадочным образом лишенный



мякоти: две хрустящие корочки. Но какие корочки! Я б такой черной (от углей) корочкой мог всю жизнь питаться. Только каждый день с новым сыром. В Италии это возможно.

Описать итальянскую кухню невозможно, что следует понимать буквально. Я и стараться не буду. Скажу только, что Италия оказалась единственной страной, где мне и в голову не пришло искать китайский или турецкий ресторан.

Даже о борще — каюсь! — не вспоминал...

2. Три португальских яства

Есть минимум три яства, рассматриваемые как национальные и действительно любимые народом. Это — жаренная с внутренностями сардина, трюха — отваренная и обжаренная, и лжеветчина. Именно «лже». Ниже я объясню почему.

Самое главное в том, что все они появились не от хорошей жизни.

Сардину и другую рыбу здешние рыбаки ловили всегда в изобилии. Но лучшая рыба стоила дорого, и рыбакам была не по карману, как и крупная сардина. Себе оставляли мелкую. Но если ее потрошить, то от рыбешки вообще ничего не оставалось. Голь на выдумки хитра. И к голи португальской это относится в высшей степени. Жарить стали непотрошеную сардину и достигли в ее термической обработке такого совершенства, что она перекочевала на столы сеньоров, а потом превратилась в национальное блюдо.

С трюхой картина оказалась похожей. Только дело здесь не в одной сравнительной цене трюхи и мяса. Считается, что французы при Наполеоне, захватив Португалию, потребовали для снабжения своей армии все мясо с лиссабонских боен. Но трюхой они брезговали. Португальцам же не оставалось ничего другого, как исхитриться и научиться эту трюху готовить так, что пальчики оближешь. (Далее см. историю с сардиной.)

А вот лжеветчина имеет корни, я бы сказал, религиозные. Как известно, ветчину вообще делают из свинины. Свины-

ну же не едят евреи. И эта история — не «в огороде бузина, а в Лиссабоне — дядька».

В XV—XVI веках в Португалии жило множество евреев. В общем-то совсем португальцев в смысле языка, фамилий и даже внешности, но упорно отказывавшихся креститься. Перед ними был поставлен вопрос: или креститься, или покинуть страну. Значительная часть осталась и крещение приняла. Но многие для вида. В костел сходить не трудно и перекреститься на людях — тоже, а подпольно исповедовали веру предков. И само собой, избегали нечистого — свиного — мяса.

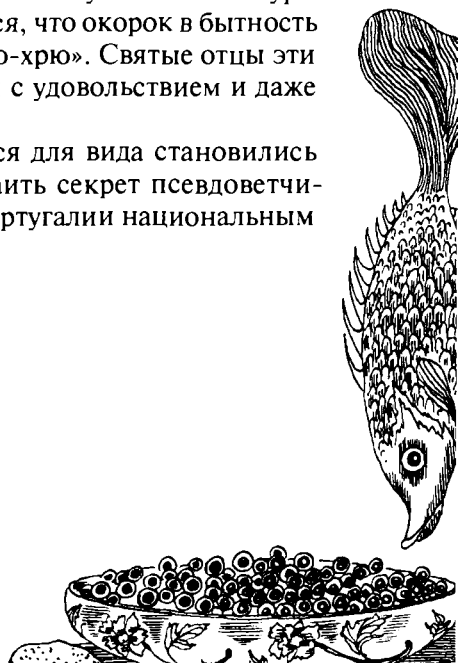
Но евреи не учли хитрости св. инквизиции. Ее агенты ходили по домам и выспрашивали соседей: «А что сеньор Дакошта, как он? Свинину ест или баранину предпочитает?» И любитель баранины мог угодить на дружескую беседу к отцу-дознавателю. Да и вообще у доброго португальского христианина обычно во дворе вялятся окорока. Так что достаточно было заглянуть во двор к подозреваемому.

А инквизиция не учла коварства евреев. У них во дворах всегда висели окорока, и они даже публично отрезали от них куски и с аппетитом ели. И угощали забредшего прохожего.

Все дело было в том, что окорока эти вовсе не были свиными. Евреи наострились их делать из гусятины или курятины так, что в упор не догадаешься, что окорок в бытность животным совсем не говорил «хрю-хрю». Святые отцы эти лжеокорока лжеветчины тоже ели с удовольствием и даже их полюбили.

С течением веков крестившиеся для вида становились христианами просто и причин таить секрет псевдоветчины не имели. Так и стала она в Португалии национальным блюдом.

Очень вкусным.



Глава 4 Краткие заметки о полевых исследованиях



Автор пытается предупредить читателя об опасности комплиментов, о необходимости иной раз и придержать при себе свои совершенно естественные реакции; рассуждает о пользе целомудрия, рассказывая, как сам за него боролся.

Некрасивых женщин не бывает. Как не бывает некрасивых цветов. Просто цветы делятся на садовые и полевые. Садовые выращиваются со всем искусством садовника и пестуются согласно его вкусу. Полевые растут такими, как они есть, и встреча с ними — не планируется. Зато случайность может принести неожиданную и редкую радость. Такая бывает не каждый день. Да что я! Не каждый год. Но сколько скромных полевых цветков должно пройти перед вашим взором, чтобы вы заметили нечто необычайное!

Прошу считать «полевые цветы» не более чем скромным поэтическим образом. Автор имеет в виду ограниченный женский контингент стран, который он изучал чисто эмпирическим путем. А также те различия, которые имеют место быть между создавшимся расхожим стереотипом и реальностью, данной автору в его личных ощущениях. Некоторый опыт привел меня к мысли, что самые роскошные женщины живут на Гавайских островах.

На Гавайских островах я не был.

Сохраненная целомудренность

За границу я впервые выехал в столь доисторическую эпоху, что многие связанные с выездом реалии, наверное, нуждаются теперь в дополнительном разъяснении для современного читателя. К примеру, «выездная комиссия», определявшая, достоин ли субъект такого высокого доверия, как пребывание за рубежом вообще и по категории Б-1, в частности. Не настаиваю на том, что вышеупомянутая категория существовала в каких-то документах, но в жаргоне аппаратчиков (опять непонятное слово!) она существовала и обозначала «поездку в братскую страну социализма в одиночку». После утверждения, но до получения паспорта и билета следовало пройти инструктаж в ЦК КПСС (это, надеюсь, понятно?), прочитать «Инструкцию по пребыванию» и расписаться в верности ей. Мудрая брошюра охватывала все случаи кратковременной жизни вдали от Родины, и даваемые ею рекомендации, как правило, начинались с отрицательной частицы «не». Следовало избегать «неконтролируемых знакомств и приглашений». Инструктор в беседе разъяснил мне, что это значит. Половые контакты и даже самый невинный флирт исключались. Каждая дама (девица) подозрительно легкого поведения скорее всего могла оказаться (оказывалась) агентом империалистических спецслужб, задача которой состояла в склонении морально неустойчивого командированного к незаконному переселению на Запад путем бегства.

В этот бред мало кто уже тогда верил. Тем более едучи в братскую страну, где работа империалистических спецслужб должна пресекаться спецслужбой братской. Оттуда своим-то не так уж легко удавалось незаконно переселиться путем бегства, чего ж о наших-то говорить!

Зато и автор этих строк, и большая часть его сограждан свято верили в бдительность спецслужб наших, ведающих о каждом шаге, сделанном за границей. А уж когда человек за рубежом, да в первый раз, да еще и Б-1! Уж за ним-то следить будут в шестнадцать глаз, хотя бы для того, чтобы проверить надежность оказанного доверия и т. д. (Как я сей-



час понимаю, в этом была не только моя чистая вера, но и чистая мания величия, но не об этом сейчас речь.) Все это я рассказываю для того, чтобы понятным стало мое поведение, имеющее непосредственное отношение к поднятой нами теме.

Работавшая со мной переводчица оказалась барышней невнятной внешности с русыми волосами. То есть прямой противоположностью образу венгерки, созданному в нашем сознании незабвенной Сильвой (фамилия которой, кстати, Вареску — совсем-совсем не венгерская). «Частица черта в нас» и все такое прочее. Да и большая часть дам (не все, но по преимуществу) окрас имели светлый, манеры сдержанные и прекрасно варили кофе. Встреченные экспансивные брюнетки в основном торговали цветами и печеными каштанами, что в специфических условиях Венгрии свидетельствовало об их цыганском происхождении. Зато их было много. Они могли послать пылкий воздушный поцелуй прохожему и обсчитать при сдаче. Такой же воздушный поцелуй могли послать одинокие дамы в многочисленных кафе, где, как я отметил, сидело множество одиноких дам. Но пока я ходил с переводчицей Анни, поцелуи мне не посылали. Так, разве что томный мимолетный взгляд.

На мое счастье, Анни владела русским языком довольно плохо, оттого стеснялась, и работать ей было тяжело. Я же, коварно этим воспользовавшись, уговорил ее отпустить меня гулять (в самом буквальном — почти детском — смысле) одного. Только я поклялся, что никому об этом не скажу и она сможет отчитаться в ежедневном 14-часовом труде.

И вот тут в первом же кафе, посещенном самостоятельно, ко мне подошел официант и спросил, не имею ли я чего против, если за мой столик подсядут. Я ничего против не имел. У нас во всем общепите подсаживались, не затрудняя этим официанта и не затрудняя себя вопросом — согласен ли я; подсаживались, впрочем, люди обоих полов, и даже мужчины чаще, ели, пили и уходили, не сказав ни «здравствуй», ни «до свидания». Ко мне пересела со столика в дальнем

углу приятная дама, похожая на продавщицу из галантерейного магазина. Мешал языковой барьер. Все же мы смогли объясниться. «Вы откуда? Как вам нравится Венгрия?» и все такое необязательное прочее. Я даже не помню, как она среагировала на то, что я из Советского Союза, кажется, даже что-то сказала по-русски. «А вы здесь один?» Выяснилось, что она здесь бывает каждый день... «Спросите Пишту, — показала она на официанта, — он всегда знает, где я».

Тут мы расстались, знаками и словами показав, что приятно было бы пройтись по Будапешту и посмотреть то, чего туристы не видят, но может показать местная бескорыстная и заботливая к одинокому чужеземцу женщина.

Надо сказать, что в те времена я уже не был наивным мальчиком и прекрасно понял, кто моя собеседница и чего ей (и Пиште) от меня надо. Более того: я понял и то, чего никогда не понял бы нормальный человек, не проходящий по категории Б-1. А я именно по ней сюда прибыл! Передо мной если не майор Пронин (кто помнит бессмертный образ!), то уж точно — его агентша. И строчатся уже реляции, рапорты, донесения, и ложатся в папку с грифом «НВ». Что значит: «Не выездной».

Вежливо поблагодарив, я сослался на занятость и отказался, показывая всем видом фальшивое сожаление. Больше я в это кафе не заходил.

Но и майор был начеку: он окружил меня плотной сетью агентов. Стоило мне показаться в другом кафе, как все повторилось до мелочей. Кажется, даже официанта звали Пиштой. (Что-то вроде старшего сержанта, понял я.) И в третьем. И т. д.

Перед самым отъездом я решился на скромное хулиганство. Я договорился о randevu: завтра, в двенадцать. В семь утра я улетаю. Я буквально видел, как рапорт «Пишты» и его помощницы ложится на стол к Пронину, как закусывает он губу: «Не выдержал — видать, просмотрели. — И как тут же улыбается в седые усы: — Да ведь он в это время уже в Москве будет! Молодец! Настоящий советский человек!»



Скромное обаяние англичанок

Дальнейшие мои путешествия подтвердили, что испытания я выдержал. Впрочем, довольно скоро после моего первого вояжа весь этот бред стал ослабевать, и только наиболее стойкие все еще верили, что на наблюдение за их скромными (а то и никакими) персонами брошены мощные силы.

Может быть, не все согласятся со мной, но для меня классическая страна повседневной женской красоты — это Англия. Прохладный и влажный климат, воспитанная с детства привычка не кутаться и ходить без шапки сделали медового цвета волосы англичанок очень густыми, щеки — розовыми, фигуру — стройной. Я говорю о молодых. Но и пожилые дамы, подтянутые и ухоженные, тоже привлекательны. По-своему. Но лучше молодых англичанок в грубой вязки свитерах, твидовых юбках ниже колен, толстых чулках и туфлях на низком каблуке я не видывал никогда и вряд ли когда увижу. Так сказать, в категории блеклой северной красоты. Ничего яркого, и губы, кажется, не покрашены, но как же эти девицы и дамы естественно изящны! Они очень доброжелательны: ни одна не пройдет мимо, если увидит, что человек нуждается в помощи, и тут же ее окажет.

Но при этом — вот ведь странное дело! — желания поухаживать не возникало. Пытаясь в этом разобраться, я вспомнил, что во время беседы, например, когда вас о чем-то спросят, а вы по восточноевропейской привычке начинаете обстоятельно отвечать, через очень короткое время выясняется, что интерес собеседницы заметно истощился. Нет, Боже упаси, вас никто не попросит прекратить болтовню, и лицо будет все тем же доброжелательным, но вам предложат еще что-нибудь попробовать, спросят, как вам нравится и... Разговор уже переведен на другую тему.

Но это все были, так сказать, наружные наблюдения. Мне повезло, что я смог не раз и не два подолгу пожить в английской семье и внимательнее присмотреться. Жил я в доме одной славистки-русистки (что уже экзотич-

но для Великобритании), дамы очень доброжелательной и занятой. Как бы рано я ни встал, она уже была на ногах и хлопотала, обслуживая весьма многочисленное семейство. Я видел ее отдыхающей, только если шел к себе в комнату очень поздно: она позволяла себе присесть с сигаретой и газетой «Файнэншл таймс». Дом сверкал и был очень уютен, дети — ухожены, и у мужа оставалось время на разные хобби.

Как-то в пятницу она привезла сына из школы. День был октябрьский, что не мешало молодому человеку обходиться без шапки, перчаток и длинных брюк. Он почти безостановочно кашлял. Но на мой вопрос, как дела, отвечал: «Очень хорошо, сэр!» Мама спокойно готовила, повернувшись к дитяти спиной.

— Слушай, — спросил я по-русски, — чего он так кашляет?

Мама повернулась и кинула взгляд на сына.

— Наверное, простужен, — отвечала она с сильным английским акцентом.

И продолжила готовку.

Опасные розы

Выше я попытался ввести почти научный термин «категория блеклой северной красоты». Продолжив ученые изыскания, я употреблю антитезу: «яркая южная красота». Он понадобится мне для описания своих наблюдений и переживаний в стране, связанной с Англией исторически и не похожей на нее ни в чем (кроме правостороннего движения, военного топая ногам и разновидности английского языка).

Все мы, конечно, понимаем, что в кино — одна жизнь, а в жизни — другая. Что звезды индийского кино чем-то похожи на остальных индийских женщин, но больше — нет. И все-таки, отправляясь в далекую Индию, в которой чудес не счесть, ждешь, что узришь воочию то, что годами видел на экране. Понятно, что, отвечая на вопрос, нормальная индийская женщина не заведет тут же песню минут



на сорок в сопровождении оркестра, но... Если среди многих сотен миллионов населения миллионов десять выглядят так, как нам бы того хотелось, значит, страна просто кишит красавицами.

Поверьте мне: все было не как в кино. Все было куда лучше. Может быть, потому, что самая первая моя встреча с индийскими дамами состоялась в женском колледже, где, судя по всему, учились дочери довольно зажиточных людей. Я очутился в окружении светлокожих красавиц в шелковых сари, для Индии не слишком увешанных украшениями — в меру они присутствовали и в ушах, и в носсах, и на руках. Они щебетали на приличном английском, со смехом отвечали на вопросы об индийских расхожих выражениях, пели хором и соло и подносили чай и орешки кешью. И были такими раскованными, что пропала мысль о восточных строгостях и ограничениях и хотелось взять их за ручки и... Тут появилась миссис директриса, и наступил порядок. Мы остались в зале, барышни проследовали на сцену и стали исполнять народные песни и танцы. Мужские роли играли девушки с нарисованными женой пробкой усами. Старик-отцу борода была подвязана и приятно контрастировала с нежными, чуть смуглыми девичьими щеками.

Я сидел рядом с преподавателем географии — пожилым мужчиной в европейском костюме.

— Когда я учился в школе, — сказал ему я, — мы тоже учились отдельно от девочек.

— Это очень правильно, сэр, — отвечал он, — ничто не должно отвлекать от учебы.

Я кивнул и коварно добавил:

— Но когда мы ставили пьесу, всегда приглашали девочек из женской школы.

Он посмотрел на меня с изумлением:

— И их родители *это* позволяли? — И он сокрушенно покачал головой при мысли о европейских нравах.

Но говорить об индийских женщинах так же нелепо, как о расовом типе советского человека. Индия разнообразна. Цвет кожи, встречаемый здесь, а иной раз в одной и той же толпе, — от почти совсем белого (как у загорелого таджика) до чуть ли не угольно-черного. Перемешались

мужчины в европейских костюмах, в индийских обширных дхоти, почти голые (а то и просто голые). Наряды женщин однообразнее: сари, кусок ткани, столь искусно драпирует тело, что любая женщина, умеющая его носить, выглядит изящной. Конечно, индийцы сразу отличают сари разных народностей и штатов, а мы сразу отличаем шелковое сари от выцветшего ситцевого.

Наверное, ничего нет прекраснее, чем драгоценности на коричневой, теплой на вид, просто бархатной коже тамильской женщины с индийского юга. Правда, драгоценности должны быть подлинными, а кожа — холеной. Таких в Индии тоже не так мало. Смотришь, и охватывает тебя непреодолимое желание прикоснуться к этой красоте. Желание следует преодолеть: к чужим женщинам в Индии прикасаться не положено.

А к кому можно — на работе не носят сари и подлинные драгоценности. Несколько раз я видел в холле гостиницы симпатичных девушек в облегающих комбинезонах, иной раз блестящих, как детский космонавтский. Держались они свободно, улыбались всем, а обслуживающий персонал их как бы и не видел. По счастью, со мной был очень опытный в индийских делах человек. И он мне объяснил, что это, так сказать, девушки доступных достоинств.

— А тысяча рупий у вас есть? — вдруг спросил он.

Тысячи рупий у меня не было. Я, однако, знал, что зарплата гостиничного боя, человека лет 26, составляла в день 5 рупий. Я сравнил.

— Неужто такие дорогие?

— Да нет, — отвечал опытный в индийских делах человек. — Ее услуги — десять рупий. Девятьсот девяносто придется заплатить доктору.

Умей держать язык за зубами

Мода — вещь великая. С прекрасной электроникой из одной великой дальневосточной страны пришла мода на суси (именуемое у нас на английско-нижегородский лад «суши»), борьбу сумо, красоту тамошних женщин.



(Страну не называю, чтобы никого незаслуженно не обидеть: заметки мои носят чисто субъективный характер.) Так вот: дамы эти прекрасны, когда разодеты в национальные шелковые наряды, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки. (Наряд не называю по тем же причинам.) Стоит же даме облачиться в европейское платье, как заметными становятся и коротковатые ноги, и коренастое тело.

А меж тем существуют в Восточной Азии очаровательные миниатюрные существа, сложенные столь пропорционально и изящно, что им любой наряд к лицу. И к другим частям тела. Но всем иноземным модам они предпочитают свой вьетнамский костюм «ао-зай» — облегающий халат с разрезами до бедер и просторные шелковые брюки. Дополните это конической тростниковой шляпой, в донце которой вставлено маленькое зеркальце, чтобы, скромно шляпой прикрывшись, внимательно рассмотреть интересного молодого человека. Добавьте щебечущую речь и нежный — но очень частый! — смех, и вы получите портрет вьетнамки. Хотя вьетнамская пословица и гласит: «Нам — ту, ны — ны», что значит — «Мужчине борода, женщине же грудь (приличествует)», ничего лишнего в фигуре вьетнамки нет (как и излишней пресловутой бороды на лице вьетнамца). Все на месте. Восхитились? Держите это про себя. Знаю по собственному опыту.

Мы сидели на берегу Ароматной реки в древнем городе Гуэ с компанией вьетнамцев, окончивших институты в Москве. Свои, короче говоря, люди были. Даже водки маленько выпили. С Ароматной реки тянуло прелью. Мы ждали коронное блюдо местного ресторанчика — черепаху. По-вьетнамски — «ба-ба». Это схожее с нашим слово и повернуло разговор на, скажем, женский вопрос. Он бы и так повернулся туда, как это пристало в мужской компании, но созвучность придала ему окраску несколько более легкомысленную без всяких предисловий. И один вьетнамский партийный товарищ поинтересовался моим мнением о вьетнамских женщинах. А я несколько размяк от сытной еды в тропическом тепле и высказался очень откровенно, хотя исключительно похвально и искренне. Вообще, сказал я, что может быть лучше вьетнамской жены?

Тут товарищ посуровел и необычайно серьезно, хотя и без хамства начал мне объяснять, что это невозможно, совсем невозможно, даже с китайцами такой брак выходит боком. По счастью, подали ба-ба, и другой вьетнамец (старый друг по Московскому университету) умело перевел разговор на другую тему. Я с энтузиазмом включился в него, потому что до меня дошло, что сказанул что-то не то.

Потом мне уже объяснил старый друг, что земляки его — как бы это сказать? — не то чтобы расисты, но посягательств на своих женщин со стороны чужаков не выносят. Хочешь похвалить женщин Вьетнама, хвали их трудолюбие, героизм и материнские качества. Или похвали их лакированную черную улыбку...

Еще в 1960-х годах это не было редкостью, как рассказывают знающие Вьетнам люди, трудившиеся там в то время.

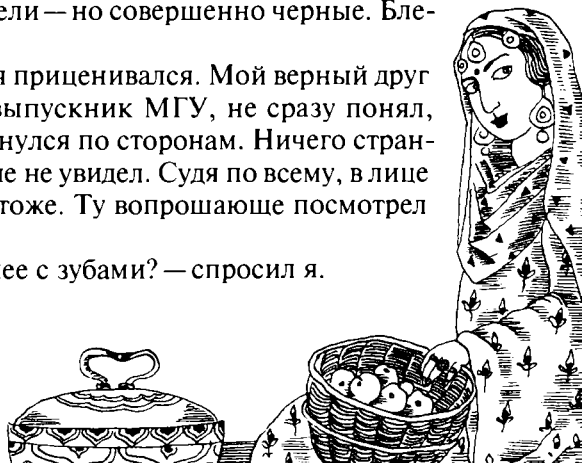
Я попал во Вьетнам много позже, но тоже все-таки давно — в конце 1970-х. Вьетнамцы улыбались по каждому поводу. И без повода — на всякий случай. И смуглые их лица оттеняли белизну зубов. Надо сказать, что в этой южной стране очень заботятся о зубах, и многие предпочитают их чистить размочаленной веточкой смолистого дерева. Очень тщательно. Причем почему-то и чистят веточкой, и полощут, сидя на корточках: это, очевидно, придает операции некоторую основательность и как бы подчеркивает важность производимой гигиенической процедуры.

Я так привык к белозубости вьетнамцев, что не сразу понял: что такое странное в лице пожилой торговки с грандиозного ханойского базара Донг-Суан.

Улыбка была как улыбка, но совершенно черная. Это не была неопрятная чернота истерзанных кариесом зубов. Зубы были ровные, блестящие — но совершенно черные. Блестящие черные зубы.

Не помню уже, к чему я приценивался. Мой верный друг и спутник Ле Суан Ту, выпускник МГУ, не сразу понял, с чего это я умолк, и оглянулся по сторонам. Ничего странного он ни в одной стороне не увидел. Судя по всему, в лице пожилой продавщицы — тоже. Ту вопрошающе посмотрел на меня.

— Слушай, а что это у нее с зубами? — спросил я.



— А что такое? — недоумевающе отвечал Ту, с вежливой улыбкой посмотрев на торговку. — А, ты же этого никогда не видел! Это раньше так принято было: покрывать зубы черным лаком. Но это феодальный обычай, никто из молодых и даже старых в городе этого уже не делает. Только такие старушки в провинции.

Тут надо сказать, что словом «феодальный» работавшие с нами вьетнамцы обозначали все отжившее, старое, реакционное или по крайней мере непонятное передовым советским товарищам. На всякий случай. Иной раз — и совсем неплохие традиционные вещи.

Он что-то спросил у женщины, покачал головой, показывая, что товар нам не подходит: все для того, чтобы, не дай Будда, она не поняла, что мы ее обсуждаем. А потом я пришел к нему: что за лак, да почему, да отчего черный.

Потом я встречал чернозубых дам несколько раз — привычка и теперь сохранилась, по крайней мере в глубинке. И тому есть целый ряд причин.

Как известно, все вьетнамцы (китайцы, корейцы, японцы и прочие народы монголоидной расы) — черноволосы и черноглазы. В их представлении — это нормальный окрас человека. А животные бывают разных цветов шерсти и глаз. Поэтому, да не удивятся наши читатели, нордический, скажем так, облик европейцев — кто блондин, кто шатен, а кто и вообще рыжий — и глаза их, тоже разного цвета, вызывают у азиатов не столько восторг, сколь ужас. Человек же не кошка, чтобы быть разноцветным! Тот же Ту рассказывал мне, что, когда в детстве его хотел угостить конфеткой французский солдат, он посмотрел ему в лицо и чуть не потерял сознание от страха: солдат был белобрыс и голубоглаз! Да еще и долговяз. Кроме того, смущенно добавил Ту, слегка стыдясь своего младенческого малодушия, он был колонизатором.

В старину считали еще, что человек должен отличаться от животного и цветом зубов: животное ведь за своими зубами не следит, но они у него белые. Человек же за зубами следит тщательно. И покрывает их черным лаком.

Кроме того, целебные свойства лака не дают зубам портиться. Если же они все-таки слегка портятся, под слоем лака

этого не видно. У лака действительно есть целебные свойства. Во Вьетнаме очень много деревьев, которых ботаники именуют *лаконосами*, а между собой, по-научному, *Rhus Verniciflua*. Вьетнамцы называют их не столь длинно, зато разнообразнее. В провинции Тай-Нгуен, например, дерево, сок которого идет на производство лака, называют *твы*.

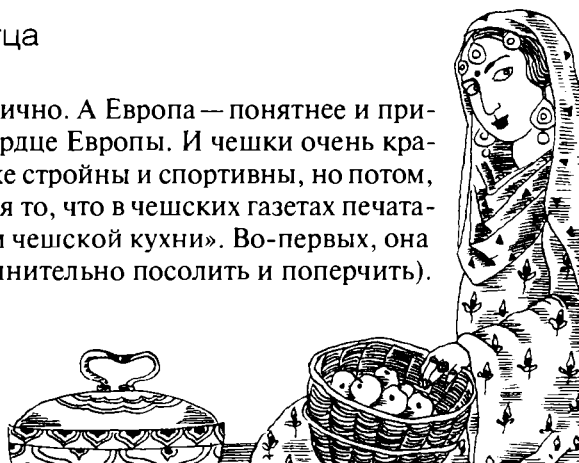
Под влиянием европейцев, переняв в городах европейскую одежду, многие вьетнамцы стали отказываться — еще при французах — от обычая покрывать зубы лаком. И не только от того, что черные зубы не гармонировали с пиджаком и галстуком, а от того еще, что стала выходить из моды древняя привычка жевать бетель. От жевания слюна становится красной, а зубы совсем уже напоминают клыки чудовища из джунглей, только что растерзанного невинную, но сочную жертву. Покрытые же черным лаком зубы никак не выдают пристрастия к бетелю. Дело еще в том, что, жуя бетель, человек часто и обильно плюется. Кто — феодалы и компрадорская буржуазия — в специальные вазы-плевательницы, а кто — прежде всего трудовой народ — прямо на землю. И — тут влияния европейцев отрицать нельзя — с конца XIX века привычки жевать и плевать стали стесняться.

Ну и наконец: черный лак для зубов штука не очень дешевая, и покрывать им зубы по несколько раз в год могли позволить себе люди зажиточные (по крайней мере — качественным). Поэтому после революции и этот обычай стал казаться феодальным.

Только в глубинке вот и встретишь пожилую женщину, широко улыбающуюся улыбкой черного лака

Не пей из копытца

Азия — хорошо и экзотично. А Европа — понятнее и привычнее. А Чехия — сердце Европы. И чешки очень красивы. Лет до тридцати даже стройны и спортивны, но потом, увы, начинает сказываться то, что в чешских газетах печатают в рубрике «Недостатки чешской кухни». Во-первых, она вкусна (если блюда дополнительно посолить и поперчить).



Во-вторых, тяжеловата. Но пришедшим с работы чешским мужьям жены подают все так красиво, а вокруг все блестит и стоит пиво высокого качества, что только остается есть и просить добавку. Удивительно приятно! И обувь оставлена на лестничной площадке, и никто ее не украдет. А за порогом удобные и мягкие тапки. И называют муж с женой друг друга «папа» и «мама» (чаще — когда появляются дети) или «козлатко», что, как понятно, значит «козлик». Полная гарантия уюта ждет вас в чешской семье. Но чешский супруг должен быть мастером на все руки и не звать попусту мастера.

В один из приездов в Прагу приятель рекомендовал знакомую своей жены: она готова была сдать комнату по недорогой цене. Звали ее Марженка Ризельшнауцерава (или Миттельшнауцерава, я уже забыл). Опушу никому не нужные подробности, только скажу, что как-то мы перешли на «ты», стали ходить на чашечку кофе в кафе за углом. Я ей делал какие-то подарки. Но рассматривал все как такое знакомство во время отпуска/командировки — ненужное зачеркнуть.

Как вдруг, возвращаясь вечером и снимая у двери ботинки, услышал: «Козлатко, твои тапочки на полочке!» и не сразу сообразил, что это «козлатко» — я. Я чуть не брякнул: «Спасибо, мамочка!», но вовремя прикусил язык. Мы чудесно поужинали и пошли погулять. А потом я задержался и позвонил по автомату земляку. Тот отозвался на следующий день, когда меня дома не было, и с сильным русским акцентом просил передать, что меня срочно вызывают в Москву. И мы простились самым теплым образом. (Подчеркиваю: никаких репримандов с моей стороны не было, так что и неприличия в моем отъезде не было тоже. Скорее трусость. Сказку я вспомнил: «Не пей, братец Иванушка, из козлиного следа!») Она меня тоже правильно поняла. И на следующий год мы по-дружески встретились. Она познакомила меня с будущим мужем. Он был подполковником из МВД. Я их благословил. Надеюсь, что он дослужился до полковника и, несмотря на изменившиеся условия, получает приличную пенсию. Семейная его жизнь — очень надежный тыл.

Я прекращаю исследования

Сколько веревочке ни виться, а... Дело ясное. Свои полевые исследования я прекратил раз и навсегда в тропической стране Малайзии. Мы ездили по ней вдвоем с коллегой и другом, который, однако же, был на двадцать пять лет моложе меня. Иной раз эта разница мешала делиться всеми наблюдениями по избранной теме. А тема была, ох была! Европеизированные и раскованные китайки со звучными именами вроде Кристина Тео или Ливия Цю. Индианки, не столь современные, как китайки. Малайки в строгом мусульманском наряде с платком и длинными брюками под юбкой. Кстати, их наряд и, я бы сказал, кишлячная скованность нас удивляли: ведь тут же полно было их единоверок и почти соплеменниц из соседней Индонезии, одетых скромно, но с тропической роскошью. Короткая кофточка, широкая юбка, никаких платков, но в смоляных волосах яркий цветок, а через плечо переброшен легкий шарф. Была тема, что и говорить...

Работали мы в городе поодиночке, а вечером собирались в номере, чтобы обсудить прошедший день и составить план на завтра. И вот во время беседы мой коллега пожаловался, что ему не дают прохода девицы платных достоинств, гуляющие по всей улице на пути в гостиницу. Его, образцового семьянина, это раздражало. Я тоже видел девушек у входа, но по скромности, с которой они передо мной расступались, полагал, что это старшеклассницы, пришедшие на дискотеку. Узнав правду, я взволновался.

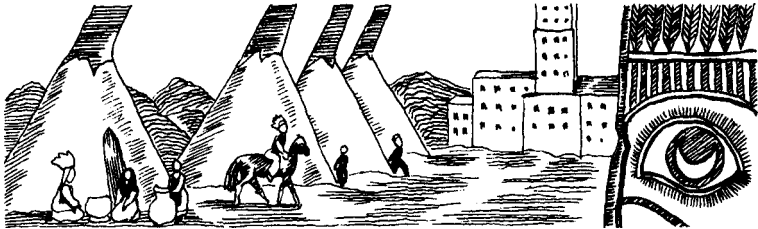
— Почему, — спросил я обиженно, — тебя замечают, а меня нет?

Коллега посмотрел на меня удивленно:

— Вас не замечают? Да еще как! Иду, а они кричат: «А ваш папа уехал с шофером-индусом! Мистер, не хотите сексуального развлечения?»

Я понял, что время мое кончилось. Остается писать мемуары.





В этой главе автор переходит от теоретических, так сказать, рассуждений к описанию конкретных путешествий и рассказывает о пророке Смите, о четырех мирах народа хопи и о язычниках, до которых от Москвы езды меньше суток.

Пионеры штата Юта

«Горные штаты» — Монтана на севере, Аризона и Нью-Мексико на юге — сильно к западу от Восточного побережья, чуть-чуть к востоку от Западного — точно укладываются в понятие «американская глубинка». Малонаселенные, с одноэтажными городами, с белым в основном населением. Здесь не запирают дома, здороваются на улицах, много и добросовестно трудятся. Штат Юта — один из таких типичных «горных штатов». Отличается он от соседей — Вайоминга, Колорадо — религией большинства своего населения. В Юте живут мормоны.

Впервые о мормонах я прочитал в детстве в «Записках о Шерлоке Холмсе». Герой рассказа «Этюд в багровых тонах» мстит мормонам, сгубившим его невесту в своих гаремах. Сюжет рассказа я почти забыл, зато странное слово «мормон» прочно засело в памяти, окрашенное в самые мрачные тона: многоженцы, пьяницы, заговорщики. И конечно, угнездились это не только в моей памяти. Сразу скажу, что Конан Дойл оклеветал мормонов самым беспардон-

ным образом; слишком уж странными они казались ему из британского далека. В штате Юта — «Стране Святых» (см. А. Конана Дойла) — он никогда не бывал.

Спустя много лет я встретил первого мормона. Профессор-географ, он стажировался в Москве несколько лет. Это был очень доброжелательный и знающий человек, но когда мне сообщили о его вероисповедании, я немедленно спросил: «А сколько у него жен? Он тут со всеми?» Я был неоригинален до неприличия; то же спрашивали все, кто об этом узнавал. Что-что, а «Шерлока Холмса» у нас читали! Кстати, больше на эту тему читать было почти нечего, не считая идиотской редакционной сноски в том же «Холмсе», гармонично дополнявшей невежество сэра Артура: «Мормонская вера — смесь христианства, ислама и буддизма», да коротких заметок в справочниках.

Чем больше, однако, мы узнавали профессора Деона Грира, тем стыднее становилось за первую (стандартную и банальную) реакцию. Отличался он от известных нам людей лишь тем, что не пил ни кофе, ни чая и, конечно, не курил и не потреблял спиртного.

Старинный мой университетский друг физик и математик Виктор Привальский последние несколько лет работает в Юте. Во время его очередного отпуска в Москве мы обсуждали план моего возможного приезда в США. Доктор Привальский установил прекрасные связи с индейцами хопи в северной Аризоне и готов был свозить меня туда. А жизнь штата Юта, куда не ступала нога нашего корреспондента? Вся его история и нынешняя жизнь тесно переплетены с Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней — таково полное название мормонской церкви. Так что встреча с мормонами была предопределена. Более того: согласована с ними по всем правилам.

Вязкая земля долины

Ясным утром я сошел с самолета в Солт-Лейк-Сити — столице штата Юта. Гостиничный микроавтобус забрал меня через полчаса, и по безлюдным улицам пригородного



типа я поехал в гостиницу. Все время казалось: вот сейчас въедем в центр, но этого так и не произошло — появилась светлая громада храма, несколько огромных стеклянных зданий, а потом опять вполне окраинная улица, где мы остановились. И все время, пока ехали, взгляд упирался в горные цепи, словно присыпанные сахарной пудрой. То были Скалистые горы, и где бы я ни был в Юте, Скалистые горы замыкали горизонт. Даже когда пересекаешь их: за хребтом высится следующий. Горы — сквозь сахарную пудру — коричневые и коричнево-серые — замыкают со всех сторон Долину Соленого Озера. Небо было прохладно-голубым.

Программа начиналась с завтрашнего утра. С минуты на минуту должны были приехать друзья: супруги Грир и Привальские и с места в карьер начать знакомить меня с городом и его достопримечательностями. Здесь, в этом штате, история началась 150 лет назад, в 1847 году.

Мы съехали с шоссе на более узкую, но не менее обустроенную дорогу и, несколько поднявшись в гору, остановились у монумента. На высокой квадратной колонне стояли бронзовые люди в сапогах и широкополых шляпах. Более низкие постаменты венчали всадники, барельефы изображали огромные фургоны, влекомые волами, мужчину с женщиной, тянущих двухколесные тележки, нагруженные скарбом. Тележку подталкивал мальчик. Были изображены не символы, а реальные люди. Жилы напряглись на лбу мужчины, обширная шаль облегает плечи женщины, и видно, что шаль пропотела; грубые башмаки и толстые чулки подростка задубели от пота и грязи.

— Места эти, — профессор Грир начал лекцию, которую я ждал, — были безлюдными, но переселенцы, шедшие на сулящий надежды запад, проходили через Долину. Немногим это удавалось. В 1846 году здесь застряла группа Доннера: снег завалил перевалы, оползни их закупорили. И не было никаких средств к пропитанию. Пришлось есть друг друга. Буквально. Остатки группы вывел весной охотник-траппер, торговавший в этих местах с индейцами. Трапперам-одиночкам добраться сюда было легче, чем переселенцам с семьями и скарбом. Индейцы тут появ-

лялись только для охоты в горах: проклятыми считались места. Поэтому траппер был поражен, когда на следующий год встретил в Долине наших предков-мормонов. Еще больше он удивился, узнав, что они намерены здесь поселиться. А когда узнал, что они посадили пшеницу и кукурузу, совсем развеселился и обещал сто долларов, если что-нибудь взойдет и созреет. Сто долларов по тем временам были большие деньги. За них можно было купить здорового раба.

— А здесь торговали рабами? — спросил я.

— Нет. Мормоны были решительно против рабства, и те, у кого рабы были, придя в Юту, тут же их освободили. Таких было немного; у моих предков, например, были. Для всех, как я говорил, это была проклятая земля. Для мормонов — Земля Обетованная, куда вывел их Бригем Янг, второй пророк, четко выполнявший заветы первого пророка — Джозефа Смита. Все соответствовало здесь библейским описаниям Святой Земли: Соленое Озеро — аналог Мертвого моря (в Библии — Соленого озера), река Юта, впадавшая в него и вытекавшая подобно Иордану из пресного озера (реку нарекли Иорданом), пустынные засушливые земли. Все это предсказал Смит, и все это подтвердилось. Через некоторое время обнаружили залежи меди, точь-в-точь как в Израиле. Только размеры куда больше.

Бригем Янг осмотрел Долину и сказал, что здесь — на том самом месте, где мы стоим, — будет заложен город. Точно по плану, составленному Джозефом Смитом. Янг был справедливым и крутым человеком, руководил всем. Он был, как и другие его единоверцы, многоженцем и отцом пятидесяти одного ребенка. И он же отменил полигамию, чтобы не злить федеральные власти. Отношения с ними налаживались с трудом. Многоженство было введено самим Смитом: ветхозаветные патриархи и цари истоиво его придерживались, а они были главным образцом. Кроме того, мужчины умирали и погибали чаще, и многие женщины оставались одни, без поддержки и супружеской помощи. Увы, этот обычай стал одной из причин напряженности между мормонами и их соседями. И одним из устойчивых стереотипов, связанных с сынами созданной Смитом Церкви.



Но о вере мормонов — в самом кратком виде — мы поговорим ниже. Просто, говоря о Деревне Переселенцев — музее под открытым небом, — никак не обойтись без упоминания о Бригеме Янге.

Широкая коричневая долина, окаймленная горами, собственно говоря, и была Деревней Переселенцев. Дошатый настил заменял тротуар, а вдоль него тут и там чернели избы. Невысокие, бревенчатые, проконопаченные белой глиной (но с хорошими окнами), они едва возвышались над человеком даже среднего роста. За ними стояла церковь, потом общинный дом — уже обшитый досками и заботливо покрашенный. И вполне комфортабельный, как и жилые дома, построенные сразу после того, как люди обжились. Избами их называть уже не стоило.

А к концу улицы деревня стала просто уже цивилизованной, разве что с деревянными мостками. Таким, кстати, и был город Солт-Лейк-Сити лет сто тридцать назад.

И кукуруза, и пшеница все же взошли. Но у траппера вдруг появился шанс сохранить свою сотню: когда колосья стали тяжелыми, внезапно налетела саранча — совершенно как в Ветхом Завете. И когда казалось, что труды пошли прахом, произошло чудо: прилетели тучи чаек и склевали саранчу. С тех пор чайка — символ штата Юта. А второй символ — улей. Ибо пчелиное трудолюбие — одна из главных добродетелей верующих. И отрицать этого не стал даже сэр Артур Конан Дойл (что хоть чуть-чуть оправдывает его в наших глазах вместе с блестящими сюжетами).

Заслушавшись рассказами потомка пионеров (истинного географа!), интересными и подробными, в которых импровизация зиждилась на обильных знаниях, я нечаянно сошел с мостков и ступил на коричневую, казавшуюся сухой землю. В тот же момент мой башмак с хлюпаньем вошел вглубь, и вытащить его еле удалось — пуд грязи налип на него. Земля оказалась вязкой и опасной. Как же шли по этой земле, подталкивая фургоны, волоча тележки, 17 тысяч человек! Они прошли 1300 миль от Миссисипи, двигаясь на запад, в полную неизвестность. Я, сделавший всего один шаг, не могу себе этого представить, но если каждый из миллионов их шагов был таким же, то это был

подвиг. Из десяти отрядов с тележками дошли — с потерями — восемь. Два погибли.

У них не было пути назад. Они уже покинули — по очереди — штаты Нью-Йорк, Огайо, Миссури и Иллинойс.

Мормоны

(самые краткие сведения)

Скажу сразу: все, что я сообщаю, взято мною из источников, изданных самой Церковью. Я был всем этим заботливо снабжен.

Мормоны — христиане, они верят в Вечного Бога Отца, в Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа. Вот — дословно — некоторые основные постулаты:

«Мы верим, что Библия — слово Божье, поскольку она переведена правильно; мы также верим, что Книга Мормона является Словом Божиим».

«Мы верим в подлинное воссоединение Израиля и в восстановление десяти колен; в то, что Сион (Новый Иерусалим) будет основан на Американском континенте; что Христос будет лично царствовать на земле и что земля обновится и получит свою райскую красоту».

...В 1805 году в штате Вермонт родился мальчик по имени Джозеф Смит. Лет через девять его отец переехал в штат Нью-Йорк. Народ в тех местах жил крайне религиозный, протестанты различных сект, очень озабоченные тем, чья секта лучше. Юного Джозефа отвращала от всех их вражда проповедников и верующих между собой. Он посещал разные церковные собрания, но держался в стороне. И решил обратиться прямо к Богу. Лет в четырнадцать с небольшим Джозеф молился в уединенном месте в лесу. Страшная тьма вдруг окутала его. В тот момент, когда он готов был отчаяться, увидел у себя над головой столп света ярче солнца и двух персон, стоявших в воздухе над ним. Один из них назвал Смита по имени и сказал, указывая на другого: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный. Слушай Его!» Они запретили ему вступать в любую секту. (Все это и далее — пересказ собственного рассказа Джозефа Смита.)



Следующее видение было года через четыре. Тогда к его кровати ночью явился из воздуха человек, осветивший комнату ярче солнца. Он сказал, что имя ему Мороний и что у Бога есть поручение для Джозефа Смита. И рассказал о сокрытой книге, написанной на золотых листах и содержащей историю прежних жителей Америки. Мороний являлся еще два раза въяве. И еще раз — голосом с неба. Смит точно нашел место, где хранилась книга и два камня в серебряных оправках — Урим и Туммим; эти камни (из тех, что носили на нагрудном щите первосвященники Иерусалимского Храма) должны были помочь ему в переводе. Но время для извлечения листов из хранилища еще не пришло. Следовало прийти через год, потом — снова через год. И снова. Несколько лет разрешения не поступало — оно пришло лишь в 1827 году, когда Джозефу Смигу было 22 года и он обзавелся семьей. Полученный дар нельзя было никому показывать. Люди, избранные для этого, будут названы. Когда Смит переписал письма на бумагу — оказалось, что это несколько измененные египетские иероглифы. Мороний забрал сокрытую книгу.

В апреле 1829 года в дверь дома Смитов постучал дотоле неизвестный им человек по имени Оливер Каудери. Он слышал историю о золотых листах и хотел узнать все из первых уст.

Через два дня оба сели за работу: Смит переводил, а Каудери записывал. Через шестнадцать дней перевод был закончен. После этого золотые листы были показаны трем свидетелям и еще раз — восьми. О чем они, с характерным для англосаксов уважением к документам, и составили свидетельства с подписями и печатью.

Так появилась «Книга Мормона». И вот самое краткое ее содержание. «Книга» рассказывает об израильтянине Легии, жителе Иерусалима, человеке праведном. Бог повелел ему покинуть в 600 году до Рождества Христова осажденный Иерусалим. Иерусалим вскоре был разрушен. Легий же «со чады и домочадцы» построил корабль, Божьей волею ведомый, пересек океан и высадился где-то на Американском континенте.

От него и сыновей его Нефия и Ламана пошли два могущественных народа: нефииты и ламаниты. Причем нефииты остались богобоязненными, ламаниты же впали в грех и питали к своим родственникам вражду. Нефииты сохранили свою культуру и берегли записи об истории народа Израилева до дней, когда предки их покинули Иерусалим, и истории других народов, и письменность их. Пророки и священники учили их морали и вере. И Спаситель посетил этот народ в Америке сразу же после Воскресения. О чем прямо говорится в «Евангелии от Иоанна»: «Есть у Меня и другие овцы, которые не от сего двора, и тех надлежит Мне привести». Спаситель учил нефиитов тому же, что и народ в Палестине, и основал Церковь.

Пока люди следовали заповедям Христа, они процветали. Но чем более богатели, тем слабее становилась их вера. Пророки предупреждали нефиитов об опасности неверного пути. Среди сих пророков был и Мормон, который хранил хроники своего народа. Он свел их воедино, записал на золотых листах и отдал своему сыну Моронию. Судьбе было угодно, чтобы Мороний пережил гибель соплеменников от рук родственных ламанитов. И незадолго до смерти своей закопал листы в холмах именем Кумора, что оказались спустя четырнадцать столетий в штате Нью-Йорк, округе Вейн, недалеко от города Пальмира.

Такова краткая история «Книги Мормона». Следует добавить, что остатки народа ламанитского стали предками многих индейских племен.

Исход

Весной 1830 года «Книга Мормона» вышла в свет — пять тысяч экземпляров. И тысячи людей приняли новое учение. В апреле 1830 года шесть человек из числа трех и восьми свидетелей, узревших золотые листы, основали новую Церковь и провозгласили Джозефа Смита «провидцем, пророком и апостолом Иисуса Христа».



Еще большее количество людей приняло мормонов в штаты. Сразу после создания Церкви Смита арестовали. Его проповеди якобы создавали беспорядки, «вызываемые чтением “Книги Мормона”». Правда, очень скоро и выпустили. Затем начались преследования, сопровождавшие пророка до самой смерти.

В 1831 году старейшины решили переселиться к западу, чтобы там основать общину: в штате Нью-Йорк им бы этого сделать не дали.

Не удалось им это и в Миссури. Тут к религиозным расхождениям прибавилось еще одно важное обстоятельство: Миссури — штат сугубо рабовладельческий, а мормоны, как говорили, были решительно против рабства. Тем не менее мормоны построили в городе Кертланд первый храм и прожили в Миссури около семи лет, пока толпы погромщиков не разгромили их дома. Пророка выволокли на улицу, избили до полусмерти, вымазали смолой, обваляли в перьях и бросили умирать. Пророк выжил. Но оставаться в Миссури стало невозможно. Тем более что губернатор штата Боггс распорядился изгнать мормонов или уничтожить их.

Перейдя замерзшую реку, верующие оказались на иллинойском берегу Миссисипи. Здесь в болотистой местности был построен ими город Наву, что на известном пророку библейском языке значило «Прекрасное поселение». Сюда стекались уверовавшие из восточных штатов, из Канады, из Англии. Вырос второй храм. К 1844 году город Наву стал самым благоустроенным и крупнейшим в штате Иллинойс: двадцать тысяч жителей! В немощном Чикаго тогда обитало двенадцать тысяч.

Мир в Наву сохранялся недолго. Религиозная нетерпимость — казалось бы, странная у потомков людей, самих вкусивших ее в Европе, — вспыхнула вновь. Джозефа Смита с братом заключили в тюрьму города Карфаген. Стены тюрьмы должны были защитить их от народного суда Линча. 27 июня 1844 года оба были застрелены убийцами с завязанными платками лицами.

Характер верующего человека тем и отличается от характера неверующего, что преследования — так похожие на те, что вынес ветхозаветный избранный народ! — лишь укреп-

ляют его веру. А мученическая смерть пророка? Разве не умер Моисей, не узревший землю Ханаанскую? Разве не были мучениками христианские святые? И число мормонов лишь выросло.

Чем больше я читал об истории мормонского исхода, тем больше думал: в чем же причина вражды, которая окружала их в восточных штатах? Наверное, дело в несхожести их учения с теми учениями, что буйно — секта на секте — цвели в этих местах. Слово «Америка» отсутствовало в Священном писании: а для протестантов Библия — основа всего и вся. Почему-то мне стало казаться, что не последнюю роль сыграло и то, что пророк — современник и соотечественник и что у него простецкая фамилия Смит. У пророка должно быть какое-нибудь неудобопроизносимое древнееврейское, древнегреческое или арабское имя. И что это за чудеса? В наше время?!

И конечно, раздражало многоженство, особенно дававшее тему для пересудов и возмущения. В этих пересудах оно, кстати, присутствует и по сей день.

Вторым пророком стал Бригем Янг, и под его водительством 17 тысяч человек в феврале 1846 года пересекли замерзшую Миссисипи. Началось Великое-Переселение-в-Фургонах-на-Запад. Как предрек Джозеф Смит, «в сердце Скалистых гор вы станете великим народом».

Ужин у Блэнчердов

Каждое утро, тщательно начистив ботинки, я, как на работу, приходил в административное здание Церкви. Я проходил мимо Львиного дома — бывшего особняка Янга, мимо его монумента. На постаменте выгравированы фамилии всех глав семей, пришедших с ним, включая трех «цветных служителей» — негров-рабов. Золотыми звездочками отмечены те, кто дожил до пятидесятилетия основания города. Среди них — один цветной, сразу же освобожденный в Юге. В воротах Храмовой площади улыбались молоденькие, скромно одетые девушки, всегда по двое:

— Доброе утро! Вам нужна помощь?



Проходили плечистые парни в галстуках, тоже вдвоем:

— Вы что-то ищете, сэр?

Ровно в десять я входил в фойе, но не успевал дойти до кресла, как из лифта выходил Дон Лефевр из отдела по связи с прессой, подтянутый пожилой джентльмен. Он опекал меня все время в городе: возил в город Прово в университет; договорился со своей соседской семьей.

— Я бы вас пригласил к себе, но вам интереснее семья с детьми, а наши уже разлетелись из гнезда. У нас было трое, жена потом рожать не могла, и мы еще двоих усыновили. Все уже выросли...

В семье Блэнчерд детей было семеро. Я застал дома пятерых: двое старших уже отправились миссионерствовать. Миссионерство — религиозный долг, и каждый отдает ему два года. Поэтому в разговорах с мормонами миссионерство — такая же временная отметка, как у нас служба в армии. Услышав «Это еще до миссионерства было» или «Только, помню, я из миссии вернулся», — сразу понимаешь, что собеседнику тогда исполнился 21 год. И также понимаешь, что тогда он женился.

Один сын Блэнчердов трудился на филиппинском острове Себу. Второй — в еще более трудных условиях: в южной части Бронкса в Нью-Йорке. Себуанскому сыну как раз исполнился 21 год, и вся семья собралась, чтобы отметить это.

Стол был обильный и американский, а вода — единственный за весь вечер напиток — напоминала мне, что я в мормонском доме. Чая и кофе мормоны тоже не пьют, и помнится, отыскать в городе кофе, а тем более приличный, оставалось вечной моей заботой.

В конце вечера записали на магнитофон письмо юбиляру. Кто пел, кто рассказывал. Мне это очень напомнило старательно отрепетированный концерт самодеятельности. Попросили сказать пару слов и меня. Я пожелал парню добра, извинился за произношение и честно признался, что чувствую себя в его семье очень тепло и хорошо.

Долго мы бродили по здешнему музею: собрано в нем все, что накопила недолгая история Юты. Штат довольно большой — пол-Франции с гаком, а народу всего — два с половиной миллиона, в столице — сто семьдесят тысяч.

— И все мормоны? — спросил я.

— Не все, — отвечал мистер Лефевр, — но большинство. А всего-то нас в мире десять миллионов. Пойдемте в Археологический зал.

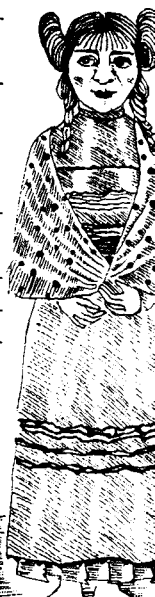
Сначала он не привлек моего внимания: видал я археологию побогаче. Потом стал смотреть с большим интересом — находки доколумбова периода: какие-то изображения бородатых людей с просто-таки ханаанскими лицами, восточные монеты. Под каждой — дата. Что-то меня смутило в ней. Я все старался понять: что? Найдено в XX веке в основном. В XX веке? И Джозеф Смит не мог об этом знать.

Разговор с апостолом о чудесах

Меня согласился принять апостол. Апостола звали Джеффри Р. Холланд.

Согласитесь, мало кто может похвастать тем, что беседовал с живым апостолом. Когда я рассказывал об этом дома, все воспринимали как розыгрыш. В Москве не привыкли к тому, что в наши дни апостолы ходят по земле и общаются с людьми. Они ходили в другие времена и в других местах. Кстати, тут москвичи особенно ошибаются: именно в Москве Джеффри Р. Холланд побывал и поработал. Но заблуждения москвичей простительны: где Солт-Лейк-Сити, а где наша столица! Американские знакомые тоже слушали меня недоверчиво. Они-то могли бы знать реальность своей страны и получше.

Но и американцам недоверчивость простительна. Просто и мы, и они не вдумываемся в смысл слова «апостол», что по-гречески значит «проповедник», «посланник». И двенадцать апостолов Библии были вначале обычными людьми — рыбаками, к примеру. Но, став учениками Иисуса, они были призваны проповедовать истину и оставили свои обыденные дела. Мормоны же считают, что они восстановили христианство в том виде, каким оно было во времена Иисуса. А потому высший их орган называется Советом Двенадцати Апостолов. Выше него только Президент Церкви. Его называют Пророком.



Обо всем этом я прочитал заранее и многому уже не удивлялся; к примеру, что епископом здесь, как и во времена первых христиан, зовут человека, которого в других местах именуют приходским священником. Но все же... Все же не каждый день рядовой человек встречается с живым апостолом. Заранее я осведомился у мистера Лефевра, как мне следует к нему обращаться: «апостол» просто, «апостол Холланд» или как еще? Следовало говорить «элдер Холланд», старейшина.

В назначенное время в приличествующем случае пиджаке и неярком галстуке я вошел в приемную. Тут сидели два референта: в приемную выходили кабинеты двух апостолов. И через минуту меня приветствовал средних лет мужчина в отлично сшитом костюме. Он был любезен и доброжелателен. И конечно же, очень занят. Поэтому мы сразу договорились, что я отниму у него полчаса. Это было мое предложение, но, думаю, если бы я попросил времени больше, он бы согласился. В конце концов, объяснять правду незнающим было его делом. И призванием: до того как стать апостолом, он был профессиональным педагогом — ректором университета Бригема Янга в городе Прово, час езды на машине отсюда.

Мы договорились, что элдер Холланд начнет с некоторых постулатов, особо важных для общего понимания, а потом постарается пояснить то, что остается для меня непонятым.

— Прежде всего, — сказал он, — запомните: наша Церковь — не протестантская. Протестантизм возник в недрах католичества, мы же восстановили живую Церковь Иисуса Христа тех времен, когда никакого раскола в христианстве не было. Да, мы знаем, что многие считают нас одной из протестантских сект. Но если вы усвоите наше отличие, вам будем нас легче понять.

Я почувствовал себя студентом, и это было приятное ощущение: студент имеет право задавать преподавателю любой вопрос, не опасаясь показаться глупым и невежественным.

Я задал свой первый вопрос.

— Элдер Холланд, — спросил я, — а почему надписи на листах, имевших вид золотых, данных Смиты, были

на египетском языке? Почему не на древнееврейском или древнегреческом, как водится в священных книгах?

— Интересный вопрос, — одобрил меня апостол, — я сам пытался это объяснить. И знаете к какому выводу пришел? Египетские иероглифы — каждый целое слово — гораздо экономнее букв: на меньшем количестве пергамента или металла можно записать больше. А читать это могли многие. Египетский был языком коммерции Древнего Востока. Его, конечно же, знал Авраам. В Египте он общался со жрецами. С родом Легиевым египетский язык попал в Америку. — Эту тему элдер Холланд, несомненно, знал и любил. — Я занимаюсь исследованием «Книги Мормона» много лет. И вижу в ней много чудес. Наверное, она выглядела так, — он передал мне стопку миниатюрных медных листков на красивой подставке, — студенты сделали в подарок.

Каждый листок был покрыт аккуратными иероглифами.

— Посмотрите, на каждом маленьком листочке — несколько фраз, а все можно разобрать. Вы читаете по-египетски? Я тоже нет. А мы с вами образованные люди. Явление Смигу было в четырнадцать с половиной лет. Бог избирает молодых. Фермерский парнишка, в школу ходил две зимы. А перевод он сделал — с древнеегипетского! — за шестнадцать дней. Это ли не чудо?.. Хорошо, говорят наши противники, не перевел, а сам сочинил. Но даже если бы это было так, как смог это сделать необразованный сельский мальчишка? Я профессор, к моим услугам компьютер, помощники. Написал две книжки. Сколько я их писал? И кто будет о них помнить? А ведь я всего лишь анализирую его книгу. Дальше. В тексте Смига полно гебраизмов и египтизмов. Заверяю вас, что в церковно-приходских школах никогда не учили ни древнееврейского, ни древнеегипетского. У него описание монетной системы — мы до сих пор толком не можем это объяснить по-английски. В 24 года он женат, содержит семью, выпускает книгу. И создает план Града Сионского — один к одному нынешний Солт-Лейк-Сити. Как вы знаете, он никогда не был в Юте, он не вошел в нее со своим народом, как Моисей в Землю Обетованную, но он все точно знал: Соленое озеро, нашу реку Иордан.



Я не перебивал апостола, хоть и не все до меня доходило. Вопрос чудес очень важен в любой религии, и нет религии без чудес. Я имею в виду то, что нельзя объяснить ни опытом, ни знаниями. Кстати, знаменитое выражение «Верю, ибо это нелепо», над которым потешались многие поколения научных и не очень атеистов, понимать-то следует как «если что-то существующее не укладывается в рамки моего сознания, мне остается только верить, а не пытаться объяснить».

— Ну и наконец. Вы видели рукопись Джозефа Смита в музее?

Я видел ее накануне. Четкий почерк, ровные строки без помарок. Кажется, самый ценный экспонат.

— А теперь слушайте. В ней нет ошибок. Так, отдельные диалектизмы. — Голос Элдера Холланда набрал профессорскую торжественность. — Могу сказать вам, что это подлинное чудо. Я тридцать лет преподавал английский язык. И за это время не видел человека среди самых образованных, кто бы выражал мысли по-английски без ошибок!

Окруженный горами

В городе Солт-Лейк-Сити так мало курящих, что, встретившись на улице (а больше их нигде и не встретить), они приветствуют друг друга стыдливой улыбкой: «Привет тебе, о брат мой отверженный!» Некурящее подавляющее большинство тоже здоровается с незнакомым путником на своей улице.

Город, по которому я много гулял в свободное от работы время, показался гораздо разнообразнее, чем при первой встрече. Стоит отойти от двух центральных улиц, от Храмовой площади, как углубишься в кварталы, незаметно переходящие друг в друга. Очень чистые, малолюдные, на фоне серебрищихся гор, они вроде бы и не так уж отличались друг от друга, но, углубляясь в следующий, я наблюдал, как эти различия нарастали, пока их количество не переходило в качество.

Эвенюс Куортер — двухэтажные дома из великолепного кирпича разбросаны среди мягких холмов, осененных ста-

рыми деревьями, — богатый квартал в Англии, да и только. Однако проехавший на велосипеде человек в форме полиции штата Юта — «Хай! Как дела?» — напоминает, что до Старой Родины — Англии — далеко. И все-таки здешние кривые улицы такие европейские...

А чуть дальше — и дома хорошие, но чуть поуже, и улицы прямые. Дальше — дома еще чуть поуже, одноэтажные и через две улицы выходят на шоссе. Все встречные — белые, других почти и не увидишь. Лишь раза два я встречал чернокожих — в деловых пиджаках и галстуках, с любезными улыбками, они скорее всего были мормонскими священниками. То, что город — столица Церкви Иисуса Христа, подтверждают и светлая громада храма, и памятники, и даже над местным горсоветом — учреждением светским — сверкает золотая статуя ангела Морония, подсвеченная ночью прожектором.

Однако я издала находил дорогу в гостиницу по высокому шпилью с католическим крестом; для кого-то же продавался в редких местах и приличный кофе.

Как-то, идя по совсем незнакомой улице, я заметил здание восточной архитектуры. Я даже подумал, что такое мог построить себе состоятельный индус. Но с противоположного тротуара увидел прикрепленный над входом православный крест и застекленную икону Богоматери. С ориентальным обликом строения это не очень вязалось. Но уж совсем не вязалась идущая дугой по фронтону еврейская надпись: «Община Монтефиоре».

Я перешел на ту сторону. Объявления принадлежали православным: по-английски и на сербском языке, но латинскими буквами и без должных значков. Прошла, направляясь в церковь, немолодая женщина.

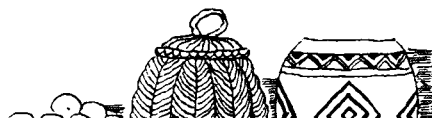
— Простите, — спросил я по-русски, — это чья церковь?

— Не понимаю, — отвечала дама, — папа мой хорошо знал церковнославянский, а я только английский.

Я повторил вопрос.

— Как чья? — удивилась она. — Православная. Русская, украинская, сербская, болгарская. Разницы нет, а говорим все по-английски.

— И греки сюда ходят?



— Они же тоже православные, — подтвердила женщина и махнула рукой. — У них все-таки свой храм. Они хоть и тоже говорят больше по-английски, но любят, чтобы служба была на греческом. Я здесь родилась, так всегда было.

На таблице у входа я прочитал, что здание это строили как ортодоксальную синагогу в начале века. Когда же община ослабела (то ли уехало большинство прихожан, то ли обратилось к более модернистским формам иудаизма), дом стал ветшать. Но в Юте, бережно относящейся к памятникам своей не бог весть какой древней истории, его отреставрировали, а потом уступили разросшейся славянской православной общине.

Как и каждый небольшой город, Солт-Лейк-Сити не узнаешь и не поймешь с первого взгляда: жизнь его куда сложнее и разнообразнее, чем кажется залетному гостю.

Семейная история

Я думаю, что одно из самых интересных мест, которые мне довелось увидеть в Солт-Лейк-Сити, — Библиотека семейной истории. Ее еще называют Генеалогическим центром.

Еще в музее я обратил внимание на то, что реализму здешних живописцев позавидовал бы сектор наглядной агитации и пропаганды Главного политического управления Советской армии. Мне даже показалось, что подобные полотна и плакаты я хорошо изучил в далекое время своей армейской молодости. Мистер Лефевр со мной согласился: он служил в армии потенциального противника примерно в то же время. Это искусство ему нравилось.

— Пикассо у нас точно нет, — заметил он, — зато каждому понятно и доступно. А это главное.

В этот момент мы стояли перед обширным полотном. В его левом нижнем углу взрослые люди свежего вида в белых одеждах протягивали руки нестарым женщине и мужчине и детям — в центре картины, а те, принимая пожатие одной рукой, другую протягивали в правую верх-

нюю часть картины. Оттуда, в свою очередь, к ним тянулись люди разных возрастов.

— Связь поколений? — предположил я.

— Точно. Мы считаем, что ушедшие, живущие и будущие поколения сосуществуют. И умершие воскреснут во плоти и крови. Связь поколений между собой — не только духовная, но и физическая, — крепка. Человек должен знать своих предков. Он несет ответственность не только за потомков, но и за них.

Все сказанное можно было бы принять за декларацию («Вернуться к истокам! Помнить заветы предков!»), если бы я имел дело с кем-нибудь другим, кроме Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. В Церкви к генеалогии (как, впрочем, и ко всему остальному) относятся серьезно и конкретно и поставили это дело на широкую ногу. С привлечением всех достижений науки и техники.

Америка — страна иммигрантов, корни ее жителей в Старом Свете. И мормонские миссионеры во всех — где возможно — странах мира снимают копии с церковно-приходских, общинных и муниципальных книг. Потом все данные закладывают в компьютер. Сейчас в нем заложено два миллиарда имен.

Меня интересовала сама работа собирателей генеалогий, тем более что их плодами может пользоваться любой желающий, но в отличие от членов Церкви за плату. Правда, довольно умеренную. Из-за расхождений мормонов с другими христианами сведения представляют им далеко не во всех церковных приходах мира. Не дают своих данных и ортодоксальные еврейские общины: прежде всего потому, что человек, принимающий мормонскую веру, крестит и всех своих предков.

Церковные и общинные книги — вещь очень даже полезная. Ведь в них записывали не только кто, где и когда родился, женился и умер, но и указывали причину. И если это крепко, по науке, свести в компьютере, получается интереснейшая картина — интереснейшая, к примеру, для врачей, определяющих наследственность заболевания. Кстати, медики и составляют немалую часть платных пользователей библиотеки.



Библиотека была совсем рядом — через дорогу от административного здания. Она даже не показалась столь большой, как можно было предположить по обилию хранимого материала. Выяснилось, что два ее этажа под землей. Но это я узнал потом, когда меня отвела туда любезная и очень знающая дама по имени миссис Шокетт — ударение на последнем слоге и с французским «ш».

Французская эта фамилия, кстати, мужнина, сама же ее носительница — шведка родом из Финляндии, да еще и с каплей то ли русской, то ли карельской крови. Во всяком случае, фамилия одного из ее дедов была Нифонтов. Она говорила по-английски, по-французски, по-шведски, по-фински. И совсем неплохо по-русски с очень симпатичными старомодными оборотами. Дед Нифонтов, судя по ее разговору, был человеком образованным.

Мы начали с компьютеров.

— Как пишется ваша фамилия? «Mints» в английском написании? Сейчас посмотрим, сколько у вас однофамильцев на Западном побережье США.

Оказалось, что в бережливой памяти машины хранятся и все телефонные книги Штатов и Европы. Экран замелькал, из принтера полезла бумага. С полстраницы ее занимали Минтсы, никакого ко мне отношения не имеющие. Я все же вглядывался с надеждой. А вдруг? После Дэйвида, Роберта и совсем никуда уже не лезущего Кристофера Минтса промелькнули Минчев Атанас и Минченко Леонид. Зато фалангой пошли Минцулисы: Ангелос, Ангелос, Ангелос, Деметриос. За Деметриосом Минцулисом двинулись ровные ряды Минцопулосов: Ангелос, Андреас и прочая. На Минцопулосе Агамемноне я попросил остановить машину. Агамемнона у меня в родне, даже дальней, не водилось.

Не знаю мормонского описания рая, но для любого человека, интересующегося наукой об именах — ономастикой, он расположен в подземных этажах библиотеки. Там в скандинавском и славянском отделе и трудится госпожа Шокетт.

На стеллажах лежали стопки книг. Скандинавские приходские книги, своды образцов писарского почер-

ка (и не за один век!), справочники типичных и нетипичных ошибок. Оказывается, простецкое мужицкое имя Юхан (где тут ошибиться?) можно перевернуть семью разными способами. Если же учесть, что за свою долгую историю Швеция успела побывать частью Дании, Норвегия — Швеции, а Финляндия, будучи объединена с Россией личностью монарха, языком делопроизводства оставила шведский, замененный финским, и названий каждый населенный пункт имел по два (помните: Турку — Або), да к тому же писарь мог плохо владеть предписанным языком, то вы поймете, какое обширное поле деятельности у миссис Шокетт.

— Это еще не все, — уточнила она. — Там ведь и фамилий почти не было. Нильсен, Свенссон, Хансен — это отчества, поди разберись.

Я представил себе одних лишь Александровичей и Александровен, которых я знаю, и мысленно возблагодарил то наше правительство, которое (тоже, кстати, относительно недавно) присвоило гражданам разнообразные и благозвучные фамилии.

— Но в Америке это становилось фамилией? — спросил я. — А здесь все-таки Хансенов и Свенссонов не такой процент, как на старой родине. Так что вам полегче.

— Если бы, — вздохнула миссис Шокетт, — многие приехали с более сложными фамилиями. А англосаксы выговорить иностранное слово не в силах. Так что многие их меняли, а то и просто вынимали середину и ходили с остатком. Звали человека Гриммальдурссон — стал Гримсон. Хорошо хоть, если еще он об этом помнит.

Она показала мне готовое генеалогическое древо. Ей-богу, это выглядело не хуже, чем у августейших персон. Разве что вместо герцогов Ангальт-Цербстских и герцогинь да-Браганса-э-Фуншал в ветвях дерева гнездились простые Линдгрены и Райнарсудссоны. Фамилии менялись, но древо рода оставалось одним и тем же. Я повел пальцем по изменениям: миссис Шокетт кивнула.

— Почти все гласные были сверху украшены значками, их убирали, и фамилия как бы лысела, а сочетания букв были столь непривычны, что, найдя свои корни, произ-



нести их американец во втором поколении не сможет даже под угрозой смертной казни.

Я представил себе, как приходит к ней этакий старичок, вовсе не мормон, а просто на старости лет решивший прикинуть к корням и способный заплатить за это 200 долларов. Ему составили древо, компьютер выдал данные, и осталось одно: узнать, а как исконное имя звучит. Сам-то он себя именует мистер Вид.

Миссис Шокетт смотрит в бумажку и говорит:

— Это, мистер Вид, пишется Аскольгрустенвид. А читать нужно, видите «а» с кружком, это — почти «о»: Ошйоолгрушнвий.

— Как? — спрашивает потрясенный клиент дрожащим голосом. — Ошк... Ошйо... Нет, это невозможно! А из какого прихода предки?

— Это совсем несложно, — отвечает миссис Шокетт, — они, кажется, из Финляндии? Сейчас посмотрим. А, вот! Ванхатурмосъярви.

— Как?! — Бедняга падает в обморок.

Или примерно так. Я, кажется, выдумал слишком простой пример.

Насчет себя я почти ничего не выяснил — по причинам, приведенным выше. Но что-то все-таки узнать удалось. И надеюсь, что узнаю больше. Во всяком случае, каждый вечер, когда возвращался в гостиницу, портье передавал мне пакет из библиотеки с новыми деталями.

Последнее письмо оттуда я получил уже в Москве.

Добрый, мирный народ хопи

Слова, употребленные в заглавии, — самоназвание народа хопи. Так звучит в переводе с их языка само имя «хопи». Народ этот небольшой — наверное, чуть меньше десяти тысяч, и в своей истории ни на кого не нападал. Говоря «история», я не имею в виду ту писаную, которая, в сущности, начинается с первой встречи индейцев с белыми, — хопи свою историю помнят со времен допотопных. Как вы убедитесь довольно скоро, это следует понимать дословно —

«до Потопа», а также «до Оледенения» и даже «до Великого Огня».

Резервация хопи в северной Аризоне, северной своей частью она заходит в южную Юту. Езды-то от Солт-Лейк-Сити всего ничего: два дня.

На карте написано «Нация хопи». Это может быть не сразу понятно, поскольку для нас слово «нация» примерно равно понятию «национальная принадлежность». Индейцы же — это относится не только к хопи — вкладывают в него другой смысл: «государственное образование».

Именно «образование», потому что государств у индейцев нет, а слово «резервация» они не любят. Вообще-то резервация — это не совсем то подобие концлагеря, как мы себе некогда представляли. Любой индеец может покинуть ее, когда захочет, поселиться, где хочет, и стать полноправным гражданином США — со всеми правами и обязанностями.

Но эти обязанности да и сама жизнь среди белых не позволили бы ему придерживаться традиционного образа жизни, завещанного предками; он утратил бы свою принадлежность к народу, корни которого уходят в землю Америки.

Он превратился бы в одного из американцев такого-то происхождения — как все вокруг. И не более. (Кстати, таких индейцев тоже немало.) Живя же в месте, отведенном его племени, не участвуя в выборах, не служа в армии, не имея многих прав, он сохраняет свой язык, свою веру, свои обычаи. Палка, как говорится, о двух концах.

У нации свои отношения с другой нацией — Соединенными Штатами Америки. Почти дипломатические, договорные. Каждую индейскую нацию возглавляет Совет вождей. Сказать правду, мирных хопи почти не осталось бы: воинственное племя навахо, пришедшее с севера, чуть не отняло у хопи и последний клочок земли, не останови их правительство Штатов.

И ныне «Нация навахо» окружает маленькую «Нацию хопи» со всех сторон в штате Аризона. Считается, что хопи — около 10 тысяч. Этнографы относят их к группе индейских народов пуэбло, что по-испански значит «живущие в поселениях из глины»: это племена зуни, тано, керес. Они гово-



рят на несхожих языках, но их роднит образ жизни, занятие земледелием, схожие религиозные представления. И везде, где живут или жили пуэбло, осталось на скалах изображение странного существа — то ли муравья, то ли горбуна, играющего на длинной дудочке... Его зовут «кокопелли».

Через Долину богов к Мексиканским Водам

У меня оставалось дел дня на два в столице Юты, и, завершая их, я уже начал готовиться к броску на юг. Вечером мне позвонил Виктор Привальский, последние пять лет работающий в университете городка Логан — в ближнем подсолтлейкситье. Профессор был удручен.

— Вес срывается, — выпалил он, — холи не хотят тебя видеть. Они мне звонили.

Физик и математик с отеческой заботливостью помогал мне в осуществлении моих намерений. Он знал, что импровизацию здесь не любят, предпочитая все готовить заранее, продуманно и тщательно. Он связал меня с мормонами, он же и дал факс в Совет вождей Нации хопи.

Настало время весенних обрядов, и очень не хотелось, чтобы нас с этих обрядов вывели, как мальчишек-безбилетников из кино. Незамеченными мы бы не остались; не сообщив он вождям, это сделала бы хозяйка мотеля в резервации: в маленьком народе все друг друга знают.

— То есть? — удивился я. — Клянусь тебе, ничего плохого я народу хопи не сделал. Ну, писал разок... по источникам.

— Да не против тебя лично. Против всей прессы. Она мне так и сказала: «Маленький, безобидный народ хопи устал от информационной эксплуатации». Женщина из общественного совета по культуре хопи сказала. Пусть, сказала, придет подробный план, а мы передадим его вождю по пропаганде или по оргработе, я точно не помню, но сильно на это смахивает. Я говорю: «А когда ответите?», а она отвечает, мол, когда нужно, тогда и ответим. Но если даже вождь позволит, то запрещено входить в дома, докучать людям вопросами...

Что делать? Не успел он договорить, как я понял, что мое положение бесприоритно.

— Едем, — сказал я твердо. — Пустят — хорошо, не пустят — тоже хорошо, задержит племенная полиция и посадит в кутузку — еще лучше. В любом случае — это жизнь хопи в современном мире, такой же предмет изучения, как и обряды, — но тут же поправился, — однако обряды все-таки лучше.

— Н-да? — недоверчиво переспросил профессор. — Едем? — И, как бы убедив себя сам, закончил уверенно: — Едем!

К вечеру следующего дня сомнения развеялись. Виктор посоветовался со знающими людьми в университете, и те заверили его, что запрет не имеет никакой силы: совет по культуре — организация общественная, в нем нерегулярно собирается местная интеллигенция.

Кто-то из ее представителей разгневался, но, выпустив по телефону гнев, как пар, тут же об этом и забыл. Наверное, сама звонившая. На всякий случай, сказали знающие люди, не ищите в резервации общественный совет, остальным на это начихать.

Знакомые там есть? Знакомые были. Мой друг Привальский год назад побывал в краю хопи, очень увлекся их деревянной скульптурой и работами из серебра и даже встретил Рождество в доме одного белого учителя. Тот несколько лет живет среди хопи, как хопи, и в таком же доме. Он, наверное, поможет.

Ранним утром 13 марта мы тронулись в неблизкий путь. Доехать до Испанской развилки, свернуть, дальше просто — к вечеру будем в Моаве, там и переночуем. Библейское название говорило, что Моав — город белых, основанный и населенный первопроходцами Юты, трудолюбивыми мормонами.

От Моавы по шоссе № 191 к Блэндингу, к югу от Блэндинга — поворот на запад на хайвэй 95, потом на юг — на 261-й. Через Долину Богов по 163-му к востоку, затем на юг и по 191-му к Мексикан Уотер (Мексиканским Водам), потом на Чинле, там на юг до 3-го и по нему — на восток к Кимз-Кэньону. Там культурный и торговый центр хопи, там же и заказанный мотель.



В редких населенных пунктах все чаще стали встречаться лавки с индейскими товарами: «Индийская ювелирная работа и керамика», «Ювелирные изделия, керамика и качина», «Качина, керамика и ковры». Потом лавки стали попадаться и без населенных пунктов — стрелками-указателями на шоссе. Мы приближались к Стране навахо, а люди этого племени — признанные серебряных дел мастера.

Качина же — деревянные куклы хопи, изображающие людей в масках (никогда — с открытым лицом!), в шкурах, с понятными и непонятными предметами в руках. У хопи это предмет ритуальный, но теперь, когда они стали популярными, за их изготовление взялись предприимчивые навахо.

Проехать мимо лавок не было никакой возможности: остановились вы заправить машину или выпить кофе, хозяин, приняв ваш заказ, тут же задает вопрос:

— Не хотите ли посмотреть качина?

Мой старинный друг, по счастью, стал за прошедшие годы таким специалистом по скульптуре хопи, что обмануть его было невозможно. Подделку он различал сразу. И не успевал еще продавец повернуться к полке, как Виктор кричал:

— Нет, нет! Эту не надо! Это работа навахо!

Продавцы, очевидно, пристыженные встречей с таким знатоком, от попыток навязать некачественный товар отказывались и только говорили:

— Настоящая работа хопи — знаете сколько стоит?

— А в чем дело? — спросил я. Случайный иноземец, я имел право не смущаться своего незнания: — Вот этот парень с лицом барсука и с луком в руках разве не отличная штука?

Продавец и Виктор обменялись понимающим взглядом взрослых, услышавших вопрос дитяти.

— Работа хопи среди других индейских работ, — назидательно сказал продавец, — все равно что «кадиллак» среди других машин. Их серебро, кстати, тоже...

У самой границы с Аризоной появился щит «Нация навахо», а через некоторое время мы пересекли невидимую границу штатов. Штаты не отличались никак. Но потом окрестности стали лесистее. Появилась группа строений: бензозаправочная станция, магазин, совершенно обычные дома. Но вывеска уже была двуязычной: «Naakaii To. Mexican Water».

А стоявшие люди похожи были на корейцев. Один из них по моей просьбе прочитал:

— Наакаии Туо. «Наакаии» по-нашему — «мексиканец», а «туо» — «вода». Мистер, хотите посмотреть качина?

Темный каньон Кимз

Та же великолепная дорога вела нас, и то же небо, в котором неустанно чертили след самолеты с недалекой военной базы, простиралось над нами, но что-то изменилось. Так незначительно, что уловить это сразу было трудно, но ощущение изменения, возникнув, стойко держалось.

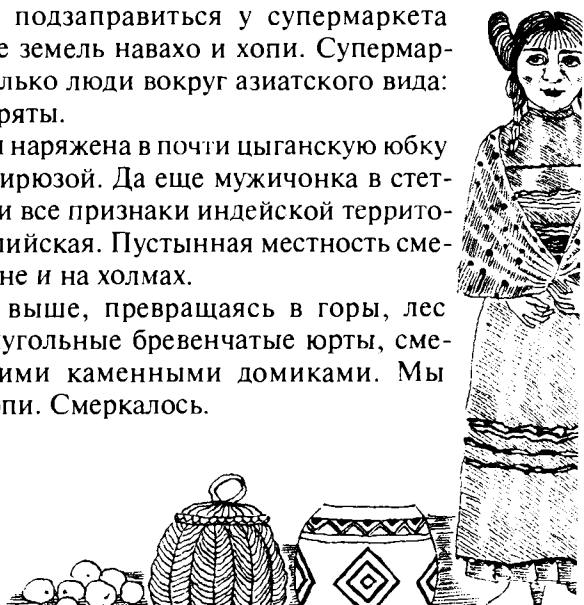
Время от времени мелькали отдельно стоящие домики, такие же легкие, фабричного производства, что и в небогатых кварталах виденных много городов. Рядом — машины, сараи, будочки, назначение которых было несомненным, как в наших дачных поселках. Паслись — штук по пять-шесть — овцы, иногда — лошади. Кажется, таких хуторков с немногочисленным домашним скотом видеть здесь не приходилось. У обочины лежала задавленная собака.

И двуязычные щиты с названиями поселений; а зачастую — только на языке навахо: длинные слова, странные сочетания букв, масса значков над ними. Иной раз рядом с домами стояли восьмиугольные бревенчатые строения, похожие на юрты.

Остановились лишь подзаправиться у супермаркета почти на самой границе земель навахо и хопи. Супермаркет как супермаркет, только люди вокруг азиатского вида: то ли корейцы, то ли буряты.

Лишь одна из женщин наряжена в почти цыганскую юбку и увешена серебром с бирюзой. Да еще мужичонка в стетсоновской шляпе — вот и все признаки индейской территории. И речь звучала английская. Пустынная местность сменялась лесами на равнине и на холмах.

Холмы становились выше, превращаясь в горы, лес густел. Исчезли восьмиугольные бревенчатые юрты, сменявшись плоскокрышими каменными домиками. Мы добрались до Страны хопи. Смеркалось.



И почти в полной темноте по круто змеящейся дороге мы въехали в Кимз-Кэньон. Виднелись скудно освещенные строения, и не было никаких указателей. И уже это безошибочно говорило, что Соединенные Штаты остались за холмами.

Даже за землями навахо. Мы подождали, пока появится первый прохожий, но точно ответить, где мотель, он не мог, неопределенно махнув рукой. Наткнулись на провинциально-казенного вида здание: заперто.

Сделали еще круг и оказались на том же месте. Снова проехали вперед и оказались на освещенной площадке, заставленной машинами. На фронто́не дома сиял электрический красный крест.

Белая врачиха обстоятельно объяснила, куда ехать, и нарисовала на бумаге план. Кто мы, зачем здесь — она не спросила. Ждавшие в приемной невысокие раскосые женщины с квадратными лицами и прямыми тусклыми волосами равнодушно смотрели мимо нас. На коленях у них сидели молчаливые дети.

Мотель располагался на удивление близко от места нашего въезда, и в канцелярии нас ждала любезная женщина с большим плосковатым лицом. Ничто в мотеле не отличало его от других американских мотелей, те же индейские одеяла узбекского вида, сделанные в Японии, покрывали широченные постели.

Вокруг было пусто и тихо. Я вышел на скудно освещенную площадь: высокий дом с витриной, напротив — разбросанные одноэтажные дома, в просветах чернели горы. Площадь была плохо мощена — с горами, домиками, деревьями место напоминало маленький городишко в Крыму.

Но группа тихих раскосых людей с длинными волосами, стоявшая у витрины, да прошедшая женщина в шали до пят вызвали другую ассоциацию: поселок в Южной Америке, где-нибудь в Перу или Боливии, этаким Санта-Исабель-де-лос-Каньонес. Все вместе, однако, совсем не напоминало Соединенные Штаты. Третий мир?

«Четвертым» называет этот мир народ хопи. Не только свой каньон. Весь мир, где мы живем.

Четыре мира народа хопи

История народа хопи — история всего рода человеческого, ибо хопи — первые люди на Земле. Во всяком случае — на американской земле. Люди жили последовательно в четырех мирах; три из них были разрушены, и виноваты в этом сами люди. Четвертый — нынешний, и что с ним будет, зависит от нашего поведения.

Сначала было только Пространство, и был Тайова, Создатель. Не было ни конца, ни начала, ни времени, ни жизни. Но все это уже существовало в мыслях Тайовы. И Тайова решил создать мир. Но сначала он сотворил Сотукнанга, своего племянника в помощь себе.

Сотукнанг из Бесконечного Пространства собрал все, что назвал Твердым, придал ему форму и разделил на девять частей: одну для Тайовы, одну для себя и семь для будущей жизни. Потом разделил воды и создал воздух. И взялся создавать жизнь.

В помощь себе он сотворил Паучиху. Паучиха взяла немного земли, смешала со своей слюной, вылепила Близнецов, вложила в них мудрость и спела Песнь Творения. Близнецы пошли вокруг света в разные стороны и там, где остановились, появились два конца Оси Мира. Приказал Тайова Близнецам взяться за концы Оси и запустить мир во вращение.

Паучиха собрала землю четырех цветов: желтую, красную, белую и черную и вылепила четырех мужчин и четырех женщин. Сотукнанг же наделил их четырьмя разными языками. Паучиха создала также все, что людям нужно: растения, животных, минералы.

Первые люди не знали ни болезней, ни усталости, они могли говорить со зверями, и цветами, и камнями на их языке. И каждый день люди пели гимны Тайове, поднимаясь на холмы, как велели им Сотукнанг и Паучиха.

Людей становилось больше и больше. И нашлись такие, что начали пренебрегать заветами Сотукнанга и Паучихи. Но все же некоторые из них по-прежнему славил Тайову. Их Сотукнанг спрятал в подземных домах муравьев.

А Первый Мир истребил огнем.



Когда земля остыла и лик ее совсем изменился, Сотукнанг вывел людей из муравьиных домов.

Второй Мир был не такой прекрасный, как Первый. Звери уже не жили среди людей, и растения не говорили с ними. Но все-таки мир был хорош, и всем всего хватало. И размножились люди. Построили много деревень, положили между ними дороги. У них была обильная пища, и они хранили ее, как научились этому у муравьев.

Но в отличие от муравьев люди стали меняться имуществом и торговать. Все у них было, но они желали большего. И снова мало осталось тех, кто продолжал петь хвалу Тайове на холмах.

Опять Сотукнанг увел этих верных и вновь поселил в жилище муравьиного народа. А сам велел Близнецам отпустить концы Оси Мира. Горы поползли в море, море покрыло землю, наступил холод, и все покрыл толстый лед. Так кончился Второй Мир.

Верные провели все это время опять у муравьев.

В Первом Мире люди мирно жили с животными и были просты; во Втором — стали строить дома и деревни, развили ремесла. А в Третьем размножились так быстро, что построили большие города, разделились на страны и много чего придумали: украшения и драгоценности, например.

Тогда же придумали «патуувота» — кожаные шиты, обладавшие способностью летать, перевозя людей и грузы. Некий человек с пособниками прилетал в большие города, грабил их и улетал с награбленным. И во многих странах стали делать патуувота и вели бои в воздухе.

Война и разврат наполнили Третий Мир. И Третий Мир был истреблен потопом. Те же, кто пел на холмах Песнь Тайовы, опять были спасены: они уплыли в дуплистых деревьях, заранее срубленных Паучихой.

Плавание их было бесконечным — на восток и немного на север. Они проходили мимо островов, что раньше были вершинами гор. На большом острове позволено было отдохнуть, чтобы вновь уйти в плавание. На этот раз в круглых лодках, сплетенных из ветвей. Много раз пускали странники птиц, но те возвращались ни с чем.

А когда птица принесла траву и земля была близка, люди высадились, решив, что это и есть Четвертый Мир. Но появившаяся на берегу Паучиха разочаровала их:

— Нет, было бы слишком легко и приятно жить здесь, так вы снова быстро впадете в грех. Вперед — и дорога ваша будет трудной и длинной.

И они шли, пока не вышли на ледяной холодный берег, а потом вдоль этого берега еще дольше шли, пока не появился Сотукнанг и не указал им на место.

— Вот Четвертый — Завершенный Мир. Он не так хорош и приятен для жизни, как предыдущие. В нем есть вершины и пропасти, холод и жара, красота и безобразие; есть все — на выбор. Сейчас вы разделитесь на кланы, и каждый пойдет за своей звездой, пока она не остановится на небе. Там и поселитесь. Помните, чему я вас учил.

И он исчез. А люди разбились на двенадцать кланов, и каждый пошел за своей звездой во все стороны света Четвертого мира — Тувакачи.

Опустим описание долгих странствий двенадцати кланов (чуть не сказал «колен») хопи, но все они, обойдя землю, собрались там, где и ныне живет народ хопи.

Первым же вышел к Центру Мира — ныне селение Олд Ораиби, самое старое человеческое поселение в Соединенных Штатах, — клан Медведя. А потом сошлись у трех мес — плосковерхих столовых гор — все кланы. Они стали сеять кукурузу, сажать арбузы, разводить скот. Каждый клан помнит историю своего пути.

И история эта запечатлена в великолепных, затейливо вырезанных куклах «качина», что в переводе с языка хопи значит «уважаемые духи». Ибо «качина» называются и эти куклы-духи, и наряженные участники обрядов.

И сами обряды.

«Просьба не беспокоить»

План наш был бесхитростен. Заехать сначала к белому учителю, что живет, как хопи, среди хопи, и положитьсь на его советы, а получится — воспользоваться его свя-



зями. Еще стоило заехать в дальнюю деревню на третьей месе: там замечательная лавка произведений индейского искусства. Ее содержит супружеская пара: она, Джейн, — местная индианка, а он — белый по имени Джозеф. У них можно и неподдельную качину купить, и без доброго совета не останемся.

В столовой подавали «хлеб хопи» — толстые сыроватые блины с серовато-голубоватой мякотью, яичницу с беконом и обычный чудовишный американский кофе. Белых в зале почти не было, официантами служила пара учтивых навахо. Хопи с серьезным видом сидели семьями и молчали блины: день был выходной, люди завтракали вне дома и с мороженым. Было мирно, тихо и почти празднично.

Зато в прихожей праздничное настроение оставило меня: расчерченное яркими фломастерами, висело объявление.

Объединенные деревни 1-й меси

Объявление

В связи с проведением обрядов Катсина деревни 1-й меси будут закрыты для туристов в следующие дни (везет мне: сегодня и завтра!). Мы извиняемся за причиняемое неудобство, но просим понять наше стремление к уединению. Отдел туризма ОДІМ.

Близкое сердцу бюрократическое сокращение означало «Объединенные деревни 1-й меси». Положительно неведомые темные силы договорились помешать мне, приехавшему в такую даль, увидеть что-нибудь, кроме районной столовой и объявлений райтуротдела племени хопи! Оставались еще две меси.

По пути до 2-й меси нам все время встречались машины, набитые индейцами. Они ехали на 1-ю месу, в отличие от нас их там ждали. Маски и набедренные повязки, очевидно, лежали в багажниках. Мы свернули на немощеный проселок, взяли в гору и оказались на пыльной площадке перед невысокими каменными домами.

Справа на холмике сложены камни, разбросаны перья. Виктор предупредил вполголоса:

— Святилище. Не вздумай снимать!

Постучали в дверь одного из домов. Никакого ответа. Из соседнего вышел индеец:

— Нет его. Оставьте записку, суньте под ведро на крыльце.

Он внимательно посмотрел на нас и кинул быстрый взгляд на святилище. Отсутствие у нас фотоаппаратов и индифферентное поведение, кажется, его удовлетворили.

— Я ему скажу, что вы были. Родственники?

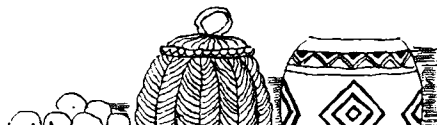
Джозеф Наста Сива

Мы сидели в лавке Джозефа и его индейской жены. Кажется, эта лавка и составляла почти всю деревню, во всяком случае, поблизости стоял только один дом, а во дворе его сушились дрова (тоже экзотическая для Штатов деталь).

Сама деревня с почти грузинским названием Тсакуршови располагалась высоко на 3-й месе. От лавки Джозефа и Джейн широко видна была серовато-желтая равнина внизу с редко разбросанными домиками хопи и четкой прямой дорогой. По дороге полз небольшой караван: люди из отдаленных деревень направлялись, очевидно, на 1-ю месу, осуществляя тем самым свое право на уединение. Это право, увы, предусматривало наше отсутствие. Время ушло, и мы ждали от Джозефа и Джейн хорошего совета.

Со всех стен уставились на нас качины. Ни в одной из лавок по пути не видел я таких качин. Они занимали все стены в двух комнатах. Люди в масках и шкурах, с дощечками на спине, с зеркальцами под коленкой. Стоящие на одном колене, застывшие в танце, прицеливающиеся из луков. Другие — с шарообразными глиняными головами, откуда торчали какие-то три перископа. Наконец, голые, нелепо размалеванные люди без масок с ломтями арбузов в руках.

— Это клоуны, — пояснил Джозеф, — во время обрядов они передразнивали уважаемых духов. Хопи считают, что смех очищает. А эти вот, — он показал на круглоголо-



вых, — глиноголовые, у них свое место. — Он вопросительно посмотрел на Джейн.

Джейн — типичная женщина хопи, ростом по плечо своему долговязому, сухому супругу, улыбнулась и кивнула, ничего не объясняя.

— «Мадхэд» — «глиняная голова», у нас их так зовут. Сколько у вас времени?

— Два дня. Мы искали того американца, что на второй месе живет, да его нет.

Парень-хопи, стоявший за прилавком, мягко поправил:

— Я тоже американец. Надо говорить: «белый американец».

— Извините, — сказал Виктор, — белого американца. Его не было. А мы бы хотели попасть на церемонию.

Джозеф задумался.

— Знаете, сразу не посоветуешь. Я тут уже двадцать лет живу, а все равно — «паханаа» — белый. Знаете, какое прозвище мне дали хопи? «Наста Сива» — «Денег нет»: пока не раскрутил торговлю, брал куклы в долг. Хопи это казалось странным и очень смешным: как это у белого да денег нет? Таких белых не бывает.

— Джозеф сейчас лучше меня по-нашему говорит, — не без гордости сказала Джейн.

Парень за прилавком кивнул.

— Поезжайте в Бакави, — сказал Джозеф. — Найдите кафетерий. Спросите у хозяйки: «Продаете ли вы мороженое паханаам?» Она поймет, что вы от меня. Может быть, что-нибудь и придумает. Не получится — заезжайте завтра ко мне. Что-нибудь сделаем. А вы, — он повернулся ко мне, — подумайте хорошо, что купить. Вам нужна настоящая качина — в такую даль, в Москву.

— Наста сива, — отвечал я, — на совсем настоящую.

— Смешно, — парировал Джозеф, — я уже хопи, для меня — смешно. Значит, не забыли, что сказать?

— У вас продается славянский шкаф? — буркнул я себе под нос.

— Сэр?

— Do you sell your ice-cream to the pahanas? — перевел профессор.

Рожденный в Бакави

Бакави, деревня с не менее грузинским названием, оказалась куда больше, чем Тсакуршови. Площадь с одной стороны замыкала сплошная слепая стена, напротив — кафетерий и кучка домов. Один из них заметно выделялся штукатуркой и бронзовыми фонарями у красивой двери. Над кафетерием висел гигантский пластиковый стакан, наполненный разноцветными шариками. Оттуда же торчал флажок с надписью «Ice-cream», и стало ясно, что мы попали в нужное место.

Внутри множество раскосых детей без азарта дергали рычаги игровых автоматов, переговариваясь по-английски. Несколько взрослых флегматично пили пиво, а недлинная очередь у стойки с мороженым, казалось, застыла на месте. Простоять пришлось довольно долго: продавщица тоже никуда не спешила. Из задней дверки вышел какой-то белый, скользнул по нам взглядом и, не поздоровавшись, вышел на улицу.

Сквозь окно мы увидели, что он исчез в доме с фонарями. Мы слегка смущались: вся застывшая, равнодушная обстановка не вязалась с анекдотически-шпионской фразой, которая должна была открыть нам дверь в мир ритуалов хопи. Дошла очередь и до нас.

— Продаете ли вы мороженое пахаанам?

Это было воспринято с улыбкой и пониманием.

— Вы от Джозефа? Действительно хотите мороженого или... что вам надо?

Мы поддержали бизнес и тем установили контакт. Мы объяснили. Хозяйка отпустила нам три порции, на лице ее не отражалось ничего.

— Поешьте пока.

С мороженым мы вышли на улицу. Я осмотрелся. Несмотря на грузинистое название, окружающее меня место больше всего напоминало поселок в глубинах Казахстана: то ли отсутствием зелени и пыльностью, то ли стоящими без складу и ладу домишками, больше же всего — лицами людей. Из дома с фонарями вышел давешний белый с младенцем на руках.



— Сынишка, — сказал он без вступления, — четыре недели.

— Как зовут?

— Эндрю-Аарон-Уильям-и-еще-много-имен, как у шотландцев принято. А вот завтра ему дадут первое индейское имя. В шесть лет — сменяют на взрослое. Хопи он у меня, здесь так: раз мать — хопи, значит, и дети из ее племени. Завтра будет церемония.

— А вам можно присутствовать?

— Конечно.

Мы разговорились, не уходя далеко от тем, касающихся жизни племени. Я поинтересовался: с чего это все восторженные мною дети говорят между собой по-английски?

— Да. Это школа. Телевизор еще. Но все владеют своим языком и дома говорят только по-своему. Хопи ведь всего тысяч десять, меньше даже, вот и берегут свой язык. Даже для новых понятий слова изобретают. «Машина», к примеру, «то, что пукает и тогда едет». И ведь как верно!

— А телевизор?

— TV? Что-то, наверное, есть, но я слышу: говорят «тиви» и еще что-то гортанное добавляют.

Он постоял немножко с нами, потом — не прощаясь — пошел домой. Муж хозяйки кафетерия, понятно, но отчего и почему решил жить с хопи — не сказал.

От самых дверей он обернулся:

— Жена сказала, что на второй месе будут обряды. Туда вас должны пустить. В случае чего — подъезжайте сюда снова.

Он исчез за дверью с Эндрю-Аароном-Уильямом-Пока-Без-Индейского-Имени на руках. Значит, на 2-й месе. Это же предполагал и Джозеф с индейским именем Наста Сива.

Грузинские названия, казахский поселок... Пройденное всегда с нами, и потому — хотим мы этого или нет — оно само приходит к нам в нужный момент, как подпорка тому, что мы видим внове.

Дагестан, и Казахстан, и Грузию я видел куда больше, чем Америку. Эти воспоминания всегда со мной. И не толь-

ко эти. Четыре мальчика подружились более полувека назад на первом курсе географического факультета, и, наверное, желание путешествовать тоже было тем, что нас объединило. Как выяснилось, на всю жизнь. И не только это желание. Двоих уже нет на свете, двое — Физик-Математик и я колесили сейчас между третьей и второй месаами Страны хопи. И мы были вместе.

Качина на площади

То, что ритуалы состоятся на 2-й месе, подтвердил нам приезжий из города Финикса, аризонской столицы. У него имелись свои источники информации: они с женой уже несколько лет навешают резервацию. Он очень серьезно и уважительно относился к хопи, признавая, что из всех племен Северной Америки они испытывают к белым и их вере самым большое недоверие.

Мы договорились встретиться после завтрака у столовой и поехать вместе: они ведущие, мы — ведомые.

— Когда они начнут? — поинтересовались мы.

— До обеда, точно не скажешь.

— А до какого времени?

— Сколько потребуется.

С шоссе наша экспедиция круто свернула в гору — путь на 2-ю месу. Первая машина отважно вильнула — у нее все колеса ведущие, а мы повторили довольно успешно маневр и по совершенно никакой дороге промчались между подслеповатыми домами — один к одному дагестанские сакли — и у самого обрыва резко встали на пыльной пустой площадке. Ничего. И никого. Посоветовались. Съехали на шоссе, объехали подножие меса и снова взяли вбок и вверх — к дому белого учителя.

Наша записка так и торчала из-под ведра на крыльце. Сосед-индеец развел руками и посоветовал попробовать наведаться на 3-ю месу. Но и там ничего не происходило. Зато шоссе оставалось пустынным: сновавшие вчера по нему хопи, очевидно, уже наслаждались уединением на территории ОДИМ.



Пока судили-рядили, аризонец рассказал, что они любят ездить к хопи не только потому, что те так блюдут свою веру и образ жизни. Дело еще и в глубоких библейских параллелях: потоп, первый человек. А знаете ли вы, что у хопи — тот хопи, у кого хопи мать? Это уж совсем ветхозаветные мотивы...

Тем временем мы подъехали к лавке Джозефа: посоветоваться и сфотографировать Джейн. Она обещала надеть национальное платье. Джейн вдруг отказалась. Даже Джозеф не смог помочь — не в настроении, что ли. Он виновато развел руками:

— За двадцать лет я не научился понимать индейцев до конца. Даже свою жену. — Он позвонил по телефону и улыбнулся нам. — Езжайте в «Кафе-мороженое», вас ждут, все в порядке...

Через пыльную площадь мы прошли переулком к тыльной стороне плоскокрыших домов. К одному прислонена была лестница.

— Лезьте сюда. Снимать нельзя, ни с кем не разговаривайте, ничего не спрашивайте.

Крыша легко пружинила под ногами. Все было заполнено людьми (белых почти не было) — все крыши вокруг прямоугольной площади.

А на площади сжатой подковой стояли индейцы. Половина в масках. Веерами лежали на их плечах перья; ноги в желто-синих мокасинах; к поясам прикреплены по два куска черной ткани: передний — фартуком, задний — полотнищем. С боков трогательно виднелись обычные трусики — белые и голубые.

Головы других скрывали огромные глиняные шары. Спереди и сзади стояли два человека в рубашках с длинными рукавами и в брюках с перьями по шву.

Еще один человек — в цивильном платье, с лицом председателя бурятского колхоза — держался чуть поодаль.

Бил барабан. Индейцы топали то одной, то другой ногой и вдруг по очереди поворачивались — с первого до последнего. Это продолжалось долго. Потом в подкову вошли четверо в обычных куртках и джинсах. Мне даже показалось,

что один из них — тот белый, сыну которого должны были сегодня давать первое имя. Но нет, не он. Все четверо были индейцами: лица их не скрывали маски.

«Председатель» сыпал к ногам танцоров кукурузные зерна из мешочка. Вокруг площади сидели на лавочках женщины; некоторые с девичьими прическами: два изогнутых диска из волос, скрывающие уши.

В сидящих никакой торжественности не чувствовалось: я бы не удивился, если бы они грызли семечки (или что там грызут индианки-хопи на посиделках?).

Барабан резко смолк. Индейцы цепочкой тут же ушли по переулку куда-то вниз. Куда? Зачем? На сколько? Спрашивать нельзя. И хотя враждебности не ощущалось, некое отчуждение отделяло нас от толпы на крышах. Люди остались на местах. Остались и мы. Остались и супруги из Финикса. И долговязый белый на противоположной крыше, торчавший среди приземистых хопи, как зубная щетка из стакана.

Через некоторое время индейцы вернулись — уже без глиноголовых и все переодетые. Из-под масок торчали парики из травы. За браслетами на предлукье — пучки той же травы. На спины свешивались зеркальца или большие раковины. С поясов сзади свисали лисьи шкуры.

Теперь на них были хлопчатые юбки, изукрашенные зелено-красным прямоугольным орнаментом. Под коленями позвякивали погремушки; правая рука сжимала лук, а левая — сухую тыкву на рукоятке. Когда они взмахивали рукой, раздавался сухой треск. Барабанчики вырядились в перепоясанные рубашки, а брюки заправили в высокие сапоги с перьями.

Руки танцоров были раскрашены, как перчатки, торсы — как майки. Плечи пересекали красные перевязи — и все, очевидно, имело смысл. Но какой?

Несмотря на наряд, танцоры были хопи как хопи: приземистые, с кубическими телами без талии и без шеи, с мощными плечами. Но обнаженные их торсы меня поразили: тучные, с многочисленными складками жира. Лишь четверо последних — подростки — выделялись стройными фигурами. Перехватив мой взгляд, Виктор шепнул:



— Типичные бедняки. Бросовая пища. Сидячая работа — все качины режут. — Он опасливо оглянулся, хотя в этой толпе никто не мог понять нашего языка.

Распорядитель-«председатель» что-то произнес нараспев, и все стали по очереди поворачиваться, топя левой и правой ногой. Он шел внутри подковы и перед каждым сыпал кукурузу. И еще ходила женщина в одеяле и прямом белом платье-рубашке с узорами (но при том в чулках и туфлях совершенно не индейского вида) и тоже сыпала желтые зерна, но — с наружной стороны подковы.

Топ-топ, команда, поворот. Топ-топ, поворот. Монотонно бьет барабан. Это может длиться вечно. Это может вдруг оборваться сейчас.

Наши новые знакомые из Финикса оставались: библейские параллели требовали углубленного изучения и много времени. Мы молча пожали руки.

Надо было торопиться, чтобы, покинув Страну хопи, пересечь земли навахо до сумерек.

Кюсото

В октябре 1959 года, окончив скромное военно-учебное заведение на Кавказе, я получил предписание «убить в город Йошкар-Ола в распоряжение командира в/ч №...». Я убыл — через Ростов, Лиски, Пензу и Казань — и утром одного холодного дня вышел на йошкар-олинском вокзале. В часть звонить было еще рано, и, чтобы убить время, я обошел зал, подолгу останавливаясь у любого объекта, заслуживающего внимания. Через стекло закрытого газетного киоска виднелись газеты «Марий коммуна», «Рвезе коммунист» и какой-то журнал, судя по рисунку на обложке — юмористический. Слегка изогнув шею, я прочел его название: «Пачемыш» и начало призыва: «Депутат йолташ-влак...» Дальше видно не было, но внизу был русский перевод: «Товарищи депутаты...» Недавно прошли выборы, и, очевидно, депутатам Верховного Совета республики с мягким юмором рекомендовали сидеть — не советь. Стену украшала этнографическая картина: на берегу реки муж-

чина в косоворотке играл на волынке, другой — на гусях, а рядом стояли улыбающиеся девушки в белых коротких платьях и очень пестрых передниках.

Я вышел на обширную, продутую ветром площадь, пересек ее и попал к казенного вида зданию с вывеской: «Марийский калык хозяйствоын советше» — было самое время совнархозов. Слева, у автобусной станции, стояли несколько человек: двое мужчин в ватниках и сапогах и три женщины — тоже в ватниках. Но из-под ватников виднелись пестрые передники и белые подола платьев. Все совсем как на картине, хотя и чуть-чуть менее живописно. Поразило меня другое: высоко открытые женские ноги опутаны были толстыми онучами и перевиты лыковыми шнурками, поддерживающими лапти. На картине вместо лаптей нарисованы были изящные красные сапожки. Я и не предполагал, что кто-то еще ходит в лаптях. В раннем детстве, правда, я и сам бегал летом в лапотках за отсутствием другой обуви. Но то была война и эвакуация...

Через час за мной приехала машина, и началась служба — даже не в самом городе, но рядом. В Йошкар-Олу я попал не часто, но многое запомнилось, особенно деревенские марийки, поголовно ходившие тогда в национальных одеждах с красным нагрудником, расшитым старинными монетами и нездешними ракушками-каури. Платок обтягивал голову почему-то не округло, а остроконечно.

...Лишь много лет спустя, оказавшись в Венгрии, я увидел в музее остроконечные деревяшки, которые замужние женщины подкладывали под платок, и вспомнил, что марийцы и венгры — родственники, хотя и дальние. Дальние-то дальние, но когда я рассказал в Будапеште, что марийский колхоз рядом с нашей частью назывался «У илыш» — «Новая жизнь», а по-венгерски то же — «Уй элет», у моих хозяев потеплели глаза...

Глаз фиксировал странное тогда для меня сочетание рыжеватых русских волос и светлых глаз с широкими скулами и монгольской складкой-эпикантусом. Многие, впрочем, выглядели совершенно по-русски. Среди горожан в их стандартной одежде я марийцев чаще всего не различал.



Кое-кто из коренных жителей края служил и работал в нашей части. Я любил с ними поговорить и отметил, что даже самые малообразованные из них хорошо знали о родстве своего языка с финским. Каждый мог назвать несколько сходных слов. Про венгерский, правда, знали поменьше.

Из-за резкой смены климата я заболел воспалением легких и долго лежал в санчасти, настолько ослабев, что не мог читать, а потому целыми днями слушал радио. И слова передачи врезались в память — даже на непонятном языке. Впрочем, настолько ли непонятном? «Йошкар-Ола ола... Коренным образом изменятленна положенийже Кугу Октябрь Револуций вара. Республикишто полный да неполный средний образований...» Звучало странно.

Местное русское население рассказывало о мариЙцах разное. Многие называли их за глаза черемисами — до революции это было официальным наименованием, но после утверждения самоназвания — «мари» — приобрело несколько уничижительный характер. Думаю, что употреблявшие это слово вряд ли хотели оскорбить своих соседей — просто в этих местах говорить так было привычнее, и все же в присутствии мариЙцев старались его не употреблять. Но все сходились в одном: мариЙцы — народ трудолюбивый и безобидный («сами-то в драку никогда не полезут») и очень упрямый. Говорили еще, что избы их не всегда, скажем так, отвечают правилам современной гигиены, но что мариЙцы очень гостеприимны и всегда держат хлеб и воду, а то и молоко для случайного гостя.

Еще одна деталь меня поразила, но в ней сходились все рассказчики:

— Уж как порчу-то они напускать умеют, если очень им досадить. И как снять-то знают! Вылечат, все ведь травы тут наизусть изучили. Только чтоб не подумали, что ты над ихней верой смеешься...

— Их верой? Да разве ж они не крещеные?

— Крещеные-то крещеные, а свою веру про себя держат, а и перед нашей иконой свечку ставят... Все равно свой Кереметь им ближе.

Из всех марийских богов они знали лишь злого духа Кереметя.

Летом того же года во главе подразделения в составе рядового Павленко я убыл, согласно приказу командования, в деревню Маръял на предмет обеспечения радиосвязи во время проведения учений. Развернув станцию, я оставил Павленку дежурить, а сам пошел знакомиться с местной интеллигенцией: следующий — и главный — сеанс ожидался лишь утром после тревоги. «Тревогу» у нас всегда объявляли к подъему.

Местную интеллигенцию представлял учитель начальной национальной школы, молодой парень, недавно окончивший педучилище. Он оказался не только действительно интеллигентным, но и очень охочим показать и рассказать все интересное в родном селе.

Разговаривая с приятностью, мы обошли деревню и вышли за околицу. Рощица в некотором отдалении привлекла мое внимание. Мне показалось, что она имеет правильную круглую форму. Подойдя ближе, я заметил на некоторых деревьях яркие тряпочки, кажется, привязанные к стволам.

Я сделал еще шаг, но учитель придержал меня за руку.

— Не надо туда кодить, — произнес он с проступившим вдруг резким акцентом, — марийцы этого не любят.

Я остановился, вопросительно взглянув на него.

— Кюсото. Священная роша, — и, как бы поборов смущение, тихо закончил: — Наша.

Новости из Марий Эл

Тридцать пять лет прошло с той поры. Я окончил университет, выучил один угро-финский язык и получил неплохое представление о другом — финно-угорском, сделал скромную работу об этногенезе — происхождении — венгров и провел не один месяц в отличном Будапештском этнографическом музее. Говорю об этом с одной целью — чтобы объяснить причину острого интереса к некоторым событиям в республике Марий Эл — некогда столь близкой



мне Марийской АССР. Они не могли оставить равнодушным человека не чуждого финно-угроведению.

Но «не чуждый» — это далеко не то же самое, что занимающийся конкретно марийцами. Занимайся я этой темой конкретно, никогда бы не взял на веру обширную статью в некоей газете — назовем ее «Н. газетой». Статья, подписанная двумя спецами — московским и петербургским, подробно и убедительно сообщала, что язычество провозглашено государственной религией Марий Эл; что поддержали это луговые марийцы и в штыки приняли горные, издавна очень православные; что ностальгия по Казанскому ханству, куда входил и Марийский край, жива и по сей день, а посему образование, полученное в Казани, ценится куда выше, чем московское и петербургское. Короче, я заглохнул наживку. Я очень захотел в Йошкар-Олу.

...Забегая вперед, скажу: я предполагал, что отдельные люди врут. И отдельные газеты тоже. Но чтобы наврать все (прописью: ВСЕ) — такого я не мог себе представить. Прежде всего потому, что не могу понять: зачем?..

Первый же ушат холодной воды вежливо вылил на меня марийский ученый, с которым я консультировался перед поездкой и который мне очень помог. Я спросил:

— Вы горный мариец или луговой?

— Я этого деления не признаю, — сухо зато ответил он.

Но ведь в любом справочнике написано, что существуют два марийских языка: горный и луговой. В самом свежем, правда, чуть иначе: «Марийцы, мари, марий (самоназв.), черемисы (устар. рус. назв.) — народ финно-угорской языковой группы. Числ. в Рос. Федерации 643,7 тыс. чел. Числ. в Респ. Марий Эл 324,4 тыс. Подразделяются на 3 субэтнич. группы: горные, луговые и восточные...»

Цитировать не имело смысла: он сам это и писал. Но удивление я выразил. Он возразил:

— Субэтнические группы — не разные народы. Вы, очевидно, «Н. газету» читали?

Я с гордостью признал это. Он глубоко вздохнул: в отличие от меня, «не чуждого финно-угроведению» человека, он — представитель народа, изучением которого занимается. И мы поговорили. Обо всем. О «Н. газете». О предпоч-

тении казанского образования. «Дак оно понятно: ехать близко, на выходной и домой когда приедешь», о язычестве — никто не провозглашал его государственной религией, просто общество «Ошмарий чимарий» — «Белая марийская вера» зарегистрировано. В Москве. Как общественная организация. В заключение беседы он позвонил в МарНИИ — Институт истории, этнографии и языка. Это мне очень помогло.

Ясным майским утром я вышел на йошкар-олинском вокзале. В МарНИИ звонить было еще рано. Я с удовольствием остановился перед давней знакомой — картиной в вокзальном зале. В газетном киоске лежали газеты «Марий Эл» и «Кугарня»; лежал юмористический журнал «Пачемыш»: на его обложке изображен был зал заседания Кугыжаныш Погына, Государственного собрания. «Депутат тора-влак! Господа депутаты», конец подписи и на этот раз был закрыт. Не торопясь я побрел через город в гостиницу. Эта часть столицы стала совсем иной — многоэтажной, с троллейбусами, с почти по-московски одетыми людьми. И у автобусной станции стояли люди без малейших этнографических признаков. Становилось ясно, что памятной мне деревянной, почти уездной, со следами старого Царевококшайска Йошкар-Олы не осталось. А она была по-своему уютна, как живописны были и сельские марийки в лаптях, передниках и расшитых монетами шымакшах. Правда, нынешняя столица Марий Эл показалась мне тоже уютной и чистой. Но другой.

Наверное, я много времени отнял у сотрудников МарНИИ, люди они занятые: одни из них собирались в Финляндию и переводили доклады (правда, на индоевропейский английский язык), другие же, вернувшись из Финляндии, писали отчеты. И не было кабинета, где не лежала бы на столе ксерокопия статьи из «Н. газеты». В Йошкар-Оле ее выписывали мало, и все оттиски пришли из Хельсинки, Тарту и столицы венгерского угро-финноведения города Сомбатхей. Тамошние специалисты «Н. газету», наоборот, выписывали, считая солидной и объективной, и, прочитав статью, пришли в радостное оживление и тут же написали йошкар-олинским коллегам. Перехватывая мои взгля-



ды, обращенные на ксерокопию, сотрудники МарНИИ горестно вздыхали. Им надоело объяснять и даже вспоминать этот труд.

Я очень благодарен этим людям, похожим на сельских эстонцев: светлые волосы, голубые глаза, выпирающие скулы. И такая же невозмутимость и терпение при общении с человеком, изводящим их вопросами. Вопросы же мои могли показаться и бестактными. Ну что вы скажете человеку, который, едва познакомившись, тут же спрашивает:

— А вы мариец? А по-марийски говорите? А ваши дети с вами как говорят?

Я поставил перед собой две цели: выяснить отношение к язычеству и узнать — сколько же языков у народа мари.

В первый же день я встретился с народным целителем, очень уважаемым в республике. Целитель заодно осмотрел меня, помассировал болевшую руку, время от времени вдывая мне в рот воздух, приговаривая что-то по-марийски и заключая каждый период словами: «...раба Божия Льва». Мое имя он знал: в свое время мы защищали диссертации в один день и в одном месте.

Он читал заклинания и излагал свои мысли:

— Язычество наше созрело для реформации. Организовать его нужно, организовать. И кажется мне, что есть уже реформатор.

На прощание он точно поставил мне диагноз.

Говорил я с художником, выпускником Петербургской Академии художеств. Человек он молодой, у него трое маленьких детей.

— Недавно, — говорит, — всех троих крестил, нехорошо как-то без Бога. Мы-то марийцы моркинские, у нас в церковь ходят. Но в рошу тоже. А вот теща у меня — сернурская. Мы к ней на праздник ездим — Шорык йол называется, Овечья нога по-нашему. Значит, икону вешают, перед ней большую свечу ставят, чистый воск, руками катанная. Еще одну свечу — перед домом. Привязывают овцу и водой поливают. Овца-то вздрагивает, так смотрят — куда брызги пойдут: от этого весь успех зависит. Налево — дак одно, направо — другое дело.

— А икона зачем?

— Теща говорит: раньше вешали, чтоб урядник, если заедет, не понял, что тут языческий обряд творят.

Уж сколько лет, как урядников нет, почти сто, а привычка осталась.

У другого художника — очень заслуженного человека — дед был церковный староста, мать пела в хоре. Это уже Горно-Марийский район, там православие много раньше приняли. Но два раза в год — это художник помнит — ходили к источнику, приносили жертву.

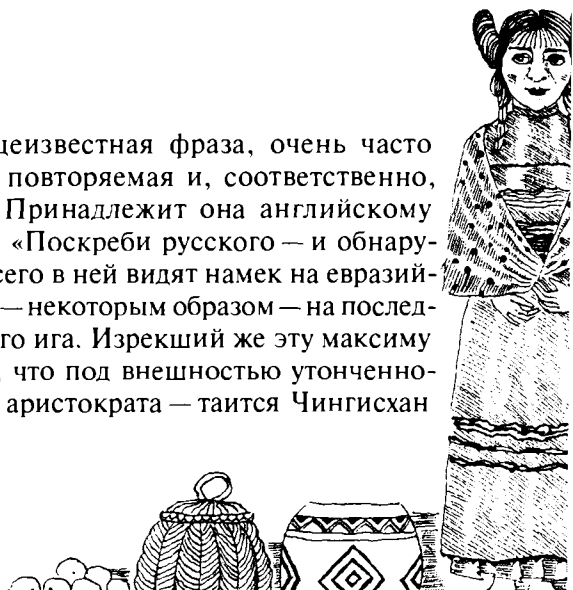
— А вы как считаете: есть два языка или один? — спрашиваю.

— Ну, даже если это диалекты, пусть хоть будут две литературные нормы. Наше наречие все-таки сильно отличается. У нас и звуки есть, которых луговые мари и произнести не могут. На Общемарийском съезде мы только начнем об этом говорить, луговые собратья нас аплодисментами захлопывают. Так ни до чего и не договорились.

Я понял, что ничего не понял. Но понял, что по обоим вопросам нужно встретиться с наиболее знающими людьми. Или по крайней мере с такими, которые решатся ответить. Но перед тем как рассказать читателю об этих встречах, я позволю себе — в самой краткой форме хотя бы — пролить свет на судьбу финно-угорских народов России, ибо только в этом контексте может стать яснее судьба небольшого, но стойкого и упрямого народа мари.

Финно-угры

Существует одна общеизвестная фраза, очень часто по разным поводам повторяемая и, соответственно, по-разному толкуемая. Принадлежит она английскому литератору и звучит так: «Поскреби русского — и обнаружишь татарина». Чаще всего в ней видят намек на евразийское положение России и — некоторым образом — на последствия татаро-монгольского ига. Изрекший же эту максиму англичанин имел в виду, что под внешностью утонченно-го европейца — русского аристократа — таится Чингисхан



или Тамерлан. Он знал, что такое крепостное право и то, как владельцы крепостных обращались со своими подвластными.

Но, привязавшись к этой широко известной и неверно понимаемой фразе, мы предложили бы ее несколько — научно более обоснованно — переиначить. Скажем, «Поскреби многих русских — и обнаружишь финна» и — не менее обоснованно — «Поскреби татарина — и обнаружишь то же». Мы, конечно, имеем в виду не Чингиса и не Батыя (те, собственно говоря, в современном понимании не татары, а монголы). Речь идет о поволжских татарах: крестьянах, мелких торговцах, ремесленниках.

Восточные финны — мордва, марийцы, удмурты, коми — не составляют большинства даже в своих республиках. Зато разбросаны — и очень обильно — по всем окружающим областям. За редчайшим исключением (говорят, таким был город Глазов в Удмуртии) они меньшинство в городах.

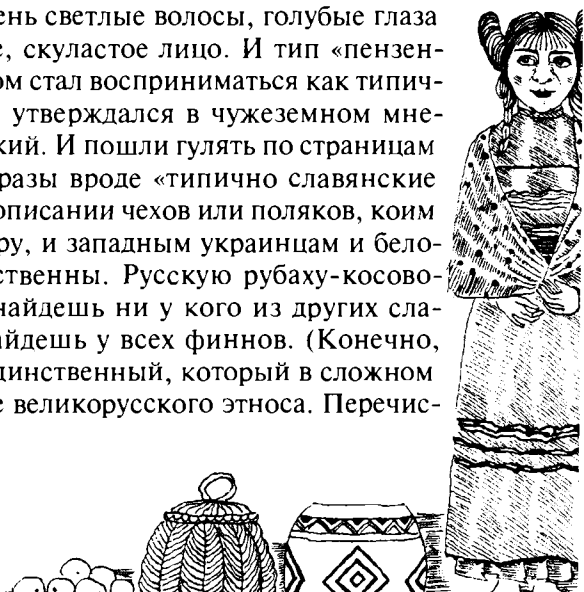
Ибо такова уж была историческая судьба восточных финнов: количество их сокращалось, увеличивая, однако, численность других народов.

Когда-то финно-угорские народы населяли обширнейшую территорию, поросшую лесами, — практически всю северную часть европейской России, доходя к югу до устья Камы. Занимались финно-угры земледелием и охотой, и поселения их были сильно разбросаны. Нигде они не создали государств — о причинах этого можно было бы рассуждать долго и спорить еще больше, но это не позволяет не только размер настоящих заметок, но и то, что в нашу задачу это не входит. Нам важен результат: не имея государств, следовательно, нужных для своей защиты армий и всего прочего, свойственного государствам, они стали входить в состав соседних организованных и постоянно расширяющихся держав.

Платили они дань хазарам (потому и первые упоминания о них в письменных документах сделаны на языке иврит — государственном в Хазарском каганате — и, увы, как там принято, почти без гласных: «црмс» — «черемисы», «ариза», «мкша» — эрзя и мокша), булгарам, входили в состав Казанского ханства и — в последние несколько

сотен лет — России. На земли их устремились переселенцы из различных русских княжеств и областей, причем заселение это чаще всего бывало мирным, ибо славяне и финны уживались на обширных и слабозаселенных пространствах. Со временем крещение, письменность, более высокая городская культура, принесенные русскими, вытесняли местные языки и верования, огромное количество людей начинали чувствовать себя русскими — и действительно становились ими. Иной раз для этого достаточно было креститься. Писали же крестьяне мордовской деревни в своей челобитной: «Предки наши, бывшая мордва», искренне полагая, что только предки-язычники были мордвой, а вот уж православные потомки никак к мордве не относятся. Шло смешение, переселялись люди в города, уезжали далеко — в Сибирь, на Алтай. Язык у всех становился единый — русский, имена же и фамилии после крещения ничем (или почти ничем) от обычных русских не отличались. И кто впоследствии обращал внимание на то, что в фамилиях вроде Шукшин, Веденяпин, Ведев или Веденкин ничего славянского в корне нет, а есть или название племени — «шукша» — или слово «вода» — «ведь»? Каких, в конце концов, фамилий не бывает! Да и звучит — прислушайтесь! — Веденяпин или Пияшева куда как более по-русски, чем, скажем, Вилленбахов или Асламазов.

Но, растворяясь в массе русских, составив среди них весьма заметный процент, финны распространили свой антропологический тип: очень светлые волосы, голубые глаза и — зачастую — широкое, скуластое лицо. И тип «пензенского мужичка» во многом стал восприниматься как типично русский. А иногда и утверждался в чужеземном мнении как вообще славянский. И пошли гулять по страницам западной литературы фразы вроде «типично славянские выпуклые скулы» — при описании чехов или поляков, коим эти скулы, как, к примеру, и западным украинцам и белорусам, вообще не свойственны. Русскую рубаху-косоворотку, лапти, баню не найдешь ни у кого из других славянских народов. Но найдешь у всех финнов. (Конечно, финский элемент — не единственный, который в сложном смешении лег в создание великорусского этноса. Перечис-



лять их можно долго, но, конечно, славянский элемент — самый мощный. Русские — несомненно, один из величайших народов мира и, наверное, самый великий — по вкладу в мировую цивилизацию и влиянию на судьбы мира — из славянских народов. Но происхождение их очень смешанное. И финский элемент тут весьма заметен.)

Какая-то часть угро-финнов отатарилась: приняла ислам, татарский язык, мусульманские имена. Они тоже совершенно забыли о своем происхождении. Этот процесс шел совсем в не столь благоприятных условиях, как распространение православия и русского языка. Законы Российской империи категорически запрещали обращать язычников в любую другую веру, кроме государственной. Наказание за это уголовное (именно: уголовное) преступление было весьма суровым. Да и мечеть татары даже для своих нужд имели право строить только с разрешения казанского архиерея. Архиерей же такового разрешения — особенно в марийской деревне, где поселились несколько татарских семей, — никогда бы не дал, учитывая особую страсть казанских татар к распространению учения Мухаммеда. Однако татары, поселившись, могли иметь молитвенное помещение и при нем — школу. Для своих детей, разумеется. Но они весьма радушно привечали там сыновей зажиточных марийцев: учиться письму, в конце концов, никому не запрещено.

В сознании же многих народов Поволжья прочно укоренился образ татарина — удачливого и образованного купца. Детей посылали в школу, чтобы они обучились всем татарским премудростям. Окончивший ее обычно предпочитал говорить по-татарски — на «городском» языке, принимал ислам. Через два поколения вся деревня становилась мусульманской и татароязычной. Разве что старики еще говорили между собой по-марийски и ели иногда свинину, но за пазухой уже носили татарскую ермолку-тухью, чтобы, встретив какого-нибудь ревностного мусульманина (из своих же молодых), быстро натянуть ее на макушку, благочестиво произнося: «Ас-салам алейкум!» Так же бывало и с мордвинами, и с удмуртами.

Не потому ли среди наших соседей татар так много светловолосых и голубоглазых, да и чертами лица ничем не отличающихся от поволжского мужичка?

Не будем разбирать всех причин, но языки восточных финнов звучали только в деревне или в первом поколении городских жителей. Второе, родившееся в городе, говорит обычно только по-русски.

Все сказанное выше вполне относится к мордве и к удмуртам, к коми и к марийцам.

Разве что марийцы яростнее всех сопротивлялись присоединению края при Иване Грозном, упорнее всех держались своей веры. Еще в те далекие времена родилась пословица: «Слева черемиса, справа берегися!» Летописец пишет, что «реки красны стали от черемисской крови». В XVI веке заложен был на высоком берегу Волги город Козьмодемьянск и возведен первый храм. В основание его положили связанного марийского старшину — на глазах согнанных со всех окрестных деревень марийцев-черемисов.

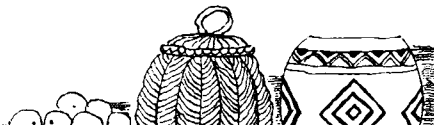
Прошло несколько десятков лет, вспыхнуло восстание Стеньки Разина, и опять марийцы «учинили яростный бунт». И вновь записал летописец фразу о цвете воды в здешних реках. Но снова началась война — на этот раз Пугачевская. И опять... Потому-то до самого 1917 года марийцам было запрещено жить в городах и заниматься торговлей и ремеслом.

Эту правду следует знать, чтобы понять, почему в наш век марийцы вошли почти поголовно неграмотным деревенским народом.

И почему даже у крещеных деревень оберегали священные языческие роши, и почему часть народа ушла на восток — в Башкирию, чтобы только не креститься.

Карт Якимов

В первый же мой день в Йошкар-Оле мы с искусствоведом Владимиром Кудрявцевым, взявшим меня под свою опеку, поехали к жрецу, по-марийски — карту — Якимову. Телефона у жреца не было, но на троллейбусе мы



добрались до квартала пятиэтажных домов, где он проживает. Как и предполагал Владимир, карта дома не оказалась — время было окучивать картошку, но мы долго переговаривались через дверь с его супругой. Переговаривался Владимир — разговор шел по-марийски, и о чем они говорили, я не понимал, хотя и догадывался по некоторым оборотам: «Москва гыч, журнал гыч». Из-за двери отвечали очень внятно, видать, супруга карта стояла у самой филенки. Я услышал, как она сказала: «Тудо ойла чужих не пускать». Дверь приоткрылась, и Володя, быстро написав записку, передал женщине. Он просил карта Алексея Изерговича зайти ко мне в гостиницу в ближайшее воскресенье, к шести.

Ровно в шесть назначенного дня я спустился в вестибюль, и в тот же момент с улицы зашел высокий худой мужчина в соломенной шляпе без ленточки и светлом плаще. Мы посмотрели друг на друга и пожали руки. Потом поднялись в номер, карт снял плащ. Под пиджаком у него была рубашка-вышиванка совсем украинского вида, но с марийским угловато-крюкастым орнаментом. По сходству с украинской я прозвал про себя его рубашку «угрофыночкой».

Это был второй жрец в моей жизни — с первым я встретился довольно давно в Индии. Но тот был поэкзотичнее: ситцевая юбка, голый торс со шнуром дважды рожденного через плечо, краска на лбу. Лицо у него было обычное европейское, весьма интеллигентное.

Здесь жрец, кроме «угрофыночки», никаких знаков экзотики не нес. Но лицо его тоже выражало любознательность. Мы выпили чаю для завязывания знакомства, и он несколькими вопросами прошупал меня: кто я, да откуда, да с какой целью. Мало-помалу мы разговорились. Говорил он по-русски правильно (разве что иногда мог сказать «сукой» вместо «сухой» или «тавно», а не «давно»), тем говорком, который обычно называется вятским, при этом с таким точным и круглым «о», которое особенно не дается неуро-финнам, потеющим над венгерским произношением. Передать его приятную уху фонетику я, конечно, на письме не могу, поэтому время от времени буду себе позволять писать прописными буквами те звуки, которые особенно

выделялись. К примеру, рассказывая об обрядах, он упомянул кровяную колбасу — сока.

— Сокта-а! Ох... Вкусная-то, сытная. — Он откинулся в кресле, и лицо его выразило высшую степень наслаждения.

Я спросил, что за отчество у него — Изергович, у марийцев ведь в основном обычные русские имена, иной раз — архаичные.

— Имя-то? Марийское, «изи ерге» — «маленький сын», мы-то чи мари — настоящие, некрещеные. А у меня имя — русское. Деда вот тоже Григорий звали, я-то его по-нашему звал: Корий-кугызе, дед Гриша. А отчество-то у него тоже марийское: Яшпатрович. Вообще-то вы запишите: духовный глава. Так запишите: Алексей Изергович Якимов, Ошмарий Чимарий Шнуй Он — духовный глава Белой марийской веры.

Я послушно записал. В вопросах традиционной марийской духовной иерархии я не разбирался. И как выяснилось впоследствии, не разбираюсь и ныне. И, кажется, не только я. Я спросил:

— А вы разве не карт?

— Карт, — любезно подтвердил Алексей Изергович, — я моленье провожу. А всю жизнь-то электриком работал, да, Братск строил, Усть-Илимск.

Я опускаю свои вопросы и передаю рассказ шнуй она Якимова Алексея Изерговича.

— Карт-то у нас он не как духовное лицо, семинарий не кончал, а всё в семье. Корий-кугызе, дед-то мой Григорий Яшпатрович, верующий был, всегда молился, степенный, хозяин хороший — так люди его и уважали. Молитвы все знал, какому богу какую жертву, да когда молиться надо. У нас молятся только по понедельникам, пятницам и воскресеньям, да и то только в полнолуние или в новолуние. Главных богов девять: верховный бог Кугу Юмо, Серлагыш-хранитель, Мер Юмо, Пуршо, Шогынава, Кече Юмо, Илыш Шочынава, Мланде ава — богиня земли, изобилия всякого, еще бог святой горы — Курык кугыза. Да разные еще, но эти — главные. Еще у них у каждого — семейство свое, или, еще, так сказать, аппарат, посредники всякие.



Пыамбар — скот бережет от нечистых сил, Водыж при боге огня работает.

— А Кереметь? — спросил я, имея в виду злого духа.

Жрец замахал руками:

— Какой Кереметь? Какой Кереметь-то? Шырт — вот это кто, ОзОрник. Так и ему жертва есть, только под елью — кролика ему. А главным-то посолиднее. Кугу Юмо — ему лошадь, гуся тоже. Пыамбару — бычка. Мер Юмо да Илыш Шочынаве — овечку или телку. Водыжу — зайчика. Да сейчас-то больше гусей да уток жертвуют. На большое моление, правда, овцу, телок когда приведут.

Первое у нас моление — семейное. Обычно — осенью. Но семья молится одному богу, определенному. Тут карт-то не обязателен, глава семьи все делает, он и дерево семейное знает (только не хвойное!). В конце лета, всей деревней выходят в рошу. Потом поглавнее — тиште кумалтыш — родовое моление. Из разных деревень люди приходят, все — одного рода семьи. А раз-то в три года всем миром молятся — это мер кумалтыш. А самое главное — туня кумалтыш, тут все мари́йцы собираются, из Москвы, Ленинграда приезжают. Раз в пять лет, в определенном мольбище, их в республике-то по одной руке сосчитаешь.

Карты собираются, определяют время и место, рассылают по разным деревням палочки такие липовые: там родовой знак и значки — кому сколько да какого скота доставить. Теперь-то пишут.

Идут в рошу, порядок наводят, дрова готовят, стол сооружают из молодых елей. За день до того в бане моются, дом убирают, хлеб-шергинде такой особый пекут, квас варят. Утром-то рано встанут, хозяйка блинов испекет — поесть-то надо, день-то, ох, долгий будет. А потом пышные блины пекет, да в каждом тремя пальцами ямки делает — глазки. Как их в жертву приносить — дак сначала глазки вырезают.

И все идут в рошу. Там карт в белой мари́йской одежде в пяти случаях пять молитв читает.

Зарезанное-то все в котел, варится там, пока бульон, леи по-нашему, наваристый не станет. Кишки бараньи промывают, туда кашу, сало, кровь. Сокта! Как колбаса такая — поесть-то мари́йцы умеют! Мясо-то кипит, гуся —

сало вытапливается — снимают, все в кашу. Ох, вкусная, сытная.

...Фотохудожник Валерий Кузьминых, который бывал на молениях, объяснил мне потом, что «пышные блины» — это лепешки. Его и нескольких других русских на моление принимали сердечно, но попросили уйти, когда стали резать животных, а потом снова позвали. Когда же все сварили, очень гостеприимно угощали.

— Я вареной гусятины поел и блинов, — сказал он, — а каша слишком уж жирная. А вот все знакомые городские марийцы, когда детство вспоминают, особенно по этой каше тоскуют...

Карт продолжал:

— Потом в лесу все сжигают, чтоб и сору не осталось. Пищу-то домой несут. Ею посторонних угощать нельзя, кости и то в отдельную посуду собирают, потом на месте очага на мольбище сжигают.

А я вам еще чего скажу: попроси рубашки расстегнуть, дак у всех почти кресты будут. Нам, картам, это не нравится, но мы никому не запрещаем. А с нашей-то верой в церковь разве можно? Я вот в деревню приезжаю, поп увидит — дак как меня встречает? «У-у! — кричит. — Опять приехал!» Наши боги-то природные. Как кто хочет, так пусть и молится. Я свое призвание и многое, чего знаю, во сне увидел. Пока во сне не увидишь — не быть тебе картом.

Многое из того, что говорил Алексей Изергович, показывало, что он следит за религиозной литературой, особенно за добросовестно сделанными и подробными справочниками из тех, что выходили у нас под фиговым листком «Библиотечки атеиста». Я попросил его помолиться при мне, если это вообще можно. Он с сомнением покачал головой, но потом сказал, что одну слабенькую молитву прочтет. Мы встали, и он зачитал речитативом. Мне показалось, что в чтении он подражает напеву дьякона в церкви: сначала скороговоркой, а потом — конец периода — звучным и ясным голосом.

Молитву он закончил словом «аминь». Я — все-таки человек в этнографической литературе начитанный — эхом отозвался: «Бисмилля!»



— Вы прямо как мариец настоящий, — похвалил Якимов.

Я не удержался его поддеть.

— Мариец настоящий, говорите? А что ж вы молитву по-русски кончаете: «Аминь», а верующие по-татарски отвечают: «Бисмилля».

Карт торжествуяще поднял палец:

— А вот и нет! «Аминь»-то — не по-русски, а по-еврейски, а «бисмилля»-то — не по-татарски, а по-арабски. А на этих-то языках все молиться имеют право.

И я убедился, что современный марийский карт подготовку получает не только в семье. И учил его не только дед.

Профессор

Неулыбчивая горничная на этаже, когда я пришел попросить чайник, спросила:

— Это к вам чимарий пришел? — И услышав, что да, сказала: — Сидите спокойно, сама принесу, да што. Сахару-то надо?

Ученый, что помогал мне установить связь с институтом, оспорил некоторые положения рассказа шнуй она — да и сам его титул. Я не стал в этом разбираться: я не мариец, чтобы судить, кто прав более, кто менее. Хорошо, что языческих молений в республике не только уже не запрещают, но даже и отвели для них в столице рошу. Но меня интересовало другое: жива ли Белая марийская вера и не занимаются ли ее возрождением одни лишь доктора филологических и других гуманитарных наук.

С доктором и профессором я встретился позже. Мне, наверное, очень повезло: после нескольких переговоров по телефону меня согласился принять крупнейший специалист по марийскому языку. Кстати, до встречи я не мог точно сказать: по языку или по языкам? Вообще-то я и после встречи не могу ответить на этот вопрос. Для профессора же все ясно: по языку, одному языку. Я не могу ему не доверять. Скорее всего таких специалистов по ма-

рийскому языку и в США-то не более двух-трех найдется. Да что там США! Я думаю, что и в Хельсинки таких не так уж много, да еще есть кто-нибудь в Тарту. Кстати, именно там мой собеседник окончил аспирантуру и эстонским владеет, как русским, а русским — как обоими родными: марийским и татарским. Уже по этому можно было догадаться, что он — восточный мариец, родившийся в Башкирии. Я встречал таких еще несколько человек, и все они владели татарским, но почему-то никто — башкирским.

Времени у профессора было четверть часа: начиналось заседание кафедры, и он предупредил меня об этом. Но как-то так получилось — может быть, он обнаружил во мне благодарного слушателя, — что проговорили мы часа два. Входили и уходили люди, что-то спрашивали, хозяин кабинета отвечал, звонил телефон. Все разговоры шли только по-марийски, и это было единственное официальное место в Йошкар-Оле, где преобладал этот язык. Некоторые, видя приезжего, начинали по-русски, но мой гостеприимный хозяин не принимал этого. Очевидно, он догадался, что мне приятнее послушать его родной язык, а внутренние дела кафедры меня не очень занимают. Он был прав: для моего уха язык звучал приятно и мягко. Иногда в нем слышались знакомые слова: «Неужели?», «Конечно». Еще чаще я улавливал непонятное «юра!» и сначала даже подумал, что это — имя собственное, уменьшительное, но поскольку его произносил каждый говорящий, а профессор особенно аппетитно и часто, я не выдержал и спросил, что это за «юра».

— Не «юра», а «йора», «о» с двумя точками — умляутом, в русском языке такого звука нет, — отвечал профессор, — значит: «ладно».

— Йора! — согласился я, пытаясь голосом обозначить умляут. — Можно я спрошу: вы на горном марийском говорите или на луговом?

— Язык у нас один! — отрезал профессор. — Есть, конечно, диалектные различия. — И он разъяснил мне, что марийские диалекты плавно переходят один в другой. — Язык должен быть один.

Не уверен, что я все правильно понял, но главное заключалось в том, что два крестьянина-марийца, встречаясь,



никогда не интересуются, кто из них горный, а кто луговой, а называют себя марийцами без эпитета и без труда объясняются. Разве что иногда произношение одного покажется смешным другому, а если и встретится непонятное слово — всегда можно объяснить по-русски.

Я вспомнил, что много лет назад в Литве профессор Бальчиконис объяснил мне, что, хотя в литовском языке три диалекта заметно различаются, но признать их языками можно было бы лишь в том случае, если бы на одном говорило миллионов сто, на другом — сорок, а на третьем — хоть десять. Но, заключил Бальчиконис, нас слишком мало, мы себе этого позволить не можем.

Профессор, снисходительно посмеявшись моему популярно-дилетантскому примеру, счел его для меня понятным и заметил, что марийцев — и того меньше. Логика его была безупречной. Увидев во мне человека, бывавшего в разных концах Советского Союза, он спросил меня по-эстонски, бывал ли я в Тартуском университете и видел ли академика Пауля Аристе. Я ответил, что да. Домодельность моего эстонского заметно пришлась ему по душе. Но за пазухой у меня припрятано было сильное оружие: венгерский, весьма и весьма почитаемый во всех финно-угорских кругах язык. Я перешел на венгерский.

— Не говорю, — сухо ответил по-венгерски профессор, и с этого момента мы говорили уже только по-русски.

Беседовать с ним было одно удовольствие. Речь коснулась перспектив марийского языка. Я спросил, почему в нем так много русских слов, взятых прямо со славянскими окончаниями. Нет разве своих?

— Например? — спросил профессор.

— Ну, к примеру «Марий-Эл республикаын нотариальный конторажо»? Только родов нет.

— М-да? А что же тут русского? «Контора»? Или «республика»? Или «нотариальная»? Русское — только окончание.

Он был прав. Я изменил тактику.

— А вот в стихотворении: «Москваыш первый пароход»?

— А-а... «Первый»... Этим увлекались комсомольские поэты. «Пайрем дене, отважный комсомол!» А «первый» — в языке есть свое слово — «икымже». Уже, — он на секун-

ду задумался, вертя пальцами, как бы любуясь игрой света в гранях алмаза, — с семнадцатого века!

Точность научных знаний меня всегда восхищала. Я вспомнил историю о японце Танаке Такаси, рассказанную мне учеными в МарНИИ. Люди с юмором, они рассказали ее так:

Г-н Танака Такаси, владеющий марийским, финским и — не родственным, но важным — английским языками, прибыл в Йошкар-Олу для совершенствования. Трудолюбиво выучивший язык по книгам и прочитавший всю марийскую литературу, г-н Танака намерен был за время стажировки говорить только на языке, которым очень увлекся. В Москве, Казани и даже на станции Канаш в Чувашии он обходился английским, но, попав в Йошкар-Олу, решил отказаться от чуждого индоевропейского наречия. И выйдя на главную улицу, обозначенную двуязычной надписью: «Ленинский проспект. Ленинский проспект», обратился по-марийски к первому же прохожему.

Надо сказать, что облачен г-н Танака был в полный современный самурайский доспех, включавший ослепительно заграничный костюм, не менее ослепительную шляпу и два фотоаппарата, и производил впечатление иностранца, каковым, впрочем, и был. Прохожий, остановленный г-ном Танакой, долго не мог понять — на каком языке тот изъясняется, во всяком случае, не принимая его за наречие, прочно записанное в сознании здешних горожан как деревенское, и, уж во всяком случае, не за то, на котором может — и должен! — говорить богатый чужеземец. Не добившись ответа, японский лингвист обратился — с тем же результатом — к продавщице киоска и к милиционеру. Самое занятное было в том, что страж порядка — родом из марийской деревни — тоже не смог распознать родную речь. Впрочем, тут, возможно, виной был сильный акцент ученого Танаки. Стали собираться люди, и, привлеченные, подошли колхозники из Сернурского района, возвращавшиеся с базара. И прислушавшись, один из них воскликнул:

— Да он марла (по-марийски) говорит!

С тех пор Танака Такаси, выходя в город, внимательно оглядывался, выделял в толпе носителей языка — тогда



еще многие женщины носили национальный костюм — и с их помощью достигал своих целей, как бытовых, так и лингвистических.

Поговорили мы и о возрождении марийской веры.

— Ну как же, — сказал профессор, — недавно мы проводили моление, карт его вел, а три человека в белых национальных одеждах — в том числе и ваш покорный слуга — предстояли и объясняли собравшимся смысл происходящего.

Нашу беседу прервал приход симпатичной дамы, тоже профессора. Мы пожали друг другу руки. Оказалось, что она читает наш журнал и знакома с моими публикациями. Это было приятно, тем более что и я был знаком с ее статьями: она придерживалась точки зрения на проблемы марийского языка прямо противоположной, нежели та, с которой меня только что ознакомили. Ее логика тоже была безупречной. Но, чтобы судить обо всем этом, мне требовалось — как минимум — знание марийского языка.

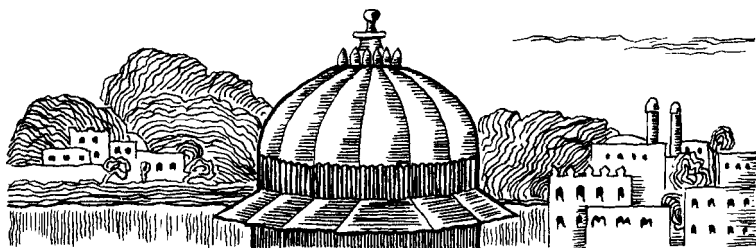
Интересно, что думают по этому поводу в деревнях Сернурского, Параньгинского и Мари-Турекского районов? И Горно-Марийского?

Этим я заканчиваю свои, не претендующие на полноту охвата записки. Я не делаю никаких выводов: я не знаю, какие выводы могут быть. Автор этих строк — не мариец, и не ему решать: получают ли оба наречия языка мари литературную и официально закрепленную форму; будет ли принимать присягу президента Марий Эл карт, священник или судья в мантии.

Но хорошо то, что решать это не будут люди далекие от жизни, языка и веры марийцев на основании лишь количества заявлений и подметных писем. Разовьют ли марийцы городскую культуру или останутся в подавляющем большинстве деревенскими — зависит только от них.

Главное, что упрямый народ мари не исчезнет.

Глава 6 Брахманы, которых я видел



Я видел очень много брахманов, только не всегда знал,
что они — брахманы.

Л. Минц «Брахманы, которых я видел»

Раджпуты и австралоид

Мы вылетели морозным вечером и всю ночь летели навстречу солнцу, а утром вышли из самолета в ослепительный и жаркий индийский день. Утро было на наших часах, а здесь из-за трехчасовой разницы пылал день. И это было единственным, что я мог заметить сразу, ибо ничего специфически индийского не было в длинном коридоре, куда мы попали сразу из самолета и по которому шли в зал пограничного контроля.

Но редко стоявшие в коридоре солдаты с тяжелыми длинными винтовками были, несомненно, индийскими — плечистые, черноволосые, смуглые, в форме английского образца. В зале за перегородкой сидели такие же военные и, получая паспорта, набирали данные на клавиатуре компьютеров.

Зазвонил телефон. Капрал оторвался от клавиш, поднял трубку и четко произнес, раскатывая твердое «р»:

— Корпорал Чопра. Кэптэн Чопра? Йес, сэrr! — И, повернувшись, крикнул: — Кэптэн Чопра, сэrr! Хирр'з колонел Чопра!

Подошел капитан Чопра и очень офицерским движением взял трубку:

— Кэптэн Чопра. — Он молодецвато глядел поверх наших голов и время от времени кратко бросал: — Йес, сэпп! Йес, сэпп! — И лишь один раз на хинди: — Ача, сэпп! Хорошо, сэп!

И положил трубку. Было очень приятно слышать этот разговор, в нем было что-то чуть ли не от киплингвской Индии: английская речь на индийский лад с этим раскатистым «р», даже известное из рассказов слово «ача», которое можно перевести и как «хорошо», и как «слушаюсь».

Военные были очень похожи на раджпутов — представителей воинской касты, как я их себе представлял. Кроме них, в зале был только один еще индеец: маленький, в рабочем мешковатом комбинезоне, почти чернокожий, с плоским носом и курчавыми спутанными волосами. Он стоял у входа в туалет, где, судя по всему, работал уборщиком, и махал нам рукой.

Не знаю, обратили ли внимание мои спутники (а нас была целая делегация по культурному обмену) на разницу между уборщиком и пограничниками, но я-то ее отметил сразу, ибо с этих мелочей и начиналось мое знакомство со страной, известной лишь по литературе, — узнавание усвоенного.

Об Индии пишут много и разнообразно. Существуют как бы два уровня: в широкой печати и в книгах. Считалось, что если страна дружественная, то и происходят там события прогрессивные и положительные, а проблемы и трудности существуют лишь со служебным наречием «пока». Отмахнуться от проблем совсем было невозможно, слишком долгие тысячелетия они копились, но хорошим тоном у очень плохих журналистов считалось писать примерно так: «Тридцатидвухлетний неприкасаемый Калидас, работающий уборщиком автобусной станции, живет пока еще трудно, но он уверен, что все его восемь детей увидят лучшую жизнь».

В книгах труднейшие проблемы, стоящие перед Индией, не замазывались, скорее, наоборот, как бы в противовес газетам, описывались столь подробно и основательно,

что у читателя создавалось впечатление, что груз традиций совершенно задавил ростки современности.

Научную литературу я в расчет не беру, ибо круг ее читателей достаточно узок.

В последнее время у Индии появились рапсоды, славословящие идеальную мудрость, гармонию жизни, единение индийцев с природой — некий идеал древнего самобытного пути. Благодаря ему страна вроде бы равно далека от пороков капиталистического Запада и искривлений социализма европейского Востока. Да еще все мы смотрели телевидение и бесчисленные индийские фильмы. Так что каждый из нас открывал для себя Индию на основе сложившихся уже представлений. Для меня, например, уборщик как бы сошел со страниц книги Л. Шапошниковой «Австралоиды живут в Индии». В ней автор убедительно доказывала, что древнейший слой населения страны относился к австралоидной расе; покоренные светлокожими индоарийскими народами, они составили низшие касты. И в других книгах по Индии я читал, что чем выше каста, тем светлее кожа.

Солдаты были светлокожи, с прямыми носами и карими глазами. Уборщик был мал, темен и плосконос.

Все мы слышали о кастовой системе. Гораздо меньше людей представляет себе, насколько она сложна и запутана. Если на вершине «чатурварнья» — «системы четырех варн» — стоит брахман — священнослужитель, за ним следуют кшатрий — воин и вайшья — купец, а в подножии пирамиды слуги — шудры, то это еще не значит, что у брахмана больше власти, чем у кшатрия, или больше богатства, чем у вайшьи. Сельского священника на Руси тоже именовали батюшкой и целовали ему руку и князя, и именитые купцы, а мог ли он сравниться с ними влиянием?

Каждая варна полна каст, подкаст и их разновидностей, как ящик комода бельем. И к тому же в систему чатурварнья не входят самые обездоленные — внекастовые, неприкасаемые, занимавшиеся (и занимающиеся) нечистыми с точки зрения индуизма занятиями: уборкой нечистот, обработкой кож, свежеванием падали. Ганди боролся против угнетения



неприкасаемых, он сменил это наименование на «хариджаны» — «божьи дети» (хотя теперь оно звучит примерно так же, как раньше «неприкасаемые»). Правительство приняло немало законов, охраняющих их. И, конечно, считать, что все нынешние хариджаны нищи и забиты, столь же неверно, как и то, что брахманы — толсты и богаты.

Кстати, среди брахманов, которых я видел, толстых не было ни одного. Одеты они были в простенькие одноцветные ситцевые юбки-лунджи. Я, конечно, имею в виду лиц, в принадлежности которых к высшей касте я уверен: они работали брахманами. В храме Шивы в Перуре, что близ города Коимбатор в штате Тамилнад, я узнал от жреца, почти белокожего интеллигентного молодого человека, что служба Шиве в этом храме — его наследственная должность. Тут же будут служить и его дети. Все приношения верующих принадлежат храму, а священнослужители имеют скромное содержание. Тут же работает и его отец. Он познакомил меня со старичком в холстяной юбчонке, и они повели меня к храмовому слону. Он тоже получает содержание от храма, но больше, чем брахман. Слон благословил меня, положив на голову раскрашенный хобот.

В торговом квартале города Бангалор в тесном пространстве среди лавчонок стояло изображение бога Вишну и курились благовония. За загородочкой стоял совсем молодой парень, что-то мелодично напевал и ритмично стучал в маленький барабанчик. Люди бежали мимо по своим делам, но многие останавливались, быстро и деловито сбрасывали сандалии и замирали, склонив головы и сложив руки. Парень окуривал их дымом, опускал ложку в алюминиевый бидон и наливал в сложенные лодочкой ладони молоко. Выпив его и бросив на тарелку пару монет, люди поддевали большим пальцем ноги петлю сандалий и мчались дальше. Этот парень тоже был брахманом.

Совсем уж несерьезного брахмана я увидел в уличном подземном переходе. Это вообще был мальчишка лет тринадцати, голый торс его пересекал шнур дваждырожденного. Примостившись на ступеньках, он пристроил пласт-

массовую статуэтку слоноголового бога Ганеши, зажег сандал на тарелке и неустоявшимся голосом призывал к чему-то верующих. При этом он помахивал пучком павлиньих перьев и, как мне показалось, норовил хлестнуть ими почувствительнее тех, кто шел, не обращая на него внимания. Таких было большинство. Но никто при этом не выражал неудовольствия. Некоторые, впрочем, клали на тарелку монеты.

Что же касается других брахманов, занятых гражданскими, так сказать, делами, то об их касте нужно было догадываться. Спрашивать в современной Индии у образованного и прогрессивного человека о его (или еще чьей-нибудь) касте не принято. Разве что в научных целях, оговорив их предварительно. Правда, мне показалось, что брахману не так уж неприятно, если его спрашивают — не брахман ли он?

То же самое с другими высокими кастами. Я как-то спросил субудара (майора) Рамадаса, полицейского офицера, опекавшего нас:

— Вы раджпут, субудар-джи?

— Естественно! — отвечал с гордостью майор.

Но все-таки спрашивать о касте не принято. Да в общем-то и не нужно. Достаточно знать джати вашего собеседника.

Строго говоря, у индийцев нет фамилий в нашем понимании. Есть «джати» — название касты, и не просто, а с адресом.

Рао, например, брахман народа телугу в штате Андхра-Прадеш, Кришнамурти и Кришнан Мурти — тамильские брахманы, Чаттерджи — бенгальские.

Намбудири — брахманы в штате Керала у народа малаяли, а Меноны — каста писцов, на полступеночки ниже брахманов — там же.

По Южной Индии с нами ездили администратор доктор Рао, врач — доктор Кришнамурти и переводчики Индранатх Чаттерджи и Правати Менон.

Господин Кришнан Мурти был механиком по кондиционерам в спецпоезде, везшем нас из Кералы в столицу Тамилнада город Мадрас.



А у людей из воинских каст джати звучат энергично и мужественно, с подчеркнуто-рычащим «р»: Чопра, Арора.

Заказан снимок со спутника

Наша бомбейская гостиница — пятизвездочный отель «Леела Пента» — один к одному соответствовала кинопредставлениям о роскошной заграничной жизни. Общий уровень гостиниц такого класса, наверное, совершенно одинаков во всех крупных городах мира. Но это была индийская гостиница со швейцаром в красном тюрбане, со сторожем — отставным солдатом, непальским гуркхом, с дамами-портье в шелковых сари. Со шведским столом: в меру наперченное карри и лепешки-чапати. С обилием смуглых боев. Малорослых же черных людей, босых и в шортах цвета хаки, утром разводил гуськом администратор — весь день они занимались простыми неслышными делами: натирали медные ручки, очищали пепельницы в холле, подстригали траву во дворе.

«Леела Пента» стояла ближе к аэропорту, чем к городу, и для поездки в Бомбей, ныне Мумбаи, нам подали автобус. Сразу за отелем местность была довольно пустынной — загородное шоссе. Потом начались двухэтажные дома и лавки, лавки, лавки. Но вскоре мы вновь оказались в незастроенных пространствах. Лишь на горизонте можно было разобрать что-то обширное, серое и бесформенное. И, только подъехав ближе, мы поняли, что это необозримое скопище лачуг. Слово «лачуга», впрочем, подходило этим сооружениям не больше, чем «дворец» — обычной лачуге в нашем понимании. Нет, хижины — не хижины, навесы — не навесы из рогож, тряпок, картонных ящиков теснились столь плотно, что невозможно было понять, как передвигаются между ними люди. А людей в этом скопище было видимо-невидимо: голые дети, женщины в выцветших дырявых сари, мужчины в набедренных повязках. Мне запомнился парень в новых джинсах и пестрой рубашке. Он курил, сидя на корточках, и только обернулся на шум автобуса. Улыб-

нулся (во рту блеснули золотые зубы), сплюнул и отвернулся.

О такой трущобе нельзя было ничего узнать ни из книг, ни из кино, хотя говорится об этом много. Ее можно только увидеть. И от нее нельзя отвернуться.

Это была индийская реальность. Реальность огромной перенаселенной страны. И эту реальность следовало принимать вне зависимости от того, соответствует она или нет сложившимся у нас представлениям. Потому что только это позволяло ориентироваться в окружающих нас людях, в их поведении и странных для европейцев жестах. И в их чувстве времени.

— Когда вы за мной заедете? — спросил я по телефону старого своего друга, молодого индолога, работавшего в Бомбее.

В трубке послышалось хмыканье.

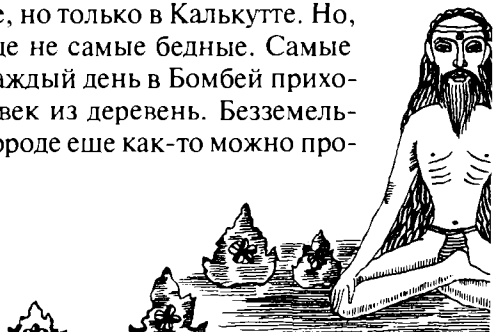
— Запомните, вы — в стране, где есть только два понятия времени: «утром, сэр» или «после обеда, сэр». Как доберусь.

...Это было великолепное угощение городом, которым потчует знаток и старожил совсем зеленого новичка. Вокзал Виктория, рынок Кроуфорд-маркет, Высшая школа искусств, Воровской базар — Чор-базар. И на каждый мой вопрос следовал ответ, обстоятельный и полный парадоксов.

— Забудьте все, что вы аккуратно читали. Здесь все динамично, все стремительно меняется. Откройте глаза, постарайтесь увидеть жизнь как она есть.

Я спросил о трущобе, которая все не давала мне покоя. Насколько это типично? Что собираются с ней делать?

— Ну, это еще не самая большая. Есть здесь одна, побольше. Городские власти заказали сделать ее снимок со спутника. Нужно составить план оздоровления, а ни полицейские, ни муниципальные чиновники никогда не решатся туда зайти. Есть трущобы и хуже, но только в Калькутте. Но, представьте себе, там живут еще не самые бедные. Самые бедные ночуют на тротуарах. Каждый день в Бомбей приходит примерно две тысячи человек из деревень. Безземельные. В деревне работы нет, а в городе еще как-то можно про-



крутиться. Через пару лет им удастся скопить денег, и они покупают участок. Это стоит две тысячи рупий. А потом платят по двадцать пять рупий ежемесячно мафии, которая правит в трущобах. И строят крышу, а повезет — и стены из чего придется, холодов здесь не бывает. Не дай бог просрочить плату — дом сожгут, а самих выгонят. Обратиться к властям? Нет, люди там темные, любым властям не доверяют.

— Что за люди? — спросил я. — Деревенские хариджаны?

— А спросите у нашего шофера.

Шофер-индиец обернулся

— Нет, сэр, там есть все. Есть и брахманы. У них тоже много детей, а сколько брахманов нужно на одну деревню? Есть и другие. Но больше всего, конечно, хариджанов.

Развернувшись на площади, в центре которой сидела мраморная британская королева Виктория, заботливо покрашенная белой масляной краской, и застревая во всевозможных пробках, мы выехали на прямую дорогу.

Хижины из рогожи, тряпок и картона показались мне знакомыми. И такие же люди толпились вокруг. Но это был другой квартал, самая большая зона бедности огромного города. Машину остановили поодаль, но достаточно близко, чтобы все разглядеть. Над хижинами поднимались дымки.

— Присмотритесь внимательнее. Что вы видите над крышами?

Почти над каждой крышей торчали телевизионные антенны.

Улица писцов

В холле гостиницы беседовали два человека, и голова их доносились через широкий лестничный колодец до нашего второго этажа. Слова были неразборчивы, но один голос звучал поглуше, а второй — позвончее и моложе. Глухой голос смолк, и до меня долетела фраза, произнесенная молодым:

— О, йес, мистер доктор Ашока Митра, сэр!

У стойки беседовали двое: портье и немолодой мужчина в белой куртке со стоячим воротником. При виде меня они замолчали, портье принял ключи и вежливо спросил:

— Впервые в Тривандраме, сэр? Как вам нравится Индия?

— Впервые. Очень нравится.

— Вам очень повезло. Сейчас не жарко, сухо. Можно многое увидеть. Вызвать вам такси?

— Спасибо, я хотел бы пройти пешком.

— Сколько у вас времени? Три часа? Тривандрам — большой город, и потом для вас все-таки жарко. Сходите на базар. Это недалеко отсюда. Керала, сэр, вечно зеленый штат. Здесь вы увидите такое, чего не увидите нигде. В Тамилнаду этого нет. Например, — он произнес какое-то слово на языке малайялам, — как же это будет по-английски, мистер доктор Ашока Митра, сэр?

— Никак, наверное, — отвечал доктор Ашока Митра, — никак. В Англии нет таких фруктов. У англичан вообще много слов из нашего языка. Например, «карри», «сари», «поппадум». А как по-вашему «карри»?

— Карри, — отвечал я. — У нас тоже нет такого слова.

— Ну, вот видите, — довольно улыбнулся портье. — Не знаю, как вам объяснить. Очень вкусно. Только надо привыкнуть. Я напишу вам на бумажке по-нашему. А на базаре попросите кого-нибудь грамотного прочитать.

И он быстро вывел на фирменном бланке несколько затайливых букв — прямых и круглых.

— Попросите кого-нибудь, вам прочитают. Только не покупайте старинных статуэток — они все из алюминия.

Собеседники вернулись к прерванной беседе. Портье вновь воскликнул с почтительным восторгом:

— О, йес, мистер доктор Ашока Митра, сэр! Естественно!

Базар и вправду оказался интересным, хотя толчея там отчаянная. Индийская толпа, правда, очень дружелюбна. Как ни была бы она густа, все ухитряются как-то не задевать друг друга, а если видят, что вы спешите, посторонятся и при этом улыбнутся. Также не сталкиваются тележ-



ки, моторикши (мотороллеры с сиденьем на двоих-троих и брезентовым навесом), велорикши, автомобили и телеги, запряженные быками. Два таких ориентира, как базар и гостиница «Люсия», позволяли не заблудиться.

Привлеченный тенью, я свернул за угол и из базарной суеты попал в тишину узкой недлинной улицы.

Тишина была, конечно, относительной. И здесь шли вереницей невысокие тонкие люди в светлых юбках, пронеслись моторикши, уворачиваясь от столкновения в последний миг, но после оглушительного гвалта базара все это действительно казалось тихим и спокойным. Людей и моторикш было гораздо меньше, а грузовиков не было совсем. Тротуар был почти весь покрыт тенью, и что-то показалось мне необычным в этой улице. Присмотревшись, я понял: на улице было мало лавок.

Здесь под навесами сидели интеллигентного вида мужчины средних лет в европейского покроя рубашках и брюках, иногда, правда, босые. Перед ними на столиках стояли пишущие машинки.

Это была словно какая-то выставка оргтехники. Громоздкие с облупившимся черным лаком агрегаты, ввезенные в Индию на заре прошлого века, совершенно плоские и очень современные машинки, а также аппараты, напоминающие нашу «Москву». К некоторым из открытых дверей домов тянулись провода.

Рядом со столиками стояли стулья и лежали на земле циновки — на вкус клиента, как я скоро убедился. Часть писцов-машинистов отдыхала, но все время кто-нибудь появлялся и, осмотрев внимательно весь ряд, присаживался к приглянувшемуся специалисту. Чаще всего клиентом был прожаренный солнцем крестьянин в выгоревшей юбке. Он опускался на циновку, скрестив перед собой черные голые ноги. Писец участливо наклонялся к нему, и клиент начинал излагать свое дело на языке малайлам. В Керале язык малайлам пользуется правами официально. Надписи и вывески в штате — на этом языке, но и — это обязательно — на английском. Иногда — только по-английски. Торговое предприятие без английской вывески выглядит несолидно, объяснили мне знакомые индийцы. Кроме

того, люди из других штатов ничего не поняли бы без английского.

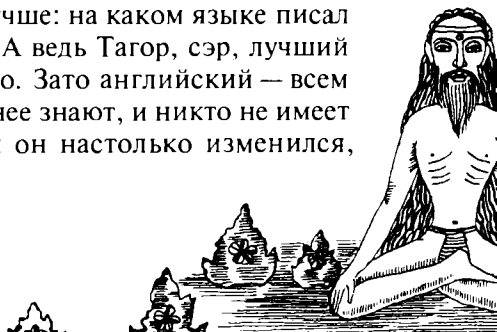
Клиент продолжал свой рассказ, специалист время от времени деловито перебивал его короткими вопросами и, получив ответ, закрывал глаза и устало кивал. Спросив о чем-то в последний раз, окончательно кивнул и вставил в машинку лист отличной бумаги. Посидел краткое время неподвижно и сосредоточенно, как поэт, уже сложивший строфу, но пока не нашедший первое слово, потом удовлетворенно тряхнул головой, и пальцы его, вдохновенно взлетев над клавиатурой, издали пулеметную очередь, краткую и уверенную: «Dear Sir!»

Потом машинка заработала вовсю. Мастер вынул лист, перечитал его, довольно улыбнулся, словно убедившись лишний раз в том, что ошибок нет и быть не может, и пригласил клиента подписать. Тот долго выводил подпись на трех экземплярах. Потом бумаги были положены в плотный конверт.

У соседнего писца сидел на стуле прилично одетый мужчина. Текст был там короткий, но, очевидно, очень важный, поскольку обсуждали они его весьма обстоятельно. Оказалось, текст приглашения на свадьбу. Малаяламский текст написали дома, тут опасений в грамотности нет, с английским же надо быть осторожным. А здесь — гарантия.

Все это дружелюбно объяснил мне заказчик, пока писец стучал по клавишам. «Без английского все-таки нельзя, дочь у меня образованная, она окончила колледж».

Вообще вопрос языка в Индии — вещь сложная. Самый распространенный в стране язык — хинди, но здесь, на дравидском Юге — в Керале, в Тамилнаду, в Карнатаке, — его не знают, да и не очень хотят знать; дравидские языки, считают здесь, ничуть не хуже, чем индоарийские. Почему бы им на Севере не выучить наш язык? Да и бенгальцы, которые говорят на языке, родственном хинди, уверены, что бенгальский гораздо лучше: на каком языке писал Рабиндранат Тагор? То-то же. А ведь Тагор, сэр, лучший поэт в мире! Это всем известно. Зато английский — всем чужой, но все его более или менее знают, и никто не имеет привилегий. Кстати, в Индии он настолько изменился,



что его можно считать здешним языком, англичане так говорить не умеют и не сразу все понимают. У них свой английский, сэр, а у нас — свой.

Индия, наверное, самая многонациональная страна в мире. Официально здесь зарегистрирован двести восемьдесят один язык. До этого считалось, что языков гораздо больше — восемьсот сорок пять, но когда стали учитывать только те из них, на которых говорит не менее пяти тысяч человек, число существенно поубавилось. Общий язык действительно нужен стране.

Преподаватели университета, чиновники, портье в гостинице говорят по-английски свободно. Только надо приноровиться к произношению, существенно отличающемуся от прононса наших преподавательниц. В лавке, где — сколь бы мала она ни была — трудится не менее трех человек, двое говорят по-английски в узко ограниченных профессией рамках; третий — владелец — может повести с вами беседу о качестве товара. Крестьяне на базаре, многие из городских прохожих, рядовые полицейские зачастую не понимают вообще. Поэтому иногда попытка расспросить о чем-нибудь превращалась в суровое испытание.

Но дело не в одном языке: в конце концов, всегда рядом оказывался кто-нибудь, кто говорил по-английски. Дело в другом. Мимика людей, манера их поведения настолько отличаются от европейских, что до смысла ответа добратся бывает трудно.

Например, тамилы и малаяли, желая подтвердить сказанное, так энергично вертят головой да при этом издают множество неартикулированных жалобных звуков вроде «не-а, не-а», что кажется, будто вам возражают. С нами ездил индеец доктор Кришнамурти, щуплый светлокожий тамильский брахман. Каждый день (и не по одному разу!) я переводил его беседы с нашим врачом Виноградовым. Специалисты, они быстро пришли к взаимопониманию, обменивались лекарствами, делились медицинскими сообщениями. Но на первых порах было невесть как тяжело.

— Переведите, — просил Виноградов, — я дам аспирин, чтобы сбить температуру. Что он головой замотал? Что он — против аспирина?!

Чем настойчивее я объяснял, тем отчаяннее мотал головой доктор Кришнамурти, но, когда он начинал уже просто стонать и, казалось, настолько возмущен аспирином, что кинется немедленно к больному и вырвет аспирин у него из рук, доктор Кришнамурти, улыбнувшись, произносил: «Олл райт!»

Южные индийцы, если желают выразить свое одобрение, покачивают головой. Стоит целая шеренга людей, смотрит, как наши артисты последний раз перед сценой репетируют, и как бы демонстрирует неодобрение. Артисты даже нервничали: «Что не так?» А люди в действительности покачивали головой, как бы приговаривая: «Ну и молодцы!.. Ну и красавицы!»

Зато, когда я как-то спросил сторожа, в своем ли кабинете мистер Рао, тот вытянул губы трубочкой и три раза коротко свистнул. Правда, тут же перевел это на понятные слова: «Ушел, сэр».

...Обслужив клиента, писец потянулся, сладко зевнул и поманил пальцем. Из соседней чайной вышел мальчонка в цветастой юбочке со стаканчиком на подносе.

— Желаете напечатать что-нибудь, сэр? Извините, извините, я понимаю, что вы — грамотный, но, знаете, как бывает: вы в чужом городе, ваш офис — далеко, а нужно что-то напечатать. В случае чего заходите прямо сюда. Меня зовут Джайпракаш Менон, я работаю здесь каждый день.

Я уверен, что мне никогда не придется обращаться к Джайпракашу Менону, мастеру высокой квалификации, принимающему жалобы на малаялам, тамили и языке каннада. Но могу подтвердить, что работает он быстро, уверенно и печатает прямо набело без ошибок.

Храм Вишну на змее

Улица, перпендикулярная той, на которой стояла наша гостиница, замыкалась с одной стороны старыми городскими воротами, а с другой — огромным вытянутым зданием с длинной, слегка как бы просевшей посреди-



не темной крышей. пышное и массивное, оно возвышалось над всеми окружающими строениями и было по своей форме настолько несовременным, что наводило на мысль о храме.

Отдыхавший в тени на углу старик — с обнаженным торсом и шнурком дваждырожденного через плечо — подтвердил: «Да, это храм, и я — один из брахманов его».

Мне приходилось уже бывать в индуистских храмах. Пускали туда очень охотно, только просили разуться у входа. Так же охотно объясняли, что к чему. Правда, нас предупреждали, что в каждом случае нужно спрашивать разрешения. Я спросил брахмана: можно ли мне зайти в этот храм?

— Нет, — отвечал брахман, огорченно кивнув, — нельзя, никому нельзя, только индусам. Но и индусам, — добавил он, словно желая смягчить горечь отказа, — нельзя входить туда в европейском платье. Только в дхоти, без рубашки, босым.

Из-за угла выкатил огромный автобус с поляризованными стеклами. В таких автобусах ездят обычно заморские туристы и гости правительства. Местные жители предпочитают автобусы с естественной вентиляцией, то есть без стекол, — они дешевле и вместительней. Автобус уверенно подкатил к храму, и это вызвало у меня сомнение в правоте брахманских слов.

Но старик уже ушел по своим делам, и переспросить было некого. Времени у меня тоже не было — через два часа ждали в университете, а надо было еще пообедать.

Среди прохожих довольно часто попадались босые люди в черных рубашках и черных юбках. На лбу у них был круг с красным пятном посередине, пересеченный тремя горизонтальными желтыми полосами.

Впервые я увидел таких людей еще в далеком отсюда городе Бангалоре, но среди оглушающего разнообразия одежд и человеческих типов не придал их виду значения.

Индийская толпа необычайно разнообразна. Оттенки кожи — от почти черного до почти белого; костюмы — от европейской тройки с галстуком до скуднейшей набед-

ренной повязки. Знаки на лбу? Но вот у торговца в лавке неровная желтая полоса и алый мазок; у кого-то лоб вымазан чем-то серым; прошел пожилой мужчина в шафрановом одеянии, и на лбу у него трезубец: два зубца белые, а средний красный. Да и нам мазали лоб в знак приветствия всюду, куда мы ни попадали, и один раз краску не удавалось отмыть дня три. И всех этих людей разных цветов кожи, в разнообразнейших одеяниях можно встретить в один день и один час на одной улице. И говорить они будут на одном языке, и принадлежать к одному народу. Это разнообразие очень трудно понять, даже когда его видишь.

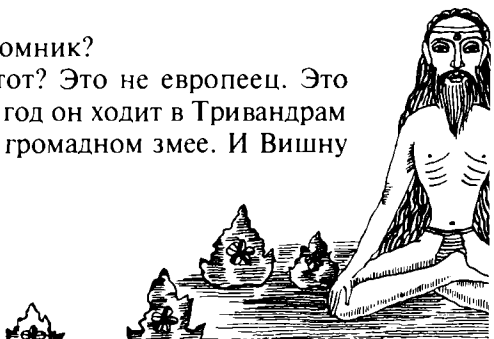
Итак, увидев людей в черном впервые, я не обратил на них особого внимания, но как-то зафиксировал в своем сознании. Второй раз я заметил их на железнодорожном вокзале тамильского города Коимбатур, где мы ждали поезда на Кералу. Несколько человек в черном с желтыми полосами на лбу ждали того же поезда. Мое внимание привлек один из них — совершенный европеец по виду: рыжеватые волосы, варяжская борода, поросшие жестким рыжим волосом ноги. Он что-то говорил, смеясь, и слушатели тоже смеялись. В Индии иной раз встречаешь европейцев, носящих индийское платье, но этот был настолько — вплоть до бороды! — похож на знакомого мне московского востоковеда, что я взглянул на него пристальнее.

Стоявший рядом индеец, провожавший нас, заметил мой внимательный взгляд.

— Знаете, кто это? Это паломники, временные монахи. Сорок дней они не едят мяса, спят на земле, уходят от своих жен. Они идут в храм Вишну в Тривандраме, очень известный на Юге храм. Потом возвращаются домой с ожерельем из красных ягод на шее. Эти ягоды высыхают и становятся такими твердыми, что их даже оправляют в золото и серебро. Сто одна ягода, и, перебирая каждую, надо сказать: «Ом-ом».

— А этот европеец — тоже паломник?

— Европеец? Какой, сэр? Этот? Это не европеец. Это очень набожный человек. Раз в год он ходит в Тривандрам поклониться Вишну на Шеше, громадном змее. И Вишну



сделал чудо. Двадцать лет этот человек был черным, как все, а потом вдруг стал белым. Все люди это помнят.

Конечно, в «далекой Индии чудес» — но все же... Я недоверчиво обернулся к нашему доктору Александру Виноградову, чтобы перевести ему, но встретился глазами с доктором Кришнамурти. Тот утвердительно качал головой и постанывал в знак согласия:

— Да, да, именно так.

Доктор Виноградов пожал плечами и обещал проверить дома, в Перми, на кафедре биологии мединститута. Вообще-то он слышал, что альбинизм, закодированный в генах, может проявиться не сразу, но проверить надо! (Уже в России Александр Борисович Виноградов сообщил мне, что явление это вполне возможное. К сожалению, вопросом причастности к нему бога Вишну их кафедра не занимается из-за отсутствия специалистов. Зато я по прошествии немалого времени могу не темнить насчет «знакового востоковеда»: это был вылитый мой друг — востоковед-бирманист Игорь Можейко, более известный широкой публике как писатель Кир Булычев. Вылитый он, только ростом пониже!)

Понятно, что после этого я уже представлял себе, кто эти люди и куда идут. Люди в черном шли к храму.

В лавке на углу я купил забавную маску, сделанную из скорлупы какого-то крупного и твердого ореха: бородастый нечесаный человек с тремя полосами и пятном на лбу. Торговец подтвердил, что это изображение паломника.

— Святые люди, сэр, — сказал продавец. — Откуда вы? Из России! Посмотрите сюда.

На стене дома были нарисованы суриком серп и молот.

— Я подновляю их каждую неделю. Я голосовал на выборах за правительство штата.

Вечер у нас оказался свободным. На улицах было темно, только над лотками уличных торговцев горели лампы. Воздух был влажный и лишь чуть-чуть менее жаркий, чем днем. Обойдя обширный квартал, я вышел к задней стене храма и через пять минут стоял у подножия высокой и широкой — в фасад — лестницы. На одной из нижних ступеней горел огонек и на одной из верхних — тоже.

По площадке перед входом прогуливался человек в юбке по шиколотки, с бамбуковой дубинкой в руках.

Я крикнул снизу:

— Сэр, можно мне подойти?

— Внутрь нельзя, — отвечал он, — сюда поднимайтесь, пожалуйста. Только разуйтесь. Подождите, я к вам спущусь.

Он неторопливо спустился ко мне, подождал, пока вышедшие из храма люди обойдут оба огня (они проводили над огоньком ладонями, касались ими лба, груди), и, обведя меня вокруг нижней лампалы, сказал:

— Вот здесь разуйтесь, пожалуйста. Теперь пойдем. Идите за мной.

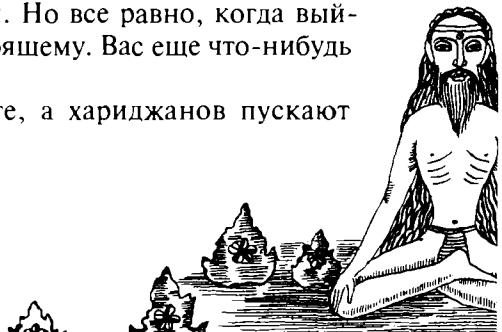
Мы неторопливо зашагали вверх. У самых дверей на плитах лежали распростертые люди. Некоторые поднимали головы и с интересом следили за мной. Потом опять продолжали прерванную молитву, вставали и уходили. Остался какой-то молодой парень, но и он вскоре ушел. И лишь мальчик лет десяти, стоявший на коленях у огня, сложив ладоши, уставился на меня с нескрываемым любопытством.

— Люди издалека приезжают, — объяснил страж, — многие и европейца никогда не видели. Станьте здесь, сэр. Может быть, вы увидите через решетку.

Что-то темнело в глубине, но разобрать я не мог ничего.

— Это частный храм. Он принадлежит бывшему махарадже Траванкора. В Керале было два княжества: Траванкор и Кочин. Сюда допускают только индусов, но для этого надо стать на сорок дней временным монахом. Нельзя бриться. Надо быть в дхоти. Недавно военные и полицейские обратились к махарадже с жалобой. Ведь они обязаны бриться и ходить в форме. А у них нет сорока дней, у них маленький отпуск. Тогда махараджа по совету панчаята брахманов открыл для них особый вход. Они приходят бритые, переодеваются в дхоти, разуваются. Но все равно, когда выйдут в отставку, придут по-настоящему. Вас еще что-нибудь интересует?

— Да, — сказал я. — Скажите, а хариджанов пускают сюда?



Вопрос о хариджанах, неприкасаемых, которых раньше никогда не допускали в храмы, я задавал в разных молельнях. И повсюду отвечали, что по требованию правительства их не смеют дискриминировать. Многие прогрессивные брахманы и сознательные прихожане даже радовались этому и делились своей радостью со мной.

— Сэр, — с достоинством отвечал страж, — я сказал уже вам, что этот храм Вишну — частный. Махараджа сам решает, кого ему пускать, а кого нет. По совету панчаята брахманов, конечно.

Углубляться дальше в проблему я не стал.

— Я провожу вас вниз.

Внизу стояли автобусы с кондиционерами. Сквозь открытую дверцу я увидел переливающийся экран видео. Из автобусов вылезали полуголые, босые люди и укладывались рядами на земле.

— Махараджа — старый человек, сэр. Ему семьдесят три года, и он остался один. Он думает только о душе. Правительство купило его дворец. На эти деньги он приобрел автобусы для паломников. Много автобусов.

— Спасибо, — сказал я, обувшись. — Счастливого вам Рождества.

Последнее я добавил автоматически: был день католического Рождества, и в Керале, где треть населения — христиане с фамилиями Домингес, Фернандес и тому подобными, все витрины были украшены рождественскими плакатами. Но пожелать счастливого Рождества стражу в дхоти у храма Вишну на Шеше...

— Спасибо, — отвечал страж, просяив, — и вам тоже. И доброго Нового года!

Левое правительство штата, стремящееся создать во дворце махараджи музей, не может его национализировать, ибо центральное правительство не допустит покушения на частную собственность. Махараджа, несмотря на правительственные запреты ограничивать права хариджанов, не допускает их в свой храм. Опять — святая частная собственность. Но землевладелец не может согнать арендаторов с земли — этого не допустит левое правительство штата.

Все смешалось здесь. И все сосуществует.

Сад махараджи

Концерт советской артистической группы должен был состояться в саду махараджи. Словосочетание «сад махараджи» порождало представление о чем-то неопишимо роскошном и экзотическом, обязательно с павлинами, разгуливающими среди пышной растительности и мраморных беседок, напоминающих маленькие Тадж-Махалы.

В действительности сад оказался очень ухоженным, весьма скромным и совсем европейским. Лишь пальмовая роща напоминала о тропиках. Резко ошетилившиеся верхушки вычерчивались на фоне неба. И конечно, жара была тропической и влажной.

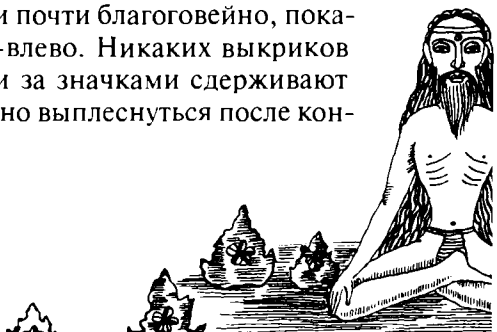
Сценическая площадка — ни дать ни взять как у нас в южном парке культуры и отдыха, только без раковины — воздвигнута была у подножия естественного амфитеатра — склона холма. Склон был изрезан параллельными террасами с бордюром из белого камня. Получились земляные скамьи, достаточно широкие, чтобы зритель мог удобно усесться, поджав под себя ноги.

Четыре темнокожих человека тащили легкие стулья и расставляли их перед амфитеатром двумя рядами.

Режиссер Виктор Михайлович Ширяев осматривал площадку, прикидывая варианты. Он ходил по сцене взад-вперед, считая про себя шаги, и пробовал поверхность носком и всей подошвой. Лицо его приобрело озабоченный вид.

— Затяжка чересчур гладкая. Чистый бетон без песка, — объяснил он мне. — Тут капля воды — и бетонная пыль превратит все в каток.

Меж тем публика прибывала. Индийская публика, как я заметил, приходит заблаговременно и терпеливо ожидает начала. Звуки настраиваемых инструментов, последние па танцоров, примеряющихся к сцене, — за всем этим люди наблюдают внимательно и почти благоговейно, покачивая слегка головами вправо-влево. Никаких выкриков или замечаний; даже охотники за значками сдерживают свои страсти, чтобы дать им буйно выплеснуться после концерта.



Мест на скамьях почти никто не занимал, все столпились на некотором расстоянии сбоку от сцены.

Народ был одет в основном в обычные рубашки и лунджи, что показывало: собрались обычные горожане.

Надо сказать, что хотя европейский костюм и занял некоторые позиции в гардеробе индийцев (но не индианок), тем не менее почти не потеснил, а тем более не победил национальной одежды.

В Керале из десяти встреченных прохожих девять были в лунджи. Из дому человек выходит обычно в юбке до щиколоток. А потом на улице — я наблюдал это многократно — как-то задумчиво подбирает полы, некоторое время на ходу держит их в руках, как бы сомневаясь, стоит ли? Потом делает ловкое движение руками. И вот уже ноги сзади обнажены до половины бедра, а спереди еще прикрыты. Тут-то, словно махнув рукой: «Чего там! Все так ходят!» — человек подвязывает передние полы элегантно узлом и остается в короткой — выше колен — юбке. Белой, клетчатой, а то и в цветочек. Таких людей на улицах большинство.

Для здешнего климата трудно придумать костюм удобнее. Я поделился своей мыслью с Индранатхом, одним из опекавших нас индийцев, родом из Бенгалии. И добавил, что, будь я индийцем, ни за что не одевался бы по-европейски. Правда, лунджи носил бы только длинную, чтобы закрыть от солнца ноги.

Индранатх возразил: будь вы индийцем, доктор, вы не боялись бы солнца: индийцы не обгорают, и вид обгоревшего европейца вызывает у них ужас — не кожная ли это болезнь?! И, кроме того, многое бы зависело от того, кем бы вы были, будь вы индийцем, доктор. (Индранатх называл меня «доктором», хотя я объяснял ему, что я — кандидат исторических наук. Как и другие индийцы, он оказался не в силах разобраться в многокастовой системе нашей науки.)

Мы поделились впечатлениями. По моим наблюдениям, здешних жителей по одежде можно классифицировать так.

В шортах ходят мальчики всех школьных возрастов, а также уборщики, дворники и многие строительные рабочие: им необходимы карманы. И — с английских вре-

мен — морские офицеры; у этих на ногах еще белые гольфы. В брюках — средние чиновники, военные и полицейские. (И городские хулиганы, добавил Индранатх, они просто обожают джинсы. Студенты, правда, тоже их уважают.) В европейские брюки одеты и коммерсанты средней руки, особенно если торгуют какой-нибудь техникой. По лавке не сразу поймешь, что заведение солидное, так пусть хоть хозяин придает ему вид.

Университетские преподаватели, инженеры или врачи западной медицины ходят обязательно в брюках, а то и пиджаках. По крайней мере в рабочее время. Сам Индранатх студент, а студенты тоже в основном ходят в западном. Он, конечно, уважает дхоти, в его родной Бенгалии дхоти носят не так, как здесь: нижний конец сзади пропускают между ног и закрепляют спереди под поясом. Получаются широкие, хорошо продуваемые шаровары. Иногда он их носит. И уж точно наденет дхоти и длинную рубаху без ворота на свою будущую свадьбу.

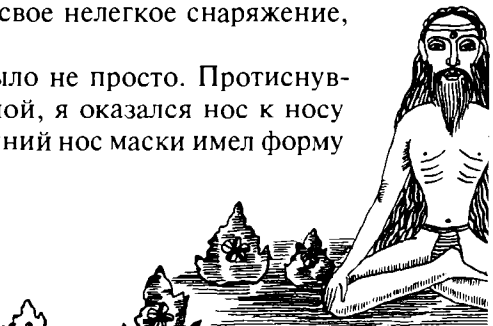
Зато власти — штата, округа, города — легко отличить по строго национальному костюму: белоснежной рубашке и лунджи до пят.

Мы еще раз осмотрели собравшуюся толпу зрителей и подтвердили вывод, что больше всего здесь средних обычных горожан.

Амфитеатр начал заполняться. Зеваки от сцены потянулись на места. Два ряда стульев тоже не остались пустыми: там сели уважаемые руководители в снежно-белых одеждах и те из наших, кто не был занят сразу на сцене.

Я прошел за кулисы. Здесь, расслабившись, сидели Андрияша Панкин и Гоша Смородинский, танцоры из университетского ансамбля «Русский сувенир». Музыканты проверяли в последний раз контакты. Тут же толпились рабочие и полицейские, с интересом прислушиваясь к непонятному разговору и восхищенно глаза на силового жонглера, сноровисто перебрасывавшего свое нелегкое снаряжение, чтобы освободить проход.

Пробраться в этой толчее было не просто. Протиснувшись за чьей-то большой спиной, я оказался нос к носу с огромной маской. Длинный синий нос маски имел форму



конуса основанием вперед. Маска была в половину человеческого роста, широкая и очень пестрая: красная, зеленая, с золотом. Лишь спустя некоторое время я понял, что это не маска, а тщательно раскрашенное лицо. Огромность ему придавали наклеенная полукруглая борода до пояса и венец на голове. То был исполнитель танцев катакхали.

«Откуда он здесь, — подумал я, — в программе вроде бы их нет». И спросил:

— Катакхали?

— Катакхали, катакхали, — прогудело в ответ, и человек поклонился, едва не коснувшись моей головы венцом.

Чуть поодаль стоял актер с зеленым лицом: он был одет во что-то вроде кринолина.

— Начинаем! — крикнул Ширяев. — Внимание!

Я поторопился на свое место. Амфитеатр был полон, забор усеяли мальчишки.

В динамике голос приглушенно произнес с украинским акцентом: «Одын, два, тры; тры, два, одын».

Ко мне подсел Индранатх.

— Кажется, будет дождь, — шепнул он, обеспокоенно наклонившись ко мне.

Я взглянул на небо. Зубья пальмовых листьев почти слились с совершенно черным небом.

Тропический лед

Только тропического ливня нам не хватало! Крыши ведь нет ни над сценой, ни над гардеробной. А зрители? Они же сидят практически на земле.

Главный министр штата тоже с беспокойством поглядывал на небо. Что же касается зрителей, то в их рядах смятения не наблюдалось. Наоборот, они рассаживались поудобнее, а между рядами сновали продавцы напитков, орехов кешью в пакетиках и каких-то ярко-оранжевых сладостей, приторных на вид.

— А может, обойдется? — шепнул я Индранатху с надеждой, словно его подтверждение могло предотвратить дождь.

Тот пожал плечами.

К микрофону вышла ведущая, музыканты застыли у своих электроинструментов. Все шло обычным путем, и вдруг первая капля, большая и очень теплая, упала мне на голову. Над пальмами сверкнула молния, прогремел гром, на некоторое время капать перестало. Но через секунду посыпался частый, крупный дождь.

Главный министр ловко вытащил из-под рубашки сложенное махровое полотенце и накрыл им голову. Дождь усилился. Главный министр подоткнул лунджи. Тут дождь ударил вовсю, и оба первых ряда кинулись к сцене. Там можно было хоть как-то укрыться.

По сцене метались музыканты, прикрывая инструменты кусками полиэтилена. Мне было видно, как исчезали зрители. Правда, я так и не смог понять — куда. Укрытый рядом не было. На земляных сиденьях амфитеатра вздувались пузыри.

Конечно же, это не был тропический ливень.

Но что он успел наделать!

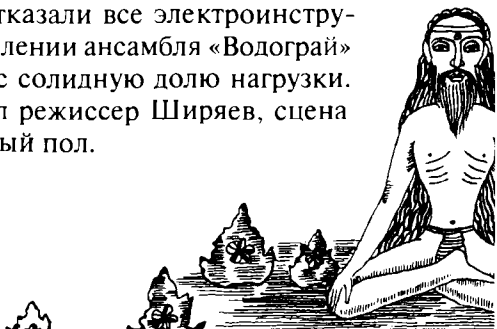
В сцене, как в деревенском пруду, отражались огоньки и облака, по ступенькам амфитеатра прыгали водопады.

К моему удивлению, стулья высохли прямо на глазах, и прямо же на глазах земля амфитеатра впитала воду. Зрители начали снова рассаживаться. Они были оживлены, веселы и совсем не напуганы: дело привычное.

Главный министр с достоинством вернулся на свое место, а вслед за ним вернулись оба первых ряда. Все ждали продолжения.

Две пары низкорослых темнокожих мужчин, присев на корточки, собирали воду со сцены гигантскими — размером с занавес — тряпками. В рядах публики снова появились разносчики, и зрители закупали у них товар, готовясь к долгому и приятному времяпрепровождению. Величайшее спокойствие исходило от всех собравшихся.

За кулисами же спокойствия не было, на что были веские причины. Во-первых, разом отказали все электроинструменты, таким образом, о выступлении ансамбля «Водограй» не могло быть и речи. А он нес солидную долю нагрузки. Во-вторых, как и предсказывал режиссер Ширяев, сцена стала скользкой, как намыленный пол.



Среди номеров, вызывавших неизменный восторг индийской публики, были выступления артистов украинского цирка на сцене — супругов Колесниченко, акробатки Малащук и силового жонглера Тимошенко.

Петро и Татьяна Колесниченко работали на велосипедах. Сначала выходила Татьяна с коромыслом, а потом под звуки экзотической для Индии мелодии «Гоп, кумо, не журись!» выезжал Петро в алых шароварах и рубашке-вышиванке. Далее разыгрывалась сценка, в ходе которой он ездил и задом наперед, и с ведром на голове, а велосипед выделявал черт-те что и вдруг убежал из-под седока. Потом они ехали вдвоем, причем жена стояла у мужа на плечах.

Публика аплодировала, супруги появлялись снова, и Татьяна сильным движением отправляла Петру велосипедик размером с кошку. Он рассматривал его, высоко подняв над головой, показывая публике и как бы говоря мимикой, а также пожатием плеч что-то вроде: «Ото ж бисова баба, шо прынісла!» И под гром аплодисментов они уезжали на этом велосипедике-кошке вдвоем.

А потом выходил силовой жонглер Леонид Тимошенко, голый по пояс, поигрывая мускулами. Петро Колесниченко и какой-нибудь помощник выносили, по-цирковому кряхтя и сгибаясь, гири и стальные шары, а ведущая обращалась в зал с просьбой выйти на сцену очень сильному и очень честному джентльмену. Таковой обычно находился, ему давали поднять одну из гирь, после чего все убеждались, что этот номер — без обмана.

Для начала Тимошенко жонглировал гирями, а потом ему пускали по сцене стальной шар, потом второй, он принимал их, словно футбольные мячи, катал по плечам и жонглировал ими. Публика просто редела от восторга, и всегда громче всех кричал и аплодировал очень сильный и очень честный джентльмен.

Номера были беспроегрывные и — что было сейчас главным — совершенно не требовали электрооборудования.

Музыку пустили в записи: магнитофон оставался во время дождя в сундуке и был сух. На сцену выбежали танцоры из «Русского сувенира». Девушки вышли босиком, им было легче. Ребятам разуться возможности не было, мягкие же

подошвы сапог скользили. Плясали они в чуть-чуть замедленном ритме, но все равно оскальзывались и даже падали. Партнерши поддерживали их и как бы придавали падению вид запланированного комического па.

Я вновь пошел за кулисы. Там Петр Колесниченко, трогая пол, качал головой. Силач Тимошенко грустно протирал сухой тряпкой свои шары. И с сочувствием глядел на них красно-золотой танцор катакхали. Ему предстояло выступить еще целую ночь.

Грянула «Гоп, кумо!», и выехал на сцену велосипедист.

Снова пошел дождь, не такой сильный, но тоже совсем, совсем ненужный. На этот раз никто не ушел, и дождь, поняв, что никого не напугает, кончился.

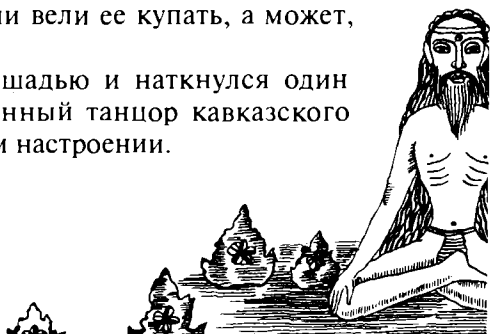
Кони, сандалии и лингвист

В Мадрасе вечерами мы приезжали на пляж, привлеченные как морской прохладой, так и видом на город и Бенгальский залив.

Мы были не одиноки. Все люди, посещающие Мадрас, обязательно попадают — рано или поздно — на этот пляж. Потому людей на пляже множество, причем не поймешь, кого больше — отдыхающих чужеземцев или местных жителей, стремящихся разнообразить отдых гостей столицы Тамилнада и тем снискать себе хлеб насушный.

Живописными кучками разложили свой товар торговцы павлиньими перьями и раковинами, бусами и рамками. Ходят продавцы ядовито-оранжевых прохладительных напитков, конфет и кокосов. Тут же и приличного вида мужчина с дрессированной обезьяной, и какие-то люди без видимых занятий, но чем-то занятые. Шумная, но дружная компания молодых людей и мальчиков ведет куда-то смирную лошадь в пестрой сбруе, украшенную султаном перьев. Может быть, они вели ее купать, а может, еще зачем.

Вот на эту компанию с лошадью и наткнулся один из наших спутников, заслуженный танцор кавказского ансамбля. Он был в прекрасном настроении.



Увидев лошадь, танцор почувствовал себя джигитом, вскинул руки и издал неартикулированный горловой звук. Местные жители, кажется, обрадовались, остановили коня и подвели его к танцору, показывая жестами, что он может на него сесть. Тот лихо вспрыгнул и проехал круг, причем владельцы коня поводьев не отпускали и вели его шагом. Спрыгнув с коня и решив как-то отблагодарить гостеприимных владельцев благородного животного, танцор стал рыться в карманах в поисках значка.

Те значка, однако, не приняли и сказали «Твенти рупайя», подкрепив слова четырехкратным маханием растопыренной пятерни.

— Какой рупайя? — осведомился озадаченный артист. — На значок, за что, слушай?

И он хотел тронуться с места, но мужчины схватили его за рукав, повторяя по-английски сумму.

Артист рассвирепел. В его родных местах с иностранца за такое денег бы не взяли, а наоборот, всячески выказывали бы свое расположение. Но для владельцев коня на мадрасском пляже катание посетителей было главным, а может быть, и единственным источником дохода, да и иностранец был здесь не такой редкой птицей, и потом они не были знакомы с кавказским гостеприимством. Они зашумели и окружили танцора кольцом. Разговор шел на доступных обеим сторонам по отдельности языках межнационального общения: тамилы кричали по-английски, танцор — порусски. Но поскольку друг друга они все равно не понимали, то перешли на более понятные языки: коневладельцы на тамильский, а танцор — на клеочущий и звучный свой родной язык. Смысл дискуссии, впрочем, хотя и был ясен, а тон очень высок, к согласию стороны не приходили.

Прибежал полицейский, примчались друзья танцора по ансамблю.

— Сэр, вы должны дать им что-нибудь, — твердо сказал полицейский.

Коллеги по ансамблю быстро скинулись и, набрав двадцать пять рупий, вручили их владельцам коня. Затем они взяли под руки своего товарища, который все никак не мог

успокоиться, и увели его под дружные крики «Сэнк ю, сэр», к которым почему-то присоединился полицейский.

В Индии действительно гораздо больше народу, чем земли и рабочих мест. Поэтому и способы заработка могут быть самые разные.

За день до описанных выше событий мы ездили в храм Канчипурам. В храме не положено быть в обуви, и потому от автобуса шли в носках. В самом храме наш доктор Виноградов, осмотрев теплый шершавый каменный пол и обратив особое внимание на паломника, страдавшего слоновой болезнью и волочившего страшно раздутую ногу по камням, распорядился носки — по возвращении — выбросить. И вот, стоя на ступеньке автобуса, я снял носки и остался босой. В этот момент ко мне подскочил низкорослый мужчина со связкой сандалий вокруг шеи, отхватил от связки сандалию и стремительно надел ее мне на ногу. Сандалия с отдельной петлей для большого пальца уселась на ноге как влитая.

Надо сказать, что о таких именно сандалиях я возмечтал с первого дня, когда увидел их на индийцах. Великолепно продуманные, открывающие ступню, но надежно защищающие подошву, они подходят для жары лучше, чем любая придумка европейского сапожного гения.

И вот эта обувь сама нашла мою ногу.

— Сколько? — спросил я.

— Сорок рупий, сэр, — ответил обувщик.

В магазине было дешевле и, вспомнив, что на Востоке нужно торговаться, я решительно ответил:

— Пятнадцать!

— Сэр, — вскричал продавец, — у меня семеро детей! Тридцать пять!

— При чем здесь я? — резонно спросил я. — Двадцать!

— Сэр, я их должен кормить! Двадцать пять!

Я представил себе толпу чернявеньких голопузых детей, в именах которых путаются сами родители, и мы сторговались. Я достал три бумажки по десять рупий и протянул продавцу.

— У меня нет сдачи, — виновато сказал он.



Не торговаться же с бедным многодетным отцом из-за пяти рупий! Тем более что я был горд своей победой, потому как на нее не рассчитывал.

— Ладно, — махнул я рукой, и в тот же момент еще какой-то низкорослый мужчина выхватил у меня сандалии из рук и, опустившись в пыли на колени, стремительно вколотил заклепки во все места соединения ремешков с подошвой.

«Вот это сервис», — подумал я, но он, как бы услышав мои мысли, возразил:

— Двадцать рупий, сэр.

— За что? Я уже заплатил!

— За каждую пять рупий. Сэр, у меня семеро детей!

— Клянусь вам, я в этом не виноват, — заявил я. — И я вас ни о чем не просил!

— Сэр, вы должны!

Короче говоря, сговорились мы на десяти рупиях. И опять помогли ему его дети.

Уже в автобусе, любовно разглядывая сандалии, я порадовался, как удачно их купил. Просили сорок, выторговал за двадцать пять — вот так-то! Дал, правда, тридцать, да еще непредвиденный расход на клепальщика — десятка. Итого — сорок рупий. А с меня просили? Сорок. Так сколько же я выторговал?

Больше я не пытался торговаться в Индии. На эту парочку я не в обиде: сандалии служат летом верой-правдой.

А на мадрасском пляже действительно могут быть удивительные встречи. В предпоследний день за мною увязался нищий. Это был молодой человек лет двенадцати, одетый в нитку с тремя бусинами на шее. Он вежливо, но настойчиво дергал меня за руку и что-то приговаривал. Но у меня не было уже денег, и хотя мне было жаль парня, я качал головой и время от времени говорил по-английски: «Иди, мальчик. Нет денег».

Но он все шел и шел за мною и все дергал и дергал за руку. Я сказал по-русски: «Мальчик, отстань». По-русски он не понимал.

Мы прошли уже километра два. Я вдруг вспомнил, что эту же фразу я знаю по-цыгански. А цыгане вышли

из Индии. Может быть, он поймет так лучше? И я сказал:

— Джа, чаво. Ловэ нанэ!

Мальчик вдруг резко оттолкнул мою руку, выпятил живот с крантиком и гордо крикнул:

— Ноу хинди! Хир из Тамилнаду! Спик инглиш ор тамиль! (Никакого хинди! Здесь Тамилнад! Говори по-английски или по-тамильски!)

Вот это номер! Юнец без штанов разгуливает, а незамедлительно и точно классифицировал цыганский язык как один из индоарийских. И какое национальное самосознание!

Я вынул из кармана карандаш, который берег для гостиничного боя, и вручил юному языковеду.

Но тут из-за груды песка выскочила еще дюжина его коллег мал мала меньше и устремилась ко мне.

Доктор Кришнамурти
и доктор Рао

Доктор Кришнамурти — доктор в прямом смысле, поскольку он терапевт, а доктор Рао, университетский преподаватель, по-нашему — кандидат философских наук. Оба, как я уже говорил, ездили с нами по индийскому Югу. Кришнамурти заботился о нас как врач, Рао — как администратор.

Доктор Рао — в полном противоречии с расхожими представлениями о южном темпераменте — был всегда невозмутим и спокоен. А южанином он был даже для Индии. Как уже видно по его джати, родом он был из дравидского штата Андхра-Прадеш, самого, впрочем, северного из южных штатов.

Доктор Кришнамурти, тамильский брахман, очкастый и шуплый, выглядел человеком без возраста: ему могло быть и двадцать пять, и сорок. Иногда нам удавалось есть в одно время, и я заметил, что ест он одни вегетарианские блюда, пользуясь только ложкой. Чем питается доктор Рао, мне заметить не удалось, но, во всяком случае, он пользовался вилок и ножом на европейский лад. Прошу понять



меня правильно: я не любитель заглядывать в чужие тарелки, но в данном случае мною двигала чисто этнографическая любознательность. В присутствии Рао Кришнамурти становился как бы незаметнее и тише (хотя и вообще был человек тихий и ненавязчивый), что тоже было понятно: один — начальник, а другой — подчиненный.

Доктор Рао довольно часто стал общаться со мной. Может быть, тому причиной была наша беседа у скального храма Махабалипурам.

Кубические сооружения храма сплошь покрыты барельефами, частью плохо различимыми, но больше прекрасно сохранившимися: слоны, боги, люди в юбках-лунджи и сари. Этот храм служил музеем, потому разуваться было не обязательно, тем не менее я заметил, что доктор Кришнамурти задержался у двери автобуса и спрыгнул босой, а подойдя к храму, молитвенно сложил руки.

У храма было немало людей, кто складывал руки, кто нет. И две тысячи лет назад толпились здесь такие же люди в таких же юбках, делали те же движения. Индусы очень серьезно (а для нашего удобства по-английски) обсуждали, кто и что изображено. Причем все знали подробности, хотя в толкованиях порой весьма существенно расходились.

— Были вы в Северной Индии? — спросил меня доктор Рао. — Видели Тадж-Махал?

— В Северной Индии не был, а Тадж-Махал, конечно же, видел на фотографиях в журналах и книгах.

— И как вам он нравится?

Мне показалось, что в голосе доктора Рао звучит оттенок напряженности.

— Жемчужина мировой архитектуры, — отвечал я искренне, — гордость Индии. Но, доктор, это ведь не только Индия. Это архитектура Востока.

Доктор Рао сжал мне руку.

— Вот именно! Вот именно! А это — Индия. Дравидский Юг — это Индия без иранского влияния.

С этой минуты доктор Рао у любого из памятников стал как бы моим личным гидом. Знал он — не в пример гидам-профессионалам — много, и знания его были точны.

Довольно скоро я убедился, что нашу страну он представлял себе тоже очень неплохо. Он разбирался в истории, знал даже, что литовский и латышский языки из живых европейских ближе всего к санскриту. Представлял разницу в росте населения наших республик. В общем, ученую степень имел не зря.

— Скажите, — спрашивал он у меня, — а не кажется вам, что развитие частной инициативы приведет у вас к такому же неравенству, как у нас?

Коммунистических взглядов он не разделял и часто вспоминал Англию, где стажировался. Хотя, судя по всему, наиболее милым его сердцу был путь средний между английским и нашим. Может быть, что-то на основе индийских традиций. Хотя среди этих традиций есть такие...

— Вы имеете в виду касты? — спросил я напрямик.

— И касты тоже. Здесь не все так просто, как кажется вам, европейцам. Возьмите неприкасаемых. Я сам много занимался этим. Большую программу проектировали в Андхре: помочь им получить землю, образование. Им резервировали места в университетах, на службе. Но скажите: если тысячи поколений вечно голодали, были унижены, их избивали за малейшую попытку протеста, разве это не могло не сказаться на потомках? Чисто генетически? И, кроме того, они оказались не способны вести крестьянское хозяйство. Ведь быть крестьянином — это работать не только мускулами, но и головой. А тысячи лет землевладельцы не позволяли им думать, только показывали каждый день, какую примитивнейшую работу делать.

Доктор Рао говорил очень серьезно...

Невеста доктора Кришнамурти

Возраст доктора Кришнамурти я узнал случайно. В Канчипураме, где, по словам индийских друзей, недорого можно купить превосходные сари.

Доктор выходил из лавки, держа два роскошных отреза — синий и коричневый с золотом — под мышкой. Он выглядел очень довольным.



— Жена обрадуется, — сказал я, пощупав и рассмотрев отрезы.

— Это для сестры, — отвечал доктор с сильным тамильским акцентом, — я еще холостой. — И, подмигнув, добавил: — Молод еще.

— Сколько же вам лет, доктор? — поинтересовался я.

— Всего двадцать шесть. Есть еще время.

Доктор Рао, шедший со мной, пояснил:

— Он не шутит. Индусы из хорошей семьи, да еще и доктора или адвокаты, женятся лет в тридцать — тридцать пять. Надо встать на ноги, а для этого иметь свою практику. Это в один год не делается.

— А невеста будет ждать? — спросил я.

— Она еще не знает, что она — будущая миссис Кришнамурти. Она, наверное, только-только в школу пошла.

— Такая разница? — изумился я.

— Ничего, — усмехнулся доктор, — после первых семи детей разница станет незаметной. — Легкая тень пробежала по лицу доктора Рао. — Вы помните мою дочь?

Со своей дочерью — красивой молодой дамой, ученым-биологом, — он познакомил меня в столице Кералы Тривандраме.

— Она не замужем. Ей уже двадцать семь. Она очень интеллигентна. А быть индийской женой трудно, очень трудно. Особенно интеллигентной женщине. — Доктор Рао вздохнул. — Зато у старшей уже пятеро детей. Я вам внуков показывал?

И доктор Рао полез за бумажником.

Правати и ее свекровь

Правати, наша переводчица, родом была из Кералы, из самого Тривандрама. Она окончила университет имени Лумумбы, говорила по-русски как московская студентка и носила джинсы. Но в первом же керальском городе, куда мы попали — это был портовый город Кочин, сменила наряд на скромное сари. И все время в родном штате не изменяла традиционному наряду.

С ней было очень легко общаться, все-таки чувствовалась москвичка и даже патриотка Москвы. (Вообще отмечено, что нет больших патриотов, чем иногородние учащиеся крупных университетских городов.)

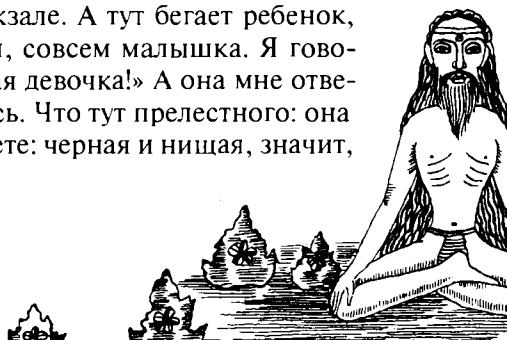
Уже под самый конец пути мы договорились с ней пройти по Мадрасу (это был конечный пункт), поговорить, посмотреть, не суетясь, обыденные достопримечательности вроде почты, вокзала и театра. Так и сделали.

Утомленные прогулкой по жаркому городу, мы зашли в первый же тенистый двор, окружавший внушительное здание в колониально-викторианском стиле (это и была почта), и присели, не прекращая разговора, на лавочку. Правати все еще не имела постоянной работы, и этот вопрос, естественно, ее волновал. Полгода назад она заполнила необходимые и бесчисленные бумаги и теперь ждала вызова в Тривандрамский университет на собеседование. Черепаши темпы оформления сильно ее раздражали, хотя у нас она могла бы к подобному и привыкнуть. Об этом я ей и сказал.

— Ну что вы, — возразила Правати, — я здесь от многого отвыкла. Не знаю, как буду привыкать. В Тривандраме — только освободилась, побежала к родителям мужа — у них мой сын, ему год уже. У них очень строгая семья. Бабушка мужа, мать его отца, никогда в его доме не ест. Потому что он — намбудири-брахман, а его жена, моя свекровь, — менон, это чуть-чуть ниже. А у свекрови новая служанка. Такая милая девочка лет четырнадцати. Все делает, только готовить ей не дают — она низкокастовая. Симпатичная, услужливая. Свекровь ею очень довольна. И вдруг свекровь мне говорит: «Смотри, какая порядочная, а ведь такая черная». Я даже сразу не поняла. А сама-то совсем как я.

И Правати легко коснулась пальцем своей светло-коричневой щеки.

— Однажды сидим мы на вокзале. А тут бежит ребенок, голенький, только с браслетом, совсем малышка. Я говорю свекрови: «Какая прелестная девочка!» А она мне отвечает: «Правати, я тебе удивляюсь. Что тут прелестного: она ведь черная и нищая». Понимаете: черная и нищая, значит,



все. И если бы так думала только свекровь... Кончится ли это когда-нибудь?

— А что, — спросил я, — низкокастовые обязательно черные и нищие?

— Да что вы! В Москве я дружила с одной девочкой у нас в университете, неприкасаемой из Андхры. Во-первых, она светлее меня. А во-вторых, довольно богатая. Когда хариджанов наделяли землей, ее отец умело ею распорядился, он очень хороший хозяин. Потом были льготы для учебы, и он всем сыновьям дал образование. А дочку послал в Москву. У них очень приличная семья. Мы в Лумумбе очень дружили, говорили по-русски: она не знает языка малаялам, а я — телугу. Даже в Дели встречались, я была в доме ее родственников, тоже по-русски говорили. Может быть, ей легче будет с работой. Вы знаете, для них резервированы места. О нас бы кто позаботился!..

— А к вам в гости она не приедет в Тривандрам?

— Ко мне? Что вы! Вы не знаете мою свекровь!..

Посрамление и торжество книжного знания

Шли последние дни путешествия по Индии, и, сверяя свои впечатления и накопившиеся уже в блокноте записи, я начал испытывать некое смутное беспокойство. Что-то, казалось мне, я должен был обязательно увидеть, но не увидел. Вскоре понял, что именно. Мы находились уже почти месяц в «зоне интенсивного потребления бетеля» — именно так писалось в книгах, — но именно эту интенсивность я никак не мог углядеть. Что там углядеть! Я должен был обязательно пожевать бетель, не так, может быть, интенсивно, как это делают местные жители, предающиеся жеванию с юного возраста до глубокой старости, но ощутить языком, нёбом, горлом его «слабую жгучесть», поддаться «легкому наркотическому воздействию» и «заглушить чувство голода» (здесь и далее в кавычки взяты обороты и термины из индоведческих книг). Все это я был просто обязан сделать. Хотя бы потому, что потребление бетеля изучается

этнографией питания, а она издавна была моей слабостью. Я был готов выполнить долг исследователя, но местные жители отчего-то на моих глазах никак «не заворачивали в бетелевый лист малую дозу извести и кусок ядра арековой пальмы». Я удвоил бдительность, внимательно осматривая чуть ли не каждого индийца, встреченного нами, но граждане дружественной страны делали все что угодно, только не жевали бетель. Заметив же повышенный интерес иностранца к их особе, они как бы невзначай одним глазом быстро проверяли, все ли у них в порядке, и, убедившись, что ничего необычного с ними не случилось, ослепительно улыбались и, подняв руку, помахивали в знак приветствия ладонью. В ладони, естественно, кулька с бетелем не было. Спутники мои, почувствовав мою озабоченность, поинтересовались, в чем причина. Я не стал скрывать.

— Это что за бетель такой? — поинтересовался Паша Князев, овощевод из-под Астрахани.

Я, как мог, описал, добавив, что на юге Индии его называют «пан». От жевания бетеля, добавил я, «слюна во рту приобретает кроваво-красный цвет».

— Это не от него тут все тротуары красным заплываны? — спросил Паша. — А я-то думаю, что это они все кровью плюют...

Тут-то и оказалось, что все (прописью: ВСЕ) мои спутники наблюдали, как южные люди, пожевав что-то, купленное с уличного лотка, с блаженным видом пускают изо рта пурпурную струю, да как еще далеко! Так соревнуются у нас мальчишки в начальных классах. А лотки эти повсюду, стоит только выйти в город. Мои друзья, не ведая о своем пребывании «в зоне интенсивного потребления», заметили сам факт «потребления» уже давно.

Доктор Виноградов отнесся к моей идее скептически.

— Вы себе здешнюю уличную гигиену представляете? Вам амебной дизентерии не хватает? Нет, я категорически против.

Я долго уговаривал его, объясняя, что для этнографа питания не попробовать пищевой продукт — это все равно что эпидемиологу не проверить на себе действие вакцины. Я привел в пример Пастера. Доктор сдался.



— Но только, — предупредил он, — под моим наблюдением.

Утром следующего дня в сопровождении доктора и переводчицы Правати я вышел из гостиницы, чтобы приступить к полевым исследованиям. Доктор попросил Правати показать наиболее надежного с точки зрения гигиены торговца паном. Правати охотно согласилась, тем более что ей самой редко доводилось лакомиться паном. В детстве запрещала мама, а теперь — свекровь. Обе не верили в чистоту рук торговцев, и обеим жевание бетеля представлялось вульгарно-простонародным.

Торговцы паном сидели тут же, на автобусной остановке неподалеку от Барма-базара. На низеньких столиках перед ними толпились банки, баночки и коробки с яркими разноцветными порошками и пастами. Господи, сколько раз я видел этих коммерсантов, но принимал их за уличных художников или продавцов специй. На табуретках рядом со столиком лежали стопки нарезанных большими квадратами листьев. Это и был сам бетель.

Обойдя несколько столиков, Правати остановилась у одного и произнесла короткую фразу. Торговец, оценив нас взглядом специалиста, перебрал листы в стопке, посмотрел на свет, остался качеством доволен и расстелил лист на столике. Оттопырил большой палец с угольно-черной подушечкой, слегка примерился, словно художник, раздумывающий перед первым мазком, и, запустив палец в баночку, нанес первый штрих — ярко-красный. Стремительно вытер палец о тряпицу, висящую сбоку столика («Не смотрите на тряпку!» — отчаянно крикнул доктор Виноградов), и запустил палец в следующую банку. Всего этих банок и коробок оказалось штук восемь. Поверхность листа, покрытая мазками, на глазах становилась похожей на палитру. Ложечкой торговец полил лист коричневым сиропом, потом медом, положил сухофруктов и, примерившись, приляпал сверху листок сусального серебра. Свернул все голубцом и протянул мне. Второй голубец он протянул Правати. Мы улыбнулись друг другу, а продавец улыбнулся нам. Я еще чуть помедлил и — сунул голубец в рот. То же сделала Правати.

— Серебро бактерицидно. Жуйте! — скомандовал доктор.

Рот немедленно наполнился сладкой и обильной слюной.

— Жуйте, жуйте, — сказала Правати, — немножко можно сглотнуть, остальное сплевывайте. Ох, не видит меня свекровь...

Все остальное полностью совпадало с данными литературных источников, и хотя это было приятно, крошечный червячок продолжал грызть меня. Не увидеть в упор то, что бросалось в глаза!

Но в целом настроение было превосходным: пан попробован, «интенсивность потребления» подтвердилась, и в просвещенной компании я вполне смогу доложить об органолептике потребления бетеля.

Мы завернули за угол и оказались на Барма-базаре — нескончаемом ряду сросшихся боками лавочек размером и глубиной с платяной шкаф.

Среди всего этого неспешно двигалась густая толпа, и свободного места не оставалось совершенно.

Оставалось купить несколько недорогих сувениров, и торопиться нам было некуда, тем более что выбор был широкий. обстоятельно рассматривали мы статуэтки, тарелочки, брелоки, не вступая, однако, в торг. Это было добровольной обязанностью Правати, которая, конечно же, знала быт и нравы восточного базара гораздо лучше нас.

Доктора что-то заинтересовало, и Правати осведомилась о цене. Разговор шел по-английски и потому был понятен:

— Сколько стоит?

— Вас интересует настоящая цена?

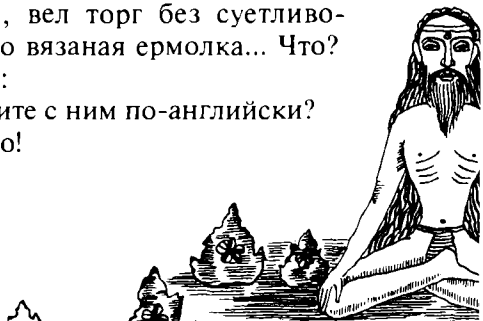
— Нет, последняя.

— Мисс, это — самая последняя!

Продавец, пожилой мужчина в европейском платье и вязаной белой ермолке, вел торг без суетливости. Что-то мне напоминала его вязаная ермолка... Что? И я спросил нарочито спокойно:

— Правати, а почему вы говорите с ним по-английски?

— Но я же не знаю тамильского!



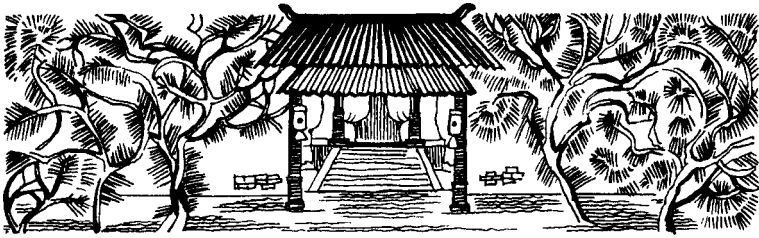
— А вы говорите на малаялам.

— А почему вы думаете, что он понимает малаялам?

— Да потому, что на нем шапочка, «которую носят керальские мусульмане — мопла»!

Правати недоверчиво посмотрела на меня. Во взгляде ее читалось: «Вы еще мне будете объяснять!», но, обернувшись к продавцу в ермолке, она что-то неуверенно сказала. В ответ последовал такой радостный, громкий и стремительный ответ, что у меня отлегло от сердца. Это был момент истинного торжества книжного знания...

Глава 7 В тот день в Пенанге



Автор приходит к выводу, что о тропическом ливне лучше писать, чем под ним гулять, а для пользы дела всегда стоит посоветоваться с Лоуренсом Лю.

Мне очень хотелось, чтобы министерство информации и туризма Малайзии наградило меня сонгоком и крисом. Этой высокой награды я мог бы быть удостоен лишь по совокупности будущих заслуг. Усмотрело же министерство во мне лицо, способное к заслугам. Иначе зачем оно пригласило меня в страну? Телячий же восторг, не покидавший меня с первого до последнего дня в Малайзии, должен был убедить сотрудников министерства в том, что в выборе они не ошиблись. Пригласили нас вдвоем с востоковедом Иваном Захарченко, однако вполне могли бы выдать два сонгока и один крис. Ответственные сотрудники мисс Синди Лим и господин Разалли Хусейн судили бы, скажем, так: они (то есть мы) оба — достойные джентльмены, и восторг обоих обещает необходимые для получения награды заслуги, но негоже награждать одинаково двух людей, если один из них годится другому в отцы. И возможно ли оставлять не очень молодого человека без вполне подходящего ему криса, в то время как молодой располагает еще достаточно временем для того, чтобы заслужить свой крис? А напоминать ему о неизрасходованных еще возможностях будет сонгок.

Мои крис и сонгок

Однако не пристало мне, человеку, мечтавшему быть увенчанным сонгоком и удостоенным криса, оставлять читателя в неведении относительно обоих этих почетных предметов. Известный мне — по источникам — малайский почетный обычай жаловать крис стал основой моих мечтаний. Сонгок же мне просто очень нравился, и я живо представлял его на своей голове. Как следует из предыдущей фразы, «сонгок» — шапочка, бархатная, на твердой основе, напоминающая феску в форме эллипса с плоским верхом, черная или темно-синяя. Если вам приходилось видеть портрет малазийского премьера, а также близкого по языку и религии президента Индонезии, вы обязательно видели и сонгок: без этого головного убора они не фотографируются. У малайцев и народов Индонезии эта шапочка означает принадлежность к исламу. Но поскольку мусульмане других стран и народов прикрывают головы разнообразными иными изделиями швейной и трикотажной промышленности, а также тюрбанами, платками и даже полотенцами, сонгок стал головным убором национального значения, и в этом качестве его можно преподносить дорогим гостям, будь они даже неверными. Сами же малайцы и индонезийцы — если они не официальные лица — довольствуются обычно скромными вязаными ермолками белого цвета, а то и вовсе ходят простоволосыми.

Иное дело свадьба или другой праздник — тут сонгок обязателен, как и короткая юбка поверх брюк. Как и крис за поясом этой юбки.

Крис — кинжал с извилистым лезвием, покрытым орнаментом. Ученые-крисоведы (я просто уверен, что такие есть, судя по обилию версий, которые мне выдвигали в пяти музеях и двадцати пяти лавках Малайзии, о происхождении, смысле и символике этого кинжала) называют такой клинок пламевидным. (Есть и другие названия, исходящие из других легенд.) Пока крис в ножнах, пламевидный клинок его не виден, но спутать крис с любым другим оружием невозможно. Сначала кажется, что заостренное и изогну-

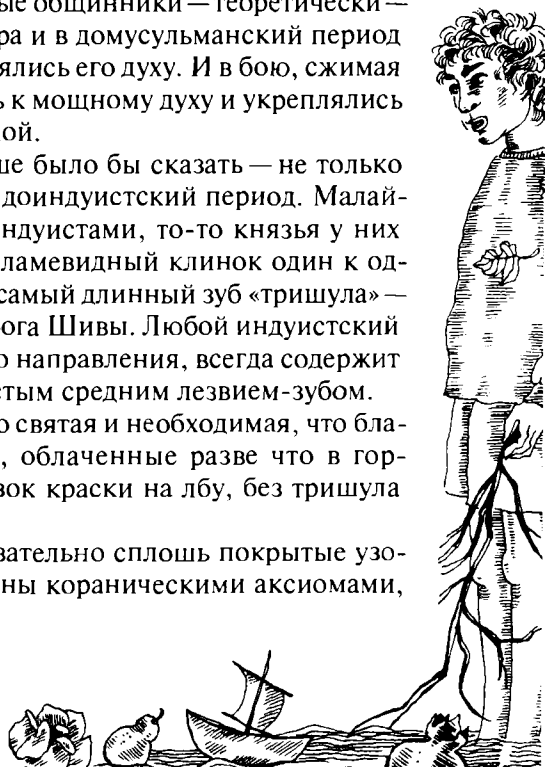
тое навершие ножен вовсе их не венчает, а служит эфесом кинжала, но стоит потянуть за рукоятку, и та плавно выйдет из этого «эфеса». Так вот: на всех картинах назидательно-исторического жанра, которые я видел в пяти музеях и в фойе министерства, где изображены были выдающиеся раджи, придворные вельможи стояли в достойных и величественных позах, и руки их покоились на этом навершии. Полагаю, что руки их не уставали, ибо таким людям крис делался по персональному спецзаказу. Да и рукоятка могла быть только специальной, поскольку изображала всегда предка владельца криса. А потому все элементы ее носили свои названия, полностью соответствующие частям тела предка.

Как следует из всего сказанного выше, владеть крисом мог только человек, имеющий предков. Оно, конечно, в те далекие времена, когда крис стал излюбленным оружием малайских народов, в пробирке еще никто не рождался. Но родиться во многих поколениях от папы с мамой еще не значит обладать предками. Какие, к черту, предки могут быть у раба или пришельца, из милости пущенного в общину? Зато все свободные общинники — теоретически — вели род от единого пращура и в домусульманский период малайской истории поклонялись его духу. И в бою, сжимая рукоять криса, прикасались к мощному духу и укреплялись его сверхъестественной силой.

Собственно говоря, лучше было бы сказать — не только в домусульманский, но и в доиндуистский период. Малайцы ведь были когда-то и индуистами, то-то князья у них именовались раджами! И пламевидный клинок один к одному напоминает средний, самый длинный зуб «тришула» — боевого трезубца грозного бога Шивы. Любой индуистский храм, особо же шиваитского направления, всегда содержит тришул с длинным извилистым средним лезвием-зубом.

Тришул — вещь настолько святая и необходимая, что благочестивые старцы-саддху, облаченные разве что в горсточку пепла на теле да мазок краски на лбу, без тришула на люди не покажутся.

Зато ножны криса — обязательно сплошь покрытые узором — чаще всего изукрашены кораническими аксиомами,



и арабская вязь, переплетаясь с растительным орнаментом, как бы символизирует последнюю и высшую стадию развития малайского общества.

Таковы три источника, три составные части кинжала-криса, оружия малайцев. В самом, конечно, приблизительном виде. При этом многое осталось для меня неясным. Особенно же — смысл и причина появления того наверхия, которое легко принять за эфес. В пяти музеях и двадцати пяти лавках мне дали примерно двенадцать объяснений.

Но я не буду их перечислять и пересказывать, ограничившись одним: оно получено мною совсем недалеко от столицы, в штате, символ которого — крис. В человеческий рост величиной, он косо возвышается на бетонном постаменте в райцентре. Еще не так давно, точнее, когда холодное оружие было основным у малайских воинов, наверхие делали из стали или из не очень уступающего ей по твердости железного дерева, ножны служили боевым топором — вроде томагавка. Полагаю, что это разумное и логичное объяснение имеет не меньшее право на существование, чем одиннадцать других, тем более что они, кроме одного, очень мирного, не так уж и отличаются друг от друга. (Мирный толкователь утверждал, что наверхие — ладья, в которой рукоятка — дух предка — отправляется в лучший мир.)

Мой интерес к крису объяснялся тем, что в моем книжно подготовленном сознании образ Малайзии был накрепко связан с этим кинжалом, сонгоком и телескопически выходящими одна из другой крышами дворцов раджей. И когда в первом же магазине мне показали старинный крис, я с удовлетворением ощутил, что мое восприятие не было так уж оторвано от жизненной правды. По счастью, цена криса превосходила мои возможности. Не желая это показывать, я сказал с задумчивым видом:

— Таковую вещь, наверное, нельзя вывозить из страны?

Хозяин мастерским поворотом головы и точно выверенной улыбкой как бы подтвердил мои опасения, ни словом, однако, не сказав ни «да», ни «нет». Глаза его были полны сочувствия.

— Можно постараться получить разрешение, сэръ. Я помогу вам.

— Нет, нет, — отвечал я с облегчением, — мне неудобно доставлять вам трудности.

— Никаких трудностей, сэр! — запротестовал хозяин, но я уже шел к выходу. — Это входит в цену. Сэр! Мы можем поговорить о скидке...

Этих последних слов я мог бы и не слышать, ибо был уже на улице.

То, что мне повезло, я понял довольно скоро, ибо в других лавках, предварительно оцнив меня взглядом и показывая радушной улыбкой и доверительным тоном, что безошибочно определили во мне знатока, демонстрировали старинный крис, один к одному похожий на тот, первый. Очевидно, их делали в той же мастерской.

Я почти оставил мечты о крисе. Правда, все еще надеялся на заключительную встречу в министерстве. Мы бы выразили удовольствие от страны и поездки. Малазийская сторона выразила бы удовольствие от нашей поездки и будущих публикаций. Затем служитель внес бы свертки, один из них длинный и плоский. Лица хозяев стали бы серьезными. Мы бы встали по уставу.

... Не было заключительной встречи. Прямо с северного острова Лангкави мы улетали — с пересадкой в Куала-Лумпуре — в Москву. Но остров стоил любого министерского приема. Там, на Лангкави, я и купил себе воделенный крис. И оба мы купили сонгоки.

С меня еще взяли обязательство, что крис будет слан в багаж, а никоим образом не в ручную кладь. Кроме того, я был уведомлен, что крис — если будет наточен — может стать предметом особой опасности для моих близких.

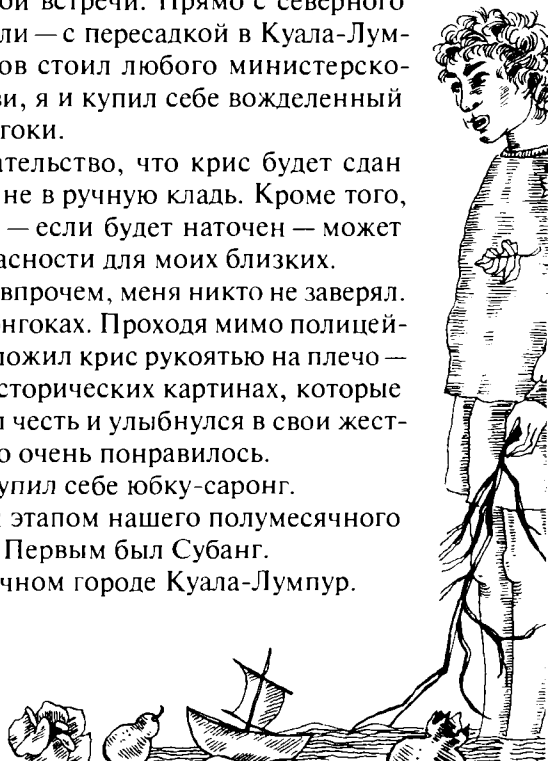
В старинности предмета, впрочем, меня никто не заверял.

Из лавки мы уходили в сонгоках. Проходя мимо полицейского стража у выхода, я положил крис рукоятью на плечо — так, как на назидательно-исторических картинах, которые видел в музеях. Страж отдал честь и улыбнулся в свои жесткие малайские усы. Мне это очень понравилось.

Там же, на Лангкави, я купил себе юбку-саронг.

Лангкави был последним этапом нашего полумесячного путешествия по Малайзии. Первым был Субанг.

Аэропорт Субанг в столичном городе Куала-Лумпур.



Слияние рек

Аэропорт Субанг поразил тишиной и пустотой: с самолета сошли, включая нас, всего четверо в пиджаках и галстуках. Мы прилетели на следующий день после назначенного и беспокоились: встретят ли нас? В Малайзии до того мы никогда не были, не знали Куала-Лумпура, а также местных привычек и обычаев. Знание того, что название столицы переводится как «Илистое слияние рек», в данной ситуации помочь не могло. Кстати, что за реки слились, мы тоже не знали. Оказавшись далеко — а тем более так далеко — от дома, становишься неопытным, как малое дитя, даже в столь, казалось бы, простом вопросе: можно ли скинуть пиджак и распустить галстук или же это будет воспринято как грубейшее нарушение политеса и неуважение к хозяевам. Добрая, ободряющая рука — в данном случае министерского представителя — должна была по-отечески поддержать нас в первых шагах.

Работник российского госучреждения за рубежом, встречавший наших спутников, был одет в элегантную рубашку с крокодилчиком и безукоризненно белые шорты. Вопрос о пиджаках и галстуках разрешился.

За ним появился плотный смуглый мужчина с картонным плакатиком: «Mr. Mints & Mr. Ivan». Мы шагнули ему навстречу — в горячий, влажный и странно пахнущий воздух. Странно, резковато, но вовсе не неприятно. Как и должен пахнуть воздух тропиков.

Мужчину в розовой рубашке звали Висванатан, для краткости, но без фамильярности — Висва. Он оказался нашим официальным гидом, которому известны наше расписание, гостиницы, где заказаны номера и тот набор обязательной информации, с которой должен быть ознакомлен гость страны. Он же повезет нас, куда мы пожелаем. За нами оставалось право отпустить его, когда мы предпочтем передвигаться сами для более тесного контакта с местными реалиями и населением.

Этим правом мы немедленно воспользовались, едва он привез нас в превосходную гостиницу «Свисс Гарден».

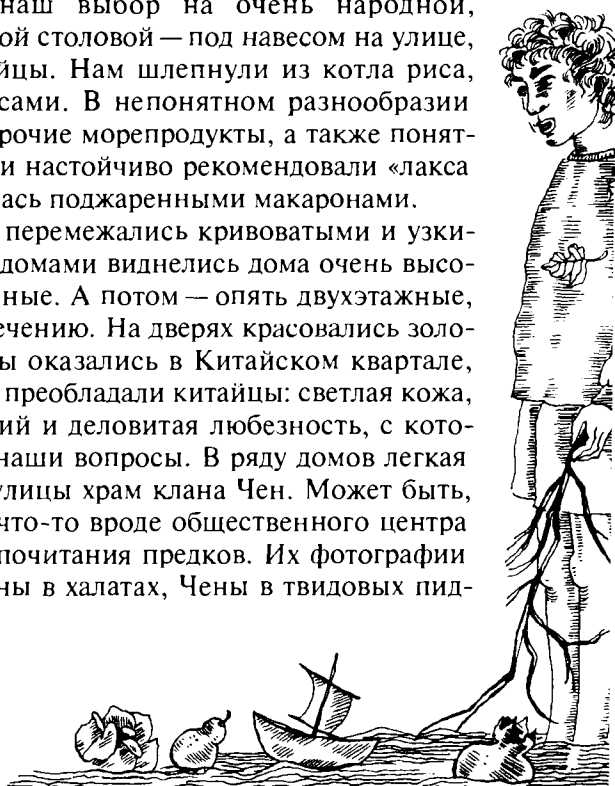
Договорились, что Висва приедет в половине восьмого и покажет вечерний Куала-Лумпур. До этого мы хотели побродить по городу сами, набраться первых впечатлений, обычно самых ярких и стойких.

Когда, помывшись и переодевшись в неофициальные, но более удобные для тропиков одежды, мы вышли на широкую улицу Джалан Пуду, где в банном воздухе неслись машины, а по крытым переходам-мостикам шли люди самых разных цветов кожи, эту тяжелую усталость как рукой сняло: сердца наши стремились к Востоку, и Восток был перед нами.

Мы пошли по Джалан Пуду, свернули на Джалан Тун Перак, оттуда на Джалан Петалинг и за следующим поворотом поняли, что «джалан» значит «улица». По Петалингу мы добрались до квартала двухэтажных домов с металлическими балкончиками и жалюзи. От домов, правда, остались только фасады: шла реконструкция, при которой полностью обновлялась начинка здания. Даже если здание наращивало этажи, улица сохраняла свой традиционный облик на уровне видимости пешехода.

Мы остановили наш выбор на очень народной, но не слишком дешевой столовой — под навесом на улице, где ели руками малайцы. Нам шлепнули из котла риса, остальное набирали сами. В непонятном разнообразии преобладала рыба и прочие морепродукты, а также понятная курятина. Вывески настойчиво рекомендовали «лакса пинанг». Лакса оказалась поджаренными макаронами.

Широкие джаланы перемежались кривоватыми и узкими, за двухэтажными домами виднелись дома очень высокие и очень современные. А потом — опять двухэтажные, но не подвергнутые лечению. На дверях красовались золоченые иероглифы. Мы оказались в Китайском квартале, и среди прохожих уже преобладали китайцы: светлая кожа, приличный английский и деловитая любезность, с которой они отвечали на наши вопросы. В ряду домов легкая решетка отделяла от улицы храм клана Чен. Может быть, это был и не храм, а что-то вроде общественного центра клана, а также место почитания предков. Их фотографии покрывали стены: Чены в халатах, Чены в твидовых пид-



жаках и галстуках, Чены в тяжелых очках. Ченов, скончавшихся до широкого распространения фотографии, увековечивали аккуратные овальные таблички с их почтенными именами. Каменные плиты двора, куда выходит сам храм без передней стены, были чисто подметены. В боковой галерее беседовали за чаем пожилые мужчины, тоже Чены. Любезным взмахом руки они позволили нам пройти и продолжили свою беседу, не обращая внимания на наши передвижения.

Мы лишь однажды нарушили их покой, осведомившись, можно ли фотографировать. Тем же благосклонным жестом Чены предоставили нам полную свободу действий. Статуй богов для храма было маловато. Скорее всего это были даже не боги, а изображения Учителя Куна, известного в Европе как Конфуций. Чены простились с нами все тем же любезным взмахом.

Мы сворачивали в переулки, пока вновь не оказались на шумном джалане и заранее начали расспрашивать прохожих о том, как вернуться назад. Кажется, мы забрались очень далеко от гостиницы и не торопясь пошли домой в весьма приятном расположении духа: самые первые шаги по стране подтвердили наши надежды на ее экзотичность.

Лишь некое обстоятельство слегка смущало — среди всего разнообразия не хватало одной детали, тесно связанной в нашем восприятии с городами Юго-Восточной Азии: мы ждали от Китайского квартала сутолоки и торговцев лапшой на каждом свободном квадратном метре.

Как выяснилось, неразмышляющие ноги привели нас совершенно правильно: вечером приехал Висва и немедленно отвез нас в тот же самый Китай-город. Судя по всему, это и был настоящий — теперь кипящий — центр города. Мостовые, уставленные лотками и стендами с товаром, тротуары, по которым невозможно пройти из-за столиков и передвижных плит. Да ходить по тротуарам и не нужно. Нужно пробираться между торговым людом, рассматривая товары, прицениваясь, а может, даже и покупая. А если вы устали от ходьбы и пестроты товара, сделайте шаг влево или вправо, и вы окажетесь за столиком. Можно и просто попить чаю.

Пища, кстати, оказалась не столь уж разнообразной: лапша с чем угодно, птица, пельмени. Зато названия ее свидетельствуют о древней культуре производителей. И об их бурной фантазии. «Пять ароматов», «Осенние листья», «Башня Великой стены» — а все та же лапша в бульоне. Или вот: «Лапша строителей счастья». Что это: лапша с курятиной, свининой и креветками или — как бы намекая на свершения китайского народа на исторической родине — просто вермишель, сбрызнутая соевым соусом?

Висва на правах хозяина и старожила пригласил нас перекусить, метким глазом выделив из моря лапшевен самую достойную.

— Только, — посоветовал он, — всегда следите, как моют посуду. Тут некоторые просто ставят ведро с водой и в нем одном моют после всех клиентов. Вообще-то у нас за гигиеной очень следят, но осторожность не помешает. Ищите ведро — если оно есть, идите в другое место.

Так мы и делали впредь, хотя, забегая вперед, можем подтвердить, что повсюду было чисто, иной раз — просто стерильно. В тропиках иначе, наверное, и нельзя.

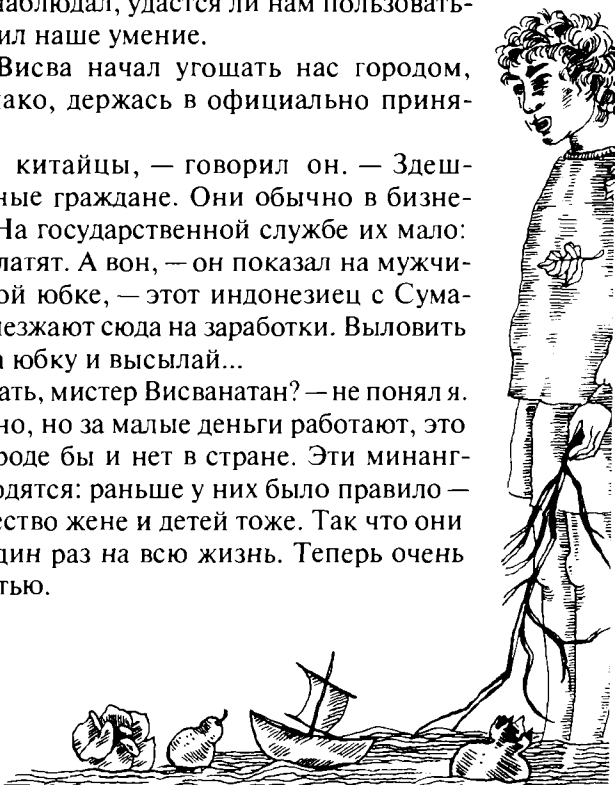
Висва с интересом наблюдал, удастся ли нам пользоваться палочками. Похвалил наше умение.

Прямо за столом Висва начал угощать нас городом, на первый вечер, однако, держась в официально принятых рамках.

— Тут в основном китайцы, — говорил он. — Здешние китайцы — лояльные граждане. Они обычно в бизнесе, юристы, доктора. На государственной службе их мало: там, знаете ли, мало платят. А вон, — он показал на мужчину в длинной клетчатой юбке, — этот индонезиец с Суматры, минангкабау. Приезжают сюда на заработки. Выловить их не трудно: хватай за юбку и высылай...

— А чего за юбку хватать, мистер Висванатан? — не понял я.

— А они тут незаконно, но за малые деньги работают, это выгодно, так что их вроде бы и нет в стране. Эти минангкабау никогда не разводятся: раньше у них было правило — при разводе все имущество жене и детей тоже. Так что они привыкли жениться один раз на всю жизнь. Теперь очень гордятся своей верностью.



Он повел нас в храм богини Кали, и по тому, как быстро сложил ладони, мы поняли, что он индеец, а по тому, как уверенно заговорил с привратником, — что индеец южный, тамил.

— В этом квартале раньше жили индийцы, потому храм и остался. Осторожно, джентльмены, по полу рассыпан рис, тут свадьба идет.

Ходить по рису босиком оказалось больновато: на рис не поспешили, свадьба была богатая. В приделе полуголый брахман с раскрашенным лбом умело одевал статую Ганеши, слоголового бога, ловко вынимая ткани из полиэтиленовых пакетов.

Все смешалось в этот первый, сумбурный, но многообещающий день: малайцы, китайцы, индийцы. Верные минангкабау в клетчатых саронгах. Небоскребы, двухэтажные домики. Слияние рек.

Вечером в гостинице, соображая, на какой край воистину четырехспальной кровати ложиться, я бродил по комнате и открыл ящики письменного стола. В одном лежала Библия, как положено в англоговорящей стране. К днищу другого была наглухо прикреплена пластмассовая стрелка с надписью «Кибла». Она указывала направление на Каабу в Мекке, куда должен обращаться лицом во время молитвы каждый верующий.

Все-таки мы прибыли в страну по преимуществу мусульманскую.

Дни шли за днями, отличаясь один от другого маршрутом. Мы объездили столицу и окрестности, увидели слияние рек Келанг и Гомбок. Город оказался довольно сумбурным, но оттого — еще более интересным. Вообще, говоря об азиатских городах, следует помнить, что вид их совсем не европейский: на Востоке нет ни Арбатов, ни Невских, нет ничего похожего на Таллин или Львов. То открытые и заросшие пространства, то улицы из особняков, то за поворотом гора и потом небоскребы, очень красивые — как в Абу-Даби на снимках, то — превосходя высотой холм, на котором они построены, — гигантские светлые здания, увенчанные черепичными малайскими крышами. Однако трущоб мы не увидели, хотя много бродили по городу.

...Мы побывали в мраморной мечети, построенной английским архитектором в североиндийском духе. Для голоногих и голоруких европейцев выдают легкие синие лапсердаки: они висят на вешалках у входа, а рядом (но не вместе!) саронги для женщин. Но и в благочестивом лапсердаке неверный смеет лишь обойти двор по периметру. Ему напомнят об этом надписи: «Вход только мусульманам». В крытом и мощенном мрамором пространстве спали верные, очевидно, приехавшие из далеких мест помолиться.

...В Национальном музее среди посетителей преобладали малайцы. Был день школьных экскурсий, и повсюду дисциплинированно бродили мальчики в белых рубашках со стоячим воротником, коротких зеленых юбчонках, из-под которых виднелись длинные белые брюки и — увы! — совсем нетрадиционные кроссовки. Головы их венчали черные сонгоки. Мальчики благосклонно, но без энтузиазма приняли наши значки и не проявили к нам никакого интереса.

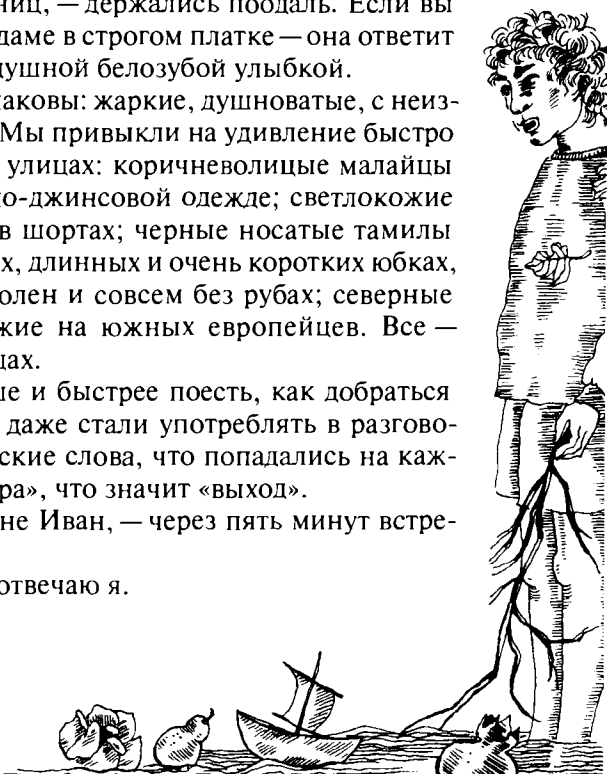
Девочки — в совершенно таких же исламско-монашеских платках, как у учительниц, — держались поодаль. Если вы улыбнетесь малайской даме в строгом платке — она ответит вам немедленно добродушной белозубой улыбкой.

Дни наши были одинаковы: жаркие, душноватые, с неизменно голубым небом. Мы привыкли на удивление быстро к разноликой толпе на улицах: коричневолицые малайцы в стандартной всемирно-джинсовой одежде; светлокожие и луноликие китайцы в шортах; черные носатые тамилы в брюках, шортах, трусах, длинных и очень коротких юбках, в майках, рубахах до колен и совсем без рубах; северные индийцы, очень похожие на южных европейцев. Все — очень свои на этих улицах.

Мы узнали, где лучше и быстрее поесть, как добраться до нужного места. Мы даже стали употреблять в разговорах между собой малайские слова, что попадались на каждом шагу. Вроде «келуара», что значит «выход».

— Ну что, — звонит мне Иван, — через пять минут встречаемся?

— Давай в келуаре, — отвечаю я.



— Лев Миронович, — возражает Иван, — ну что нам бродить по темным келуарам? Нет уж, лучше у портье, где тикет-тикет.

«Тикет-тикет» обозначало билетную конторку.

Конечно, сказать, что мы освоились с малазийской жизнью, было бы непросчительным нахальством, но если бы мы на него решились, одно обстоятельство немедленно бы поставило нас на место. Мы так и не смогли свыкнуться со здешним уличным движением. Дело это настолько важное — ибо что может быть лучше, чем пошляться по чужому городу! — что я позволю себе остановиться на нем подробнее. Я даже надеюсь, что мой немудреный рассказ послужит как бы инструкцией для каждого, кто соберется ступить на гостеприимную малазийскую землю. Она станет еще гостеприимнее, если вы запомните некоторые основные положения.

Во-первых, тротуар как место передвижения пешеходов отдельно от самодвижущихся транспортных средств существует здесь не везде. Иногда он не существует вовсе. Вы уже собрались ступить из дверей гостиницы и вдруг видите, что впритык к двери пронесится автобус. Дальше, правда, начинается тротуар, но тут же и кончается. На более узких и, так сказать, восточно-традиционных улицах, где проезжая часть отделена от пешеходной глубокой канавой, покрытой решеткой, на этой самой пешеходной части расставлены столики и висится плита, а за нею столики следующей общепитовской точки. Не желая мешать людям наслаждаться карри из рыбьих голов и многообразной лапшой, вы перешагиваете через решетку и оказываетесь в транспортном потоке.

Этот транспортный поток, во-вторых, устремлен не по-человечески, а по-английски, то есть в противоречащем нормальному сознанию левостороннем направлении. Малайзия ведь была британской колонией. Что британской — это полбеды, беда, что в Юго-Восточной Азии, а у молодежи этого региона нет большей забавы, как носиться на мотоциклах. Но и обилие рокеров — еще не главное. Главное в том, что гарцуют они в несчетном количестве со всех сторон одновременно.

Однако ходить по улицам и переходить их было нужно. Как-то случайно очутившись прямо посередине бурного транспортного потока, мы не без дрожи ощутили, что при всей лихости здешних мотоциклов они вовсе не стремятся причинить пешеходам зло, умело их объезжают и притом никак не выражают гнева, а наоборот успевают еще приветливо помахать рукой. Потом уже мы переходили более уверенно (хотя никогда — без страха). Главное — решиться. Это прямо как в холодную воду нырнуть: заставь себя, а там и привыкнешь.

Но, боюсь, этот совет применим не на всех магистралях. Иной джалан и местный закаленный житель не перейдет.

Однажды я увидел двух несомненных местных. Они перекрикивались через не очень широкую улицу, движение на которой — в обе стороны — не прекращалось ни на миг. Перекрывая рев моторов, они оглушительно кричали. Не зная языка, я просто уверен, что правильно понял их отчаянный диалог:

— Как ты туда попал? На ту сторону?! — надрывался один.

— Что значит попал?! Я здесь родился! — отвечал обреченно другой.

«Азиатский и Восточный отель»

Нашей главной целью был город Пенанг, или, если говорить точнее, город Джорджтаун на острове Пенанг. И все наше путешествие по Куала-Лумпуре с окрестностями и другим городам было как бы подготовкой к тому, что мы должны были на Пенанге сделать.

Гостиница, которую сняли для нас в Пенанге благодетели из министерства, носила название «Азиатский и Восточный отель». Так приблизительно перевел я ее название.

Еще в Куала-Лумпуре господин Разалли Хусейн нам понравится своей велико-



лепной старомодностью и памятью о безвозвратно ушедшем стиле жизни. Приблизительность перевода вызвана тем, что во фразе «Eastern & Oriental Hotel» оба эпитета значат по-русски — «восточный». Но поскольку первое слово обозначает еще и Азию, я думаю, что перевел правильно.

Весь день мы ехали на север, и дождь, начавшись в горах, перестал лишь на краткий час, а потом уже не кончался всю дорогу, перейдя в ливень. Это замедляло наше продвижение, да к тому же по пути сломалась машина, и ее чинили два часа. Поэтому в Пенанг мы прибыли лишь под вечер. Лучше было бы сказать на Пенанг: так называется остров, а город на нем — Джорджтаун, но, разросшись и заняв собой весь остров, город принял его название. Так же называется и штат, часть которого лежит на континенте. Многие люди ездят на остров на работу, пользуясь шоссе на дамбе и паромом. Еще на подъезде Висва спросил о чем-то барышню в форменном платье и платке, пока платил за проезд по федеральной дороге.

— Джентльмены, — он обернулся к нам, — лучше паромом.

Это было чуть длиннее, но мы тогда не придали этому значения. На пароме все было нормально, дождь еле моросил, и вечером дождливого воскресного дня мы вылезли из машины перед длинным невысоким зданием в том стиле, что известен как «колониальный».

Висва умчался, обещав быть с утра: он ночевал в другой гостинице. Хорошо хоть, что мы знали ее название! Не знали мы другого: как тут же связаться с господином Тео Сен Ли, почетным консулом России в Пенанге и владельцем судоходной компании «Хай Тонг Шиппинг».

У нас было с ним общее дело: установка памятной доски с именами русских моряков, погибших на крейсере «Жемчуг» в пенангской бухте в 1914 году. Энтузиасты военно-морской истории нашли все имена павших, а благородные люди сделали доску. Доска ошутимо находилась в моем чемодане.

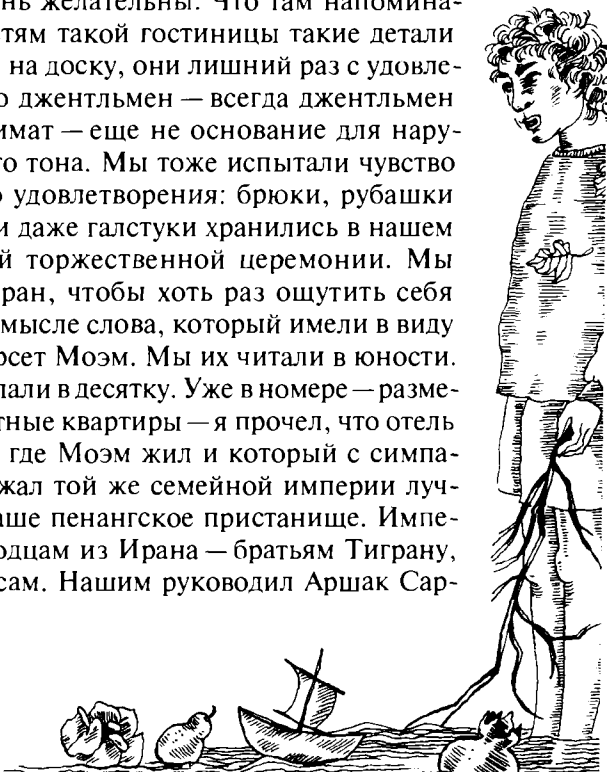
Господин Тео обещал помочь ее установить, на что у нас имелся всего один день. Энтузиасты в Москве полагали,

что на установку приедут представители посольства, может быть, сам посол, секретари, военный атташе и, уж конечно, военно-морской. В парадном белом мундире с кортиком, он возьмет под козырек, и это прекрасно будет смотреться на экране телевизора. Поэтому мы всерьез думали о приглашении местного TV. Был у нас припасен и Андреевский флаг.

Но в посольстве нам вежливо сказали, что присутствия Тео как официального лица достаточно. Тео предупрежден и выразил согласие. Вся беда заключалась в том, что у нас был только его служебный телефон. Да еще и приехали мы в воскресенье и с таким опозданием!

«Азиатский и Восточный отель» являл собою воплощение самых заветных мечтаний читателя английской заморской литературы. Даже лифтом в нем управлял пожилой бой, умело крутивший какой-то штурвальчик и впускавший сахибов в одни двери, а выпускавший из других. По мраморному полу вестибюля бесшумно скользили среди кресел и столиков красного дерева смуглые слуги. У входа в ресторан джентльменам напоминали, что майки, шорты, джинсы и шлепанцы не очень желательны. Что там напоминали! Ясно было, что гостям такой гостиницы такие детали и так известны и, глядя на доску, они лишний раз с удовлетворением отметят, что джентльмен — всегда джентльмен и что тропический климат — еще не основание для нарушений правил хорошего тона. Мы тоже испытали чувство слегка самодовольного удовлетворения: брюки, рубашки с длинными рукавами и даже галстуки хранились в нашем багаже для завтрашней торжественной церемонии. Мы решили пойти в ресторан, чтобы хоть раз ощутить себя белыми людьми в том смысле слова, который имели в виду Р. Киплинг и У. Соммерсет Моэм. Мы их читали в юности.

Насчет Моэма мы попали в десятку. Уже в номере — размером в две среднегабаритные квартиры — я прочел, что отель «Раффлз» в Сингапуре, где Моэм жил и который с симпатией описал, принадлежал той же семейной империи лучших гостиниц, что и наше пенангское пристанище. Империя принадлежала выходцам из Ирана — братьям Тиграну, Авету и Аршаку Саркисам. Нашим руководил Аршак Сар-



кис, душа европейского общества Джорджтауна. Радужный и благородный, мистер Аршак никому не отказывал в деньгах и разорился с концом каучукового бума. (Здесь европейцы занимались в основном каучуком.) И ныне отель принадлежит г-ну Чану, а балом по вечерам правит Альберт Ео, музыкант и совладелец.

Телефон конторы Тео не отвечал. До ужина — еще не переодеваясь — мы решили отыскать контору и оставить записку. Дождь еле моросил.

У входа в гостиницу сидел на велосипедном облучке унылый старый китаец-рикша. По-английски он понимал плохо, но компанию «Хай Тонг» знал и предложил нам свои услуги.

— Цетыле долла, сэр и сэр, — твердил он, поджав мизинец.

Мы соблазнились. Сиденье коляски рассчитано было на одного человека. Мы втиснулись вдвоем, очень неудобно. Водитель набросил на нас коленкорую полость и поднял верх. К неудобству добавилось полное отсутствие видимости. Рикша подергал педалями, и мы крайне неспешно тронулись, как мне кажется, вокруг все той же площади. Два раза мелькнул свет — я уверен, что из подъезда «Азиатского и Восточного». Мы по очереди высывали головы из-под навеса, чтобы как-то сориентироваться, и, очевидно, заметив нашу подозрительность, рикша свернул в боковую улицу. Он высадил нас на берегу изрядной лужи, за гладью которой виднелось невысокое, но приличное здание.

— «Хай Тонг», — сказал он, — никто нет, восклесенье.

Никого и не было. Мы обошли лужу, вернувшись к ее противоположному берегу, где покорно ждал наш водитель, и он снова поднял ладонь с поджатым мизинцем:

— Назад тозе цетыле...

Вроде бы мы подряжались в оба конца, но торг был неуместен. Да и имелись в виду малазийские ринггиты. Назад доехали куда быстрее.

Переодевшись в джентльменский наряд, мы спустились в ресторан и с внешне вялым интересом приняли в руки меню-альбом в коже. Увы! Человека делают белым не толь-

ко длинные брюки и бледный оттенок лица, делает его таковым наличием. Цены рассчитаны были на каучуковых плантаторов времен бума. Никак не показывая этого, мы расслабленными голосами («Ах, это у вас все европейское... А-а...») спросили у мэтра: нет ли поблизости хорошего китайского ресторана?

— Конечно, господа, — отвечал он любезнейше, — как же-с, квартал отсюда, ресторан «Мэй». Рады вас видеть, господа!

Раскрыв зонты, мы вышли на площадь. Стоило нам сделать десять шагов, как начался ливень.

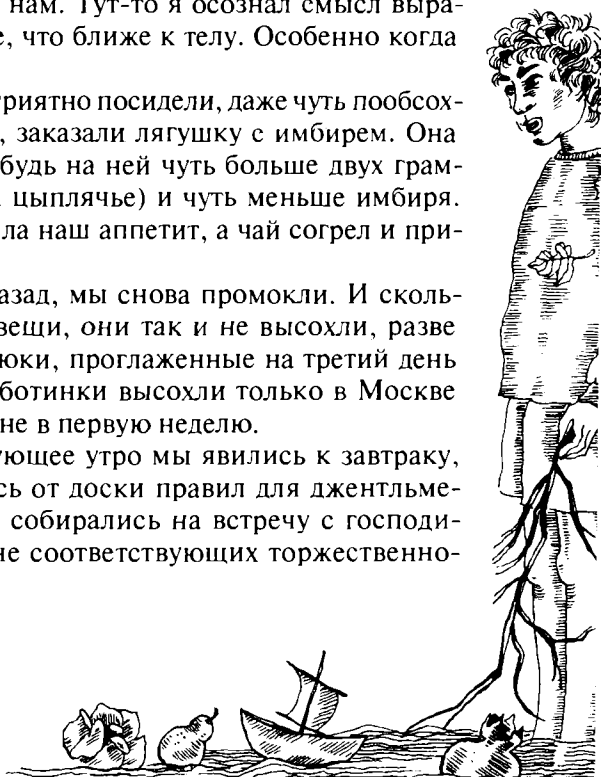
Что это был за ливень! О таких пишут «лило со всех сторон». Сколько я читал об этом — и, признаюсь, еще больше писал! Со всех сторон не лило — со всех сторон была вода. С тем же успехом мы могли войти в море. Единственное, что подвигало к движению, было то, что больше промокнуть было невозможно, и оставался выбор: мокрые и голодные или мокрые и сытые.

Так мы и пришли в ресторан «Мэй» — отличное заведение с кондиционером. Беда только, что струя охлажденного воздуха била прямо по нам. Тут-то я осознал смысл выражения о своей рубашке, что ближе к телу. Особенно когда она мокрая.

Так или иначе, а мы приятно посидели, даже чуть пообсохли и, чтобы утешиться, заказали лягушку с имбирем. Она была бы превосходна, будь на ней чуть больше двух граммов мяса (похожего на цыплятье) и чуть меньше имбиря. Впрочем, лапша утишила наш аппетит, а чай согрел и придал бодрости.

Не пройдя и шага назад, мы снова промокли. И сколько ни сушили феном вещи, они так и не высохли, разве что — не до конца — брюки, проглаженные на третий день утюгом. А легкие полуботинки высохли только в Москве под сушилкой. Да и то не в первую неделю.

Вот почему на следующее утро мы явились к завтраку, стыдливо отворачиваясь от доски правил для джентльменов. И вот почему мы собирались на встречу с господином Тео в костюмах, не соответствующих торжественности момента.



Наводнение в Пенанге

Утром меня разбудил Иван:
— Посмотрите в окно. Кажется, мы тонем.

Морские волны перекатывали поверх пальм, отделявших гостиницу от моря. С противоположной стороны — с площади — их кроны виднелись над крышей. Но мы не тонули. Пока по крайней мере. Берег был обустроен так, что вода скатывалась, чтобы вновь вернуться пеной очередной волны. Работал водопровод, горело электричество. Одежда оставалась влажной.

Но в городе в приличной одежде не стоило и появляться. У самой гостиницы вода доходила до колен. По ней плыли пальмовые листья и ветки. Висвы не было. Телефон его гостиницы не отвечал.

Зато телефон «Хай Тонга» ответил. Приятный девичий китайский голос сообщил, что мистера Тео пока нет; позвоните, пожалуйста, через час. Ба-а-ай!

Прямые улицы Пенанга с аккуратными двухэтажными домами колониального стиля поблескивали под неожиданно прорвавшимся солнцем: вода быстро текла, занимая пространство от стены до стены. Ближе к центру ее было больше. Люди выглядели спокойными и шли — где приходилось — по пояс, но чаще — по колено. Я решил последовать их примеру и смело ступил в поток голый ногой.

Прозрачностью она напоминала воду, которой только что вымыли пол Казанского вокзала. Уже это мне не понравилось, но проявлять суетливость перед горожанами не хотелось. Брезгливый Иван стоял обеими ногами на сухом и глядел на меня с недоверием. Но тут течение вынесло какую-то тропическую гусеницу, пеструю и огромную. Я выдернул ногу из воды: так я представлял себе сколопендру. По воде разъезжали велорикши: высокие колеса их повозок проходили спокойно. Автомобили глохли, рикши торжествовали. Они везли маленьких старушек с кошелками. Белоногий старец, прикрыв глаза, ездил от магазина до магазина. Владельцы лавок ведрами и огромными тряпками вычерпывали воду. Многие мастер-

ские и лавки были закрыты: хозяева не смогли добраться с материка.

В гостинице портье сообщил: по радио сказали, что это наводнение — сильнейшее за тридцать лет в Северной Малайзии. Открыли створы дамбы, чтобы ее спасти, вот почему прибывает вода. Вот и господин Карим, в чью лавку я отдал проявить и напечатать пленку, не явился. Лавка индийца г-на Карима располагалась в гостинице, и упустить рабочий день он позволил бы себе только в чрезвычайных обстоятельствах. Дело становилось нешуточным.

Телефон Висвы не отвечал. В конторе Тео китайский голос порекомендовал позвонить через час, но согласился соединить с заместителем. Заместитель записал наш телефон, потом позвонил сам и дал домашний номер шефа. По домашнему нам дали номер сотовой связи, а тот был занят напрочь. Мы снова позвонили заместителю, он пообещал помочь, и действительно, через две минуты наш телефон отчаянно зазвонил. Но то был верный Висванатан. Машину, сказал он, залило, и он сейчас с нею возится. Надеюсь, все еще будет в порядке. Не волнуйтесь, джентльмены, но не забудьте оформить билет на пароход до Лангкави.

Сотовый оставался занят. Позвонил заместитель: он связался с миссис Тео, а уж она обязательно выйдет на супруга.

За окном засияло солнце, но вода не убывала. Зато появились рокеры. Они носились по мелким местам, вздымая буруны. Мы снова позвонили по сотовому.

— Тео, — откликнулся сотовый. — Мистер Минц или мистер Айвэн? Я в холле.

Господин Тео Сен Ли оказался плотным молодым человеком с безукоризненным английским языком и превосходными британскими манерами. С ним приехала супруга со столь же безукоризненным произношением. Мы поднялись в номер выпить чаю и обсудить положение.

— Извините, — начал я, — за наш не парадный вид...

— Никаких проблем, — любезно парировал господин Тео, — ваши моряки ко мне в офис приходят в шортах и шлепанцах.

— Тео, — мягко прервала его супруга, — джентльмены ведь не матросы, а просто промокли.



Мы обменялись визитными карточками и преподнесли господину Тео глянцевые номера нашего журнала. Супруги стали их рассматривать, и вдруг Тео довольно правильно прочитал один заголовок. Мы были приятно удивлены и не скрыли приятности этого удивления.

— Немножко читаю, только немножко, — скромно возражал наш консул, — зато по-китайски читать не умею, да и говорю только по-гуандунски. Вот миссис Тео и пишет, и читает, и по-мандарински прекрасно говорит.

— Наверное, мадам училась в китайской школе? — предположил Иван.

— Школы тут только малайские. Остальные языки — как иностранные.

Положение оказалось действительно серьезным, но уже не страшным: вода начала спадать. Но мастер, приглашенный для установки доски, увы, с материка приехать не смог.

— Может быть, и к лучшему, — молвил господин Тео, рассматривая доску. Предмет нашей гордости можно было брать в руки только в нитяных перчатках, специально приложенных. Господин Тео снял перчатки. — Все равно ее надо будет покрыть специальным лаком. В нашем, как видите, климате она без лака долго не протянет. Поехали на кладбище, посмотрим, как прикреплять.

Нас это устраивало. Договорились, что мы снимем госпоина Тео, примеряющего доску к памятнику, он скажет приличествующую фразу по-русски для телесъемки, а когда все будет завершено — уже после нашего отъезда, — сфотографирует и пришлет фото нам.

Христианское кладбище, называемое в народе еще Английским, ибо всех европейцев в этих краях именовали «ингерисами», залито было водой. Не сильно, правда, нам чуть выше шиколоток. Оно поросло травой, и вода поблескивала среди стеблей, идти приходилось осторожно. Господин Тео истолковал это по-своему:

— Не бойтесь, змеи уползли на сухие места.

Змеи нам в голову не приходили: не тропическое сознание. И все же лучше были бы на ногах жаркие, но прочные кожаные ботинки и толстые, высокие шерстяные носки.

Вот, оказывается, как появился типичный наряд колонизатора...

Мы привязали Андреевский флаг к якорю у памятника, приложили доску в том месте, где верхняя часть обелиска выступала над нижней, создавая как бы навес. Маленькая, но все же защита от дождей и солнца. Постояли молча. Все, что мы могли сделать, мы сделали.

Прошлись по кладбищу. На новых участках преобладали не британские имена: Френсис Ву Пак, Дороти Тан Йин Си — местные христиане.

Должность почетного консула России оказалась не только почетной, но и довольно хлопотной — взять хотя бы наш визит. Тем более мы благодарны господину Тео Сен Ли. Он повез нас неблизким путем, чтобы посмотреть город.

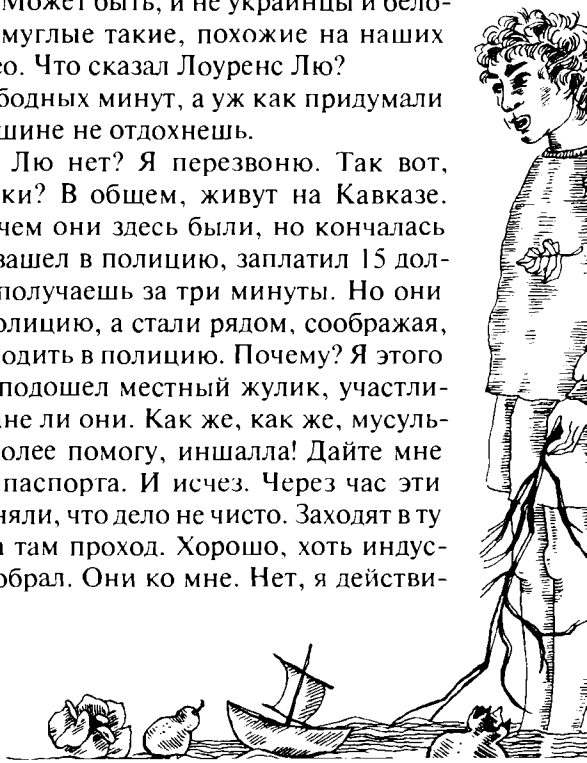
— Знаете, оказывается, у вас не одни русские живут. Есть еще украинцы, белорусы — этих я уж совсем не понимаю. А что случится, все идут к российскому консулу...

Зазвонил сотовый телефон.

— Извините. Тео. Что? А с Лоуренсом Лю не говорили? Свяжитесь с ним. Извините. (Это уже нам.) Так вот, идут к российскому консулу. Может быть, и не украинцы и белорусы, я всех не знаю: смуглые такие, похожие на наших индийцев. Извините. Тео. Что сказал Лоуренс Лю?

У бизнесмена нет свободных минут, а уж как придумали эти телефоны, то и в машине не отдохнешь.

— Лоуренс? Мистера Лю нет? Я перезвоню. Так вот, смуглые, кажется, узбеки? В общем, живут на Кавказе. Не моряки, не знаю, зачем они здесь были, но кончалась виза. Чего тут проще — зашел в полицию, заплатил 15 долларов, и визу на месяц получаешь за три минуты. Но они почему-то не зашли в полицию, а стали рядом, соображая, куда пойти, чтобы не заходить в полицию. Почему? Я этого не понимаю. Ну к ним подошел местный жулик, участливо спросил, не мусульмане ли они. Как же, как же, мусульмане! Тогда я вам тем более помогу, иншалла! Дайте мне по 50 долларов и ваши паспорта. И исчез. Через час эти украинцы или узбеки поняли, что дело не чисто. Заходят в ту дверь, где он скрылся, а там проход. Хорошо, хоть индустроож их паспорта подобрал. Они ко мне. Нет, я действи-



тельно не могу понять... Извините. Тео. А что сказал Лоуренс? Нет, нет, обязательно посоветуйтесь с Лоуренсом Лю! Извините. Кстати, а не пообедать ли нам?

Мы благодарно кивнули, кажется, чуть-чуть поспешнее, чем того требуют правила хорошего тона: сказалось нервное напряжение.

В вегетарианском ресторане нам подали рыбу, курицу, свинину и грибы, которые не были рыбой, курицей, свиной и грибами, но имели их вкус. Хозяин любезно поговорил с нами, но фотографировать готовку не позволил: в свою кухню он посторонних не пускал.

Ранним утром следующего дня мы мчались по подсохшим улицам Пенанга, направляясь к пристани. В парке грациозно занимались ушу интеллигентного вида старички. По тротуарам, грохоча ботинками, промчались малайские солдаты в спортивных майках. О наводнении напоминал лишь мусор на обочинах да отдельные лужи.

Но сезон дождей уже начался. И потому мы несколько волновались.

Хорошо бы посоветоваться с Лоуренсом Лю...

Глава 8 Чудеса буднего дня



Автор рассказывает о чудесах, свидетелем которых был — а не слышал с чужих слов! — и чудеса эти были совершенно будничны.

Сердце святого Наума (Чудо у Охридского озера)

Здесь всегда жили люди: чистейшее озеро, богатое рыбой, плодородные почвы, мягкий климат. Племена бригийцев, фригийцев, энелийцев... От них не осталось даже названий на карте. Потом пришли иллирийцы — большой народ, который вместе с фракийцами стал прадедушкой всех балканских народов. Озеро получило тогда имя Лихнос — Светлое озеро, а на берегах его появился город Лихнидос, чтобы через много веков стать Охридом.

В IV веке до Р.Х. царь македонский Филипп II завоевал и расширил город. Потом пришли римляне, естественно, построившие дорогу. Появилась Византия. В III веке начало распространяться христианство. А еще через три столетия славянские племена пересекли Дунай и растеклись по Балканскому полуострову. С IX века в византийских хрониках появляется имя «Охрид» — может быть, от славянского «во хрид» — «на холме».

Возникла и исчезла Македонская империя — уже славянская. Пала Византия. Пришли — увы, надолго — турки.

Возникла Югославия, Появилась на карте мира независимая Македония. От каждой эпохи остались свои памятники и свои развалины. Только светлое Охридское озеро не менялось.

В гостинице «Метропол», где мы жили, проходила Всемакедонская конференция геодезистов. Оказалось, что в этой маленькой стране очень много геодезистов. Каждый вечер, когда мы возвращались, геодезисты плясали в фойе ресторана коло и рученицу. Отличить один танец от другого по мелодии нам было трудновато, но один исполняли, став в круг, а другой — змейкой, взявшись за поднятые руки.

Геодезисты танцевали с серьезными лицами, без тени той дурашливости, какая бывает у веселящихся взрослых людей, на короткое время вырвавшихся из дому. Иногда они, не прерывая танца, пели, и в песне часто повторялось слово «Македония».

Эти танцы я видел в Македонии всюду в местах, где люди собрались отдохнуть. Отдых по-македонски — «одмор», а место отдыха — «одморалиште». Необычные для нашего уха эти слова, однако, легко расшифровывать: если легко «у-морить», то можно и «от-морить», привести в человеческий вид — дать отдохнуть.

Свободное время я старался использовать для знакомства со страной — я бы сказал, на обывательском уровне. Он вообще-то дает тот аромат, без которого любое блюдо — пресно, даже если оно приготовлено по всем правилам науки.

С коллегами мы шлялись по старому Охриду, неторопливо, без цели, наслаждаясь узкими улицами. Над нами нависали верхние этажи домов. Земля на Балканах всегда была дорога, и первый этаж строили прочным, но тесным, второй — пошире, а третий — еще шире. Улицы без тротуаров были мощены разной формы плоским камнем, отшлифованным подошвами и веками.

В чаршии — торговом квартале — главная улица была широкой, к ней странным образом сходились улицы поуже, а от них уже отходили немощеные переулки. В ином покосившийся забор мог занять половину проезжей части.

Бросалось в глаза обилие парикмахерских. Некоторые назывались «берберницами», другие же — на западный лад — носили титул «фризюр». Магазины, лавки, мастерские-роботилницы, закусовые: «Кебапджилница», «Чайджилница»...

Можно было сделать шаг в любую сторону, присесть за столик и целый час просидеть за стаканчиком чая или чашечкой кофе, глядя на прохожих. Домашний запах дымка, неторопливая любезность хозяев — чайджии и кафеджии — создавали прочное чувство покоя и уюта.

Что это? На Европу не так уж похоже, но все-таки Европа. Частично Восток? Наверное. Но не арабский и не азиатский.

Люди одеты по-европейски и не очень смуглы и черны. Из одного кафе слышна турецкая песня: ну да, рядом с ним люди пьют чай из грушевидных стаканчиков. Из двух других тянется македонская музыка, и гости смакуют кофе.

Не стоит ломать голову: это Балканы с их особым балканским уютом. Где было ему так сохраниться, как не в этой небольшой стране в сердце Балкан: к востоку — Болгария, к югу — Греция, к северу — Сербия, а к западу — Албания...

Я, конечно, понимал, что под идиллически-уютной ряской водятся свои проблемы. Но... Люди улыбались, охотно — хотя и не всегда понятно — отвечали на вопросы, вежливо обслуживали, но не проявляли желания подсесть к столу и поговорить по душам.

...Как-то я шел по чаршии (она же главная улица) в Струге, крупном приозерном городе к северо-западу от Охрида. Чаршия была прямая, светлая и мощенная по-европейски брусчаткой. Правую ее сторону составляли довольно высокие, современные, но приятные на вид дома. Левая была ниже и старше. Терраса кафе на правой стороне вполне была бы уместна в Будапеште или в Вене.

Официант — в смокинге и бабочке. Обслуживал он без балканской некоторой фамильярности, очень по-центральноевропейски. Чай, увы, вкусом тоже напоминал одноименный напиток в Будапеште, где его обычно пьют



только при простуде. За столиками сидели несколько приличного вида мужчин. Они пили кофе-эспрессо и разговаривали.

Разговаривали они с посетителями другого кафе — на противоположной стороне улицы. Там под английской (с небольшими ошибками) вывеской «Бар Голивуд» расположились на балконе второго этажа местные бонвиваны. Разговор шел через мою голову, ибо я сидел близко к кромке тротуара, и время от времени в него вступал официант (что никак не отражалось на его готовности в любой момент прийти на помощь гостю).

Не могу сказать, что я понимал все (или даже многое), но смысл улавливал: люди обсуждали нечто криминальное, часто повторяя: «С чорапи на главите!» Я представил себе «чорап» — местный шерстяной чулок домашней вязки и ужаснулся: напялив на голову этот жесткий и не эластичный предмет национального костюма, человек становился способным на любое злодеяние. Правда, как его напялить, когда он на ногу-то налезает с трудом? Тогда я покинул уютное кафе, да и город Стругу в неведении: влезать в чужую беседу было неудобно.

Я забыл, что существует одно место, где можно получить ценные сведения о стране, городе и соседях. Я имею в виду парикмахерскую, которых в Македонии, как я говорил, видимо-невидимо. Идти мне туда было незачем, хотя, проходя по улицам, я видел в открытых дверях этих заведений, что там не только стригут, но и бреют.

И вот, проходя по охридской чаршии, я услышал из окна — как раз вровень с моим ухом — ту же реплику: «С чорапи на главите!» и остановился как вкопанный. Единственным основанием для того, чтобы войти, сесть и разговориться с мастером, были мои усы. Их стоило подправить. Я решил, что в чем, в чем, а в усах на Балканах разбираются и относятся к ним серьезно, — и не ошибся.

Меня усадили, подстригли усы и подровняли их прекрасно и, предварительно осведомившись, как долго я останусь в юрде, не взяли денег: отдам сразу за несколько раз. Но — главное — я сидел на равных со всеми и в меру взаимопонимания участвовал в беседе. Тут, кстати, не все ждали

очереди, а просто собрались поболтать и даже попить кофе.

Я спросил: за что людей подвергли пытке, натягивая на головы жесткие чорапи? Оказалось, они сами натянули обычные чулки, которые тоже зовутся чорапами. Но зачем? Как зачем? Гангстори! Бандиты!

И я услышал историю, которую с содроганием обсуждала вся страна уже несколько месяцев. Два злодея в чулках на головах и с пистолетом зашли в «менувачницу», где меняют валюту, забрали тысячу «немских марок» и много денаров и скрылись. Через двадцать минут их поймали и выпороли в полиции — прежде чем выпороли родители, которым бандитов отдали под расписку. Теперь все обсуждают: отдадут их под суд или обойдутся двукратной поркой?

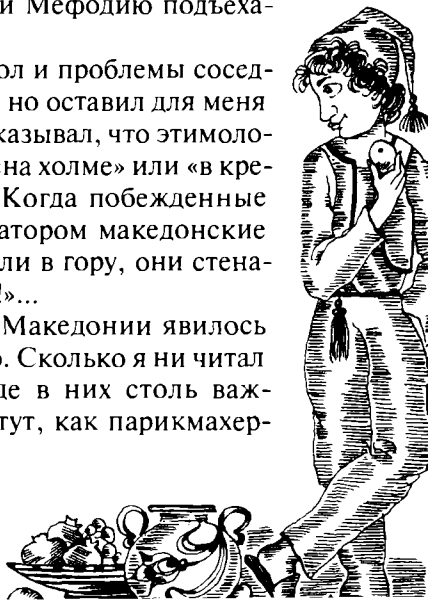
Я стал ходить в берберницу каждый день и в жизни не имел таких ухоженных усов.

...На этот раз мастер обещал мне встречу с учителем-краеведом: он живет рядом и по выходным приходит подстричься.

По случаю выходного дня набережная полна была приодетого народа — гуляли целыми семьями. Стояла на приколе моторная лодка, и в ней спал укрытый прекрасным блейзером с золотыми пуговицами человек, заслонив лицо капитанской фуражкой. Местные полиглоты-таксисты предлагали услуги на многих наречиях ближнего и дальнего зарубежья. К памятнику Кириллу и Мефодию подъехали новобрачные.

В парикмахерской обсуждали футбол и проблемы соседнего Косова. Учитель прийти не смог, но оставил для меня свою брошюру об Охриде. В ней он доказывал, что этимология имени города от слов «во хрид» — «на холме» или «в крепостных стенах» — не совсем верна. Когда побежденные и ослепленные византийским императором македонские воины возвращались домой и ковыляли в гору, они стонали: «Ох, риде!», что значило «Ох, горе!»...

То, что обилие парикмахерских в Македонии явилось для меня открытием, — неудивительно. Сколько я ни читал географических справочников, нигде в них столь важный для общественной жизни институт, как парикмахер-



ская, не отмечен («Страна обладает развитой сетью цирюлен...»).

Удивительным было другое. Македония остается загадочной страной, несмотря на обилие посвященной ей литературы. Впрочем, иной раз мне кажется, что не «несмотря», а именно благодаря этому обилию. Ибо каждый автор имеет свою точку зрения, напрочь исключаящую другую.

Само имя страны — Македония — в нашем сознании прочно связано со славой Александра Македонского и великой его империей. А потому, на первый взгляд, бурная реакция соседней Греции, вызванная самим выходом на международную арену Республики Македония, представляется закономерной.

Называйтесь Славянской Македонией, Македонией (б. югославской), Вардарской (по имени реки, на которой стоит столичный город Скопье), в конце концов, но оставьте в покое нашу историю! Еще больший эллинский гнев вызвало намерение назвать здешнюю валюту «стартером», как в империи Александра.

Крик стоял такой, словно македонцы вознамерились пасти своих овец на горе Олимп! Миротлюбивые македонцы решили не обострять и без того обостренные отношения и остались — как при Югославии — с динаром (правда, через «е» — «денар»).

Вот только когда вспомнишь, что древнюю Македонию — задолго до Александра и отца его Филиппа — не допустили на всеэллинские Олимпийские игры именно за то, что македонцы — не греки, начинаешь понимать, что проблемы на Балканах существовали вечно. И нелегко разрешимы...

Что лезть в глухую древность! Даже на такую простую вещь, как существование македонского языка, и то нет единого взгляда. Болгары, которые вообще-то относятся к македонцам хорошо, иной раз напрочь утрачивают свое прославленное в Габрове чувство юмора, стоит лишь их спросить: существует ли македонский язык? Аргументы, приводимые ими, как правило, просты и исчерпывающи.

Выясняется, что почти у каждого отец — македонец, или мать, или оба родителя, или, на худой конец, один

из дедушек. Или бабушек. Тот же бедняга, у кого нет македонских предков, приведет в пример кого-нибудь из болгарских классиков или исторических деятелей, конечно же, македонцев.

— И после этого, — спрашивает болгарин, укоризненно глядя на собеседника, — вы будете говорить, что у них есть отдельный язык?

У македонцев же, наоборот, есть для такого случая прадедушка или бабушка родом из глубоко болгарских мест:

— Так он (она) до конца жизни толком говорить по-нашему не научился(-лась). Все смеялись, когда слышали «аз» и «хубаво».

— А как надо?

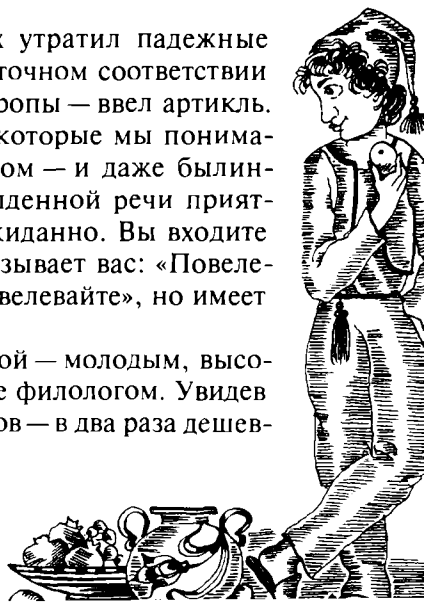
— «Яз» или «я», как по-русски и по-српски, и «убаво». А не «хубаво»!

«Хубаво» и «убаво» значит «красиво». Мне, в сущности, все равно, как это произносить, но с утверждением, что «Македония — много (х)убава», все соглашались. Тут и кривить душой не нужно. Чистая правда.

Не будем лезть в старинный, древний спор балканских славян между собою: в случае с болгарами и македонцами он, слава Богу, не выходит за филологические рамки. Скорее всего различия между славянскими наречиями тогда почти не было, да и тот язык, который создали для богослужения Кирилл и Мефодий, свободно понимали в Моравии и на Руси.

Древний язык в здешних местах утратил падежные окончания, усложнил времена и — в точном соответствии с развитием большинства языков Европы — ввел артикль. И сохранил такое количество слов, которые мы понимаем, но употребляем только в высоком — и даже былинном — штиле, что слышать их в обыденной речи приятно и трогательно. Но — вдруг — неожиданно. Вы входите в лавку, и продавец немедленно призывает вас: «Повелете!», что хотя и значит дословно: «Повелевайте», но имеет смысл: «Что вам угодно?»

Как-то мы прогуливались с коллегой — молодым, высоким и несколько склонным к полноте филологом. Увидев в витрине куртку из замшевых лоскутов — в два раза дешевле



ле, чем в Москве! — коллега испытал непреодолимое желание приобрести ее. Или хотя бы примерить. Он попросил меня зайти с ним: элементы ломаного болгарского, которыми я пользовался, производили на многих македонцев впечатление попыток говорить на их языке. Но я только что закурил и остался на улице, а потому предложил коллеге начать торг самому, напомнив, что он может говорить по-русски, только медленно.

Через три минуты коллега, в туго сошедшейся куртке, выглянул на улицу и с отчаянием в голосе потребовал, чтобы я принял участие в сделке.

— Она говорит, что «много мало». Чего много? Чего мало?

Я послешил на помощь. Выяснилось, продавщица хотела сказать коллеге, что выбранная курточка — маловата.

Буколическая порядочность, свойственная македонцам, мешала ей продавать заведомо неподходящий товар. Поглядев на меня, как на последнюю надежду, она произнесла:

— Този господин е много дебел!

Не успел я открыть рот, как коллега взорвался:

— Я — дебил?!

— Успокойтесь, — сказал я, — она вас вовсе не считает дебилем. Она сказала: «дебелый».

— Что?! — взревел коллега. — Значит, я ей кажусь...

Пришлось напомнить филологу былинное «дебелый витязь».

— Она сказала, что вы слишком могучи для этой курточки.

Мы положили курточку и покинули магазин. Коллега, хотя и не сразу, успокоился; все-таки быть могучим — не обидно. Продавщица была вежливой женщиной. И очень порядочной.

...Беспокоящее ощущение чуда будили у меня эти древние слова в их первозданности. Я не мог разобраться в нем, хотя чувствовал, что оно связано не только с языком.

Кажется, оно прояснилось в монастыре св. Наума, тоже на берегу светлого Охридского озера, но не в городе, а на самой албанской границе.

От ворот вела в гору просторная дорога, ограниченная во многих местах погранично-предупреждающими надписями. На посту стоял македонский воин, а другой прошел мимо, окинув нас бдительным фракийским взглядом. Отовсюду виден был албанский городок с по-славянски звучащим названием Поградец.

Он так же карабкался в гору, как Охрид, но почему-то не залезал на вершину. Даже крест поградецкой церкви вырисовывался на склоне. Мы шли к церкви св. Наума. Наум был учеником Климента Охридского и врачевателем; здесь была его больница, здесь же в храме он и похоронен.

Церковь была — как и все виденные в Македонии — очень маленькой и очень старинной. И история ее во многом не отличалась от других: высокие церкви строить не разрешали турки, церковь всегда должна быть ниже мечети. В таком-то веке турки ее разрушили, но прошло немного лет, и люди восстановили храм, после еще одного разрушения — снова построили... Упорный народ македонцы: их вырезали, разрушали святыни, а они все равно оставались здесь. И строили, строили, строили — очень прочно и просто.

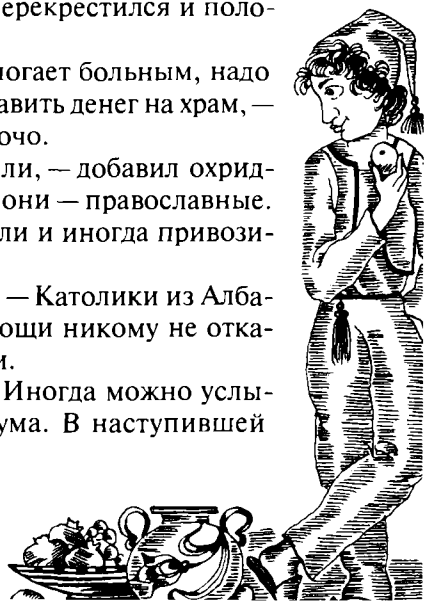
Я заметил, что наш шофер, обычно куривший у автобуса, пока мы были заняты, подошел к церкви с нами, подождет, пока кончится лекция охридского историка, зашел в правый придел — к могиле Наума, перекрестился и положил пачечку денаров у изголовья.

— У нас верят, что святой Наум помогает больным, надо только помолиться на его могиле и оставить денег на храм, — пояснил наш македонский спутник Гочо.

— Албанцы раньше тоже сюда ходили, — добавил охридский историк, — в Поградеце и рядом они — православные. Албанцы-мусульмане тоже в это верили и иногда привозили больных.

— Да что мусульмане! — сказал Гочо. — Католики из Албании и те здесь молились. Наум в помощи никому не отказывал: ни при жизни, ни после смерти.

Тут историк поднял руку: тишина! Иногда можно услышать, как бьется сердце святого Наума. В наступившей



тишине еле слышались мерные звуки. Чудо? Я впервые в жизни стал свидетелем чуда и подтверждаю: послышались тихие-тихие мерные удары, похожие на удары сердца.

Тишину нарушил историк:

— Гробница стоит на очень древней крепостной стене, уходящей к озеру. Когда на озере прибой, его удары о стену доносятся сюда.

...На очень древней стене. И все, что здесь построено, зиждется на фундаменте византийской, римской, фракийско-иллирийской и бог весть каких еще древних эпох. Одни камни вырастают из других, а на них растут следующие. Как древние слова в обыденной речи, они не стали мертвыми, эти развалины...

И именно все это вместе породило осязаемое видение непрерывности жизни — под этим синим небом среди этих рыжих по ранней весне гор.

Та же непрерывность, что и в бесконечных, заунывных и трогательных мелодиях, что и в танцующих цепочках людей. Так танцуют под схожую музыку везде в этих краях — к северу, югу, западу и востоку от Македонии. И похожи «фустанелы», что носят мужчины, — плиссированные юбочки, в которые переходит подол длинной рубахи, и такие же шерстяные передники на женщинах, и так же повязаны платки.

И на древних камнях стоят новые камни.

...У набережной стояла та же моторка. Человек, прикрывшийся блейзером, все еще не проснулся. Однако сон его был чуток. Стоило мне остановиться в размышлениях: не вернуться ли в гостиницу через озеро, как он, словно откликаясь на мои раздумья, сел, надел капитанскую фуражку и гостеприимно показал на скамью:

— Моля! Вам в гостиницу? «Метропол»?

Мы быстро сторговались. Выходило раз в пять дороже, чем на такси, а такси в Македонии очень дешево, зато удовольствия путешествие обещало куда больше. Лодочник надел блейзер и на моих глазах превратился в капитана, пожилого охридского озерного волка с надеж-

но обветренным лицом. Это внушало уверенность в успехе плавания.

Мы шли через озеро, и солнечный свет, отраженный голубой водой, заливал нас со всех сторон. Город Охрид, белый с рыжими крышами, поворачиваясь, карабкался в гору. Потом набережную стало видно неясно, зато появились городские кварталы, лезущие навверх по левому склону. Лодка изменила курс: город повернулся кварталами правого склона.

Рядом рыжели горы, с противоположного берега высились другие горы, а мы шли по направлению к темно-зеленым горам Албании. Вдоль берега тянулся пляж, и на него выходили широкие расщелины гор. В расщелинке тоже стояли надежные белые дома с черепичными крышами. Трусил по берегу человек на ослике. Он сидел боком, очень хорошо различимый в чистом воздухе над чистой водой.

Потом мы взяли от берега, вышли почти на середину озера. Капитан достал кружку, зачерпнул забортной воды и с наслаждением напился. Протянул кружку мне. Вода была свежа и приятна на вкус. В глубине — очень глубоко — проплыла большая рыбина, вся различимая чуть ли не до чешуи.

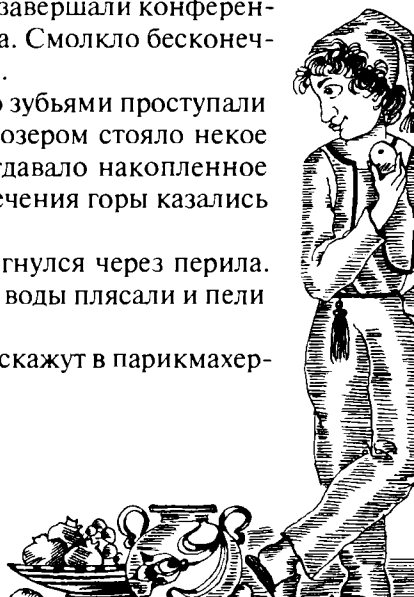
Свет исходил сверху и снизу, ветерок смягчал жару, и было совсем не жалко, что дорога заняла времени раз в десять больше, чем на машине по суше.

В гостинице было тихо: геодезисты завершали конференцию. Но ровно в семь заиграла музыка. Смолкло бесконечное коло, кажется, только к полуночи.

Я вышел на балкон. Было темно, но зубьями проступали горы противоположного берега. Над озером стояло некое серебристое свечение, словно оно отдавало накопленное днем сияние неба, и на фоне этого свечения горы казались черными.

С берега донеслась музыка. Я перегнулся через перила. Светили фонари набережной. У самой воды плясали и пели геодезисты.

О чем они поют? Ничего, завтра расскажут в парикмахерской...



Эйлатский камень (Чудо в соленом море)

Эйлатский камень — малахитово-зеленый с лазурными вкраплениями — соединение малахита с лазуритом. Отшлифованный и обработанный, оправленный в серебро, он очень красив. Сами по себе малахит и лазурит тоже очень красивы. Но соединение их — эйлатский камень, «эвен-эйлат», — встречается на всей Земле только в одном месте, в Эйлате на Красном море, самой южной точке Израиля. Так уж счастливо сложились магматические процессы. И это придает камню дополнительную прелесть.

Малахит — спутник месторождений меди. Совсем недалеко от Эйлата в шахтах Тимны добывают медь. Добывали ее и во времена царя Соломона, и, конечно, до его воцарения. Была она важным товаром, а чтобы удобнее торговать с Африкой и Южной Аравией, повелел Соломон построить порт в прибрежном оазисе Эцион-Гебер и послал туда своих слуг и людей царя тирского Хирама, корабельщиков.

На месте древнего Эцион-Гебера, дитяти счастливого стечения условий — руда, пресная вода и защищенный от бурь залив Красного моря, — стоит нынешний Эйлат.

Я непременно хотел купить на память какую-нибудь вещицу из эйлатского камня.

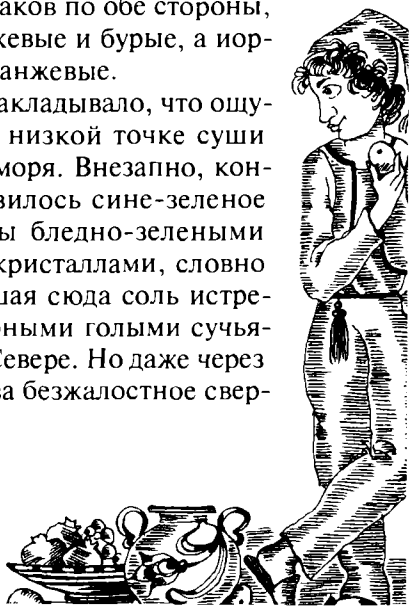
На пути осуществления задуманного стояло одно препятствие. Одно, но существенное. Мы никак не могли попасть в Эйлат до субботы — выходного в Израиле дня, потому что должны были покинуть берега Мертвого моря в пятницу после обеда. Не стоит заблуждаться относительно израильских расстояний, они достаточно скромны: от Эйлата до Мертвого моря чуть больше часа по отличной дороге. Да что там Мертвое море: из Эйлата можно съездить в Иерусалим в центральной части страны за день, осмотреть Святой город и даже вернуться в свою эйлатскую гостиницу. Однако суббота, по иудейским канонам, начинается в пятницу вечером и кончается в субботу с восходом первой звезды. Выехав утром из средиземноморского города Нетания и объехав по окраинам Тель-Авив, мы устремились к бере-

гам Мертвого моря через бурые холмы Иудейской пустыни и горы пустыни Негев — всех оттенков желтого, коричневого и черного цвета.

Я не знаю — может ли что радовать глаз больше, чем вечно меняющиеся ландшафты пустыни. (Я, естественно, опираюсь только на свой опыт.) Разнообразие их, не скрытое ничем, обнажено, и следы исторических событий двухтысячелетней давности (а то и более ранних) сохраняются на этих пыльных каменистых пространствах. С высоты горы, увенчанной развалинами крепости Масада — последнего и самого стойкого оплота повстанцев Иудейской войны, видны, как на топографической карте, прямоугольные следы лагерей римских легионов с врезанным в них квадратом штабного, очевидно, помещения. С уставным единообразием сужается кольцо этих подчиненных имперской воле подразделений. Два года шла осада.

На редких остановках в оазисах полной грудью вдыхаешь великолепно чистый, сухой и горячий воздух пустыни. Впрочем, с особым удовольствием он вдыхается, когда сам ты стоишь в тени пальм. Наконец, пустыня дает ощущение простора и открытого пространства даже в небольшой стране. Правда, когда глаз привыкает к краскам пустынных просторов, он замечает решетчатую ограду поодаль, повторяющую изгибы шоссе. Это — граница, разрезающая раскаленные пространства и особо хорошо видная на географической карте. Песок одинаков по обе стороны, но израильские скалы справа — оранжевые и бурые, а иорданские — далеко слева — желтые и оранжевые.

Дорога шла уверенно вниз, и уши закладывало, что ощущению напоминало: едем мы к самой низкой точке суши на планете: 400 метров ниже уровня моря. Внезапно, контрастируя с красками пустыни, появилось сине-зеленое пространство. Берега его окаймлены бледно-зелеными лужами, опушенными ярко-белыми кристаллами, словно снегом. В тех же местах, где доползшая сюда соль истребила куст или дерево, оно торчит черными голыми сучьями из сугроба, как зимой на далеком Севере. Но даже через затемненное окно автобуса режет глаза безжалостное сверкание раскаленных кристаллов.



Только потом, когда панорама моря и побережья расширилась, я различил пальмовые рощи, ибо в окрестностях бьет множество ключей — горячих минеральных и пресных, а в пустыне вода — всегда жизнь. И сомнение закралось в душу: а так ли уж мертво Мертвое море? Кстати, этим безжизненным именем его нарекли европейцы. В их благодатных краях таких морей нет. Ни в каких других — тоже.

Местное, исконное, а потому наиболее правильное имя: Ям ха-Мелах, Море соли, Соленое море. Причем соль его весьма и весьма полезна. Что же касается безжизненности вод, то да, рыба в нем действительно не водится. Живых же существ — предостаточно. В этом мы очень скоро убедились.

Так уж получилось, что в пустыне мы все время то обгоняли автобусы с чехами, словаками, поляками и венграми, то отставали от них. То были участники семинара по туризму для стран Центральной и Восточной Европы. Поскольку наши конкуренты по пустынным гонкам настаивали на том, что они — Европа Центральная, вся Восточная сидела в нашем автобусе. Некоторая несогласованность в прибытии и убытии привела к тому, что на выступлении главного врача примертвоморского лечебного комплекса сначала оказалась лишь восточная часть нашего континента.

Профессор Бар-Гиора начал с физико-географических характеристик, но только он вознамерился перейти к лечебным, как послышался легкий топот: прибыли чешская и словацкая группы. Правда, их переводчик где-то задержался.

— Это не беда, — сказал профессор, — чехи и словаки, конечно же, понимают по-русски. Я только начну сначала. Мертвое море, а на иврите Ям ха-Мелах, — самая низкая точка суши на Земле. Его воды...

Наша переводчица переводила. Не знаю, понимали ли ее чехи и словаки; наверное, многие понимали. Но тут прибежал словацкий переводчик, а нашей переводчице срочно понадобилось переговорить с администрацией. Я полагаю, профессору казалось естественным, что если чехи и слова-

ки понимают по-русски, то и нам не менее понятен словацкий язык. Во всяком случае, на третьем повторении характеристик Мертвого моря мы очень многое разобрали.

Профессор перешел к лечебным. Открылась дверь зала, и, осторожно ступая, вошли венгры. Словацкий переводчик почему-то при этом тут же ушел, но это была не беда, ибо микрофон взял сияющий от готовности помочь венгр. Профессор Бар-Гиора снова взял указку. Ни тени сомнения не отразилось на его загорелом лице. С берегов Мертвого моря, очевидно, европейские языки выглядели похожими друг на друга, как иврит на арабский; ну, в крайнем случае — на амхарский.

— Уровень Мертвого моря, — начал он, — а на иврите Ям ха-Мелак...

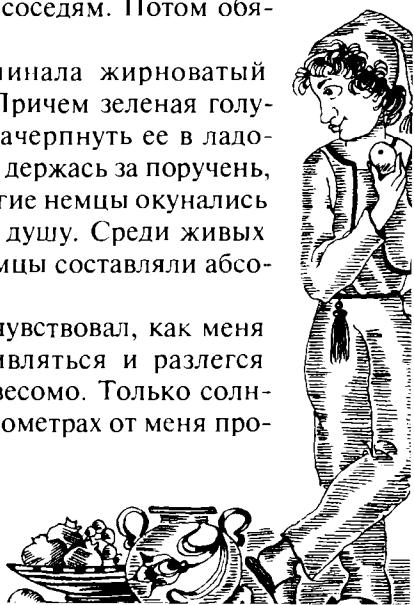
Нам предстояло удовольствие, доступное разве гурманам от лингвистики: выслушать лекцию на иврите с переводом на венгерский.

Увы, лечебные характеристики мертвоморской воды так и остались для нас тайной, теоретической тайной, ибо практически мы должны были испытать их на себе немедленно. На цыпочках мы вышли из зала, получили пакеты с полотенцами и мылом и выслушали краткую инструкцию:

Попробуйте сесть в воде, она вас сама положит на спину. Лежите сколько угодно: утонуть здесь нельзя. Только не окунайтесь с головой и никоим образом не брызгайтесь, чтобы вода не попала в глаза вашим соседям. Потом обязательно душ.

На ощупь — ногой — вода напоминала жирноватый кисель, теплый, как вода в ванной. Причем зеленая голубизна воды не исчезала, даже если зачерпнуть ее в ладони. На мелководе под тентом сидели, держась за поручень, люди. Они говорили по-немецки. Другие немцы окунались поодаль. Третьи энергично шагали к душу. Среди живых существ в этих синих густых водах немцы составляли абсолютное большинство.

Я, по инструкции, сел и тут же почувствовал, как меня валит на спину. Я не стал сопротивляться и разлегся на воде. Было спокойно и как-то невесомо. Только солнце очень уж палило. В нескольких километрах от меня про-



ходила по морю видимая только на карте иордано-израильская граница. Самая, кажется, мирная граница в мире: здесь не ходят пограничные катера, ибо гений человечества не изобрел еще плавсредство, способное пройти по водам Моря Соли. А солдаты, охраняя границу, могли бы только лежать, стараясь не барахтаться, чтобы не поднимать брызг...

Я почувствовал, что несколько устал лежать, и попытался встать. Не тут-то было. Вода мягко, но решительно положила меня на спину. Осторожно дернувшись в сторону, я аккуратно перевернулся на живот и снова попытался встать. И снова не получилось.

Не оставалось ничего, кроме как плыть осторожными саженьками, пока не чиркнешь животом о дно.

Через несколько минут я подполз (не подплыл же в этом киселе?) к тенту с дамами. И, кажется, брызнул самую малость, ибо дамы резво вскочили, восклицая:

— Вас махен зи, майн херр? Дас ист ферботен!

— Пардон, — уныло ответил я на нейтральном наречии и... встал. Выбрался на берег. Принял душ. И через двор, заросший пальмами, пошел и бултыхнулся в бассейн с пресной водой, где уже весело плескались и шутили немцы.

Я почувствовал себя таким отдохнувшим и бодрым, что даже воздух показался не только целебным, но и свежим. А горы на иорданской стороне уже предвечерне краснели... И почему-то меня озарила идея. Если бы я был профессором Бар-Гиорой, я начинал бы свои лекции с такого определения:

«Мертвыми морями называются излюбленные немецкими отдыхающими бессточные водоемы в странах Еврейского и Арабского Востока, характеризующиеся повышенным содержанием солей в воде и отсутствием рыбы в последней».

Впрочем, шутки шутками, а наличие немецких туристов на курорте говорит о его высоком качестве.

Уже вечером ко мне в номер постучался коллега из туристского журнала, немолодой и застенчивый человек.

— Вы знаете, — сказал он почему-то смущенно, — я, конечно, понимаю, что одноразовое купание ничего дать, кажется,

не может... Но, знаете, я давно чувствую боль в пояснице... А сегодня, знаете, как рукой сняло... Как вы думаете?..

Я потрогал машинально свою поясницу, нывшую уже несколько месяцев, и с радостным ужасом понял, что она не болит.

Начинались чудеса.

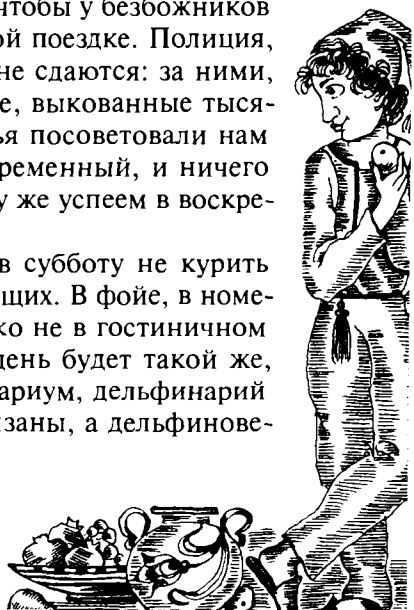
Семь километров субботы

Ивзошла на небе первая звезда, и начался день субботний. Соединяя пространство и время, прямо по теории Эйнштейна и прапорщика Охрименко из армейского анекдота, суббота длилась с момента появления звезды и аж до того забора. Потому что за металлической решеткой, вдоль которой мы ехали, лежит Иордания, где продолжалась пятница. Через некоторое время пятница обнаружилась и справа: с той стороны начался Египет. Но, помаленьку привыкая к чудесам Святой земли, мы восприняли этот факт как совершенно рядовой.

Приход субботы означал, что камнерезная фабрика, где можно увидеть и купить самые интересные вещицы из эйлатского камня, обязательно закрыта на выходной

Общественный транспорт в этот день не работает, а в Иерусалиме, говорят, ультраверующие заблаговременно перегораживают проезжую часть, чтобы у безбожников не осталось и мысли о кощунственной поездке. Полиция, правда, очищает улицы, но верные не сдаются: за ними, в конце концов, упорство и терпение, выкованные тысячелетиями. Наши израильские друзья посоветовали нам не беспокоиться: Эйлат — город современный, и ничего подобного там не бывает. На фабрику же успеем в воскресенье — ближайший рабочий день.

Да еще к нам большая просьба: в субботу не курить в ресторане, это может обидеть верующих. В фойе, в номерах, на улице — пожалуйста, но только не в гостиничном ресторане. Вот и все. В остальном день будет такой же, как и любой другой. Работают океанариум, дельфинарий (дельфины соблюдать субботу не обязаны, а дельфинове-



ды — люди современных взглядов). Готовы к дороге по горам и барханам джипы. Их шоферы, джигиты пустыни, ставят гостеприимство выше всего. Да и в городе открыты многие кафе, лавчонки и даже небольшой супермаркет.

Тем временем мы вырвались из гряды желто-бурых холмов, увидели синее-синее Красное море и помчались вдоль цепи сиреневых гор, у подножия которых буйствовали пальмовые рощи. Затем горы и пальмы как бы плавно отошли на задний план, и немедленно началась великолепная набережная. Пусть слово «великолепная» не наводит вас, читатель, на мысль о слабости изобразительных средств у автора этих строк. Как еще назвать открывшийся перед нами вид, где на фоне гор и пальм одно за другим тянутся огромные здания, каждое из которых не повторяет другое и каждое штучное, а перед ними — тоже пальмы и высоченные кактусы и еще какие-то растения с огромными листьями, усеянные цветами? И вдруг задник сцены померк, а дома загорелись ослепительным светом, и на небе вдруг вспыхнули очень крупные звезды.

На другом берегу залива тоже вспыхнули довольно скромные огни иорданского города Акабы, а за ними непроглядная тьма окутывала пески Саудовской Аравии. Там, естественно, тоже была пятница.

Собственно говоря, пятница кончалась перед первым километром израильской территории и вновь продолжалась на восьмом. Потому что ширина этой самой узкой части страны составляет семь километров. Но эти семь километров приносят плоды — в широком смысле слова — неизмеримо большие, чем сотни километров песка справа и слева от них.

Кстати, и залив слева и справа называется Акабским, а тут — Эйлатским. В этом нет ничего удивительного: на арабских картах Персидский залив именуется Арабским, а на корейских (северных и южных) нет Японского моря. Есть Восточно-Корейское.

Впрочем, из всех споров (особенно здешних) эти — самые безобидные. Но хотя споры и остаются, желающий сыграть в казино может сходить пешком за границу — в египетский городок Таба — и попытаться поймать Фортуны. В Израи-

ле игорный бизнес не приветствуется, в Египте тоже, но от Табы до собственно Египта такие километры раскаленного песка, что бациллы греховного азарта до морально здорового населения страны не долетают.

Любители старины на автобусе едут в Иорданию и уже через четверть часа любуются хорошо сохранившимися руинами Петры, древнего набатейского города Красной Скалы. Так переплелась история соседних родственных народов на этом песчаном берегу, что развалины древнего Эйлата с двойной стеной, плавильными печами — в двух шагах, но за границей. Эйлат построил царь Иехосафат после того, как при царе Ровоаме, сыне Соломона, египетский фараон разрушил Эцион-Гебер. Иехосафат сокрушил эдомитян, претендовавших на крепость, и переименовал порт в Эйлат (в русском тексте Библии — Элаф), слегка передвинув его к востоку.

Что рыться в прошлом! Оставим это археологам, хотя в специфических условиях Ближнего Востока и их занятия могут оказаться небезобидными. Короче говоря, нынешний Эйлат стоит на месте библейского Эцион-Гебера и совсем рядом с Элафом.

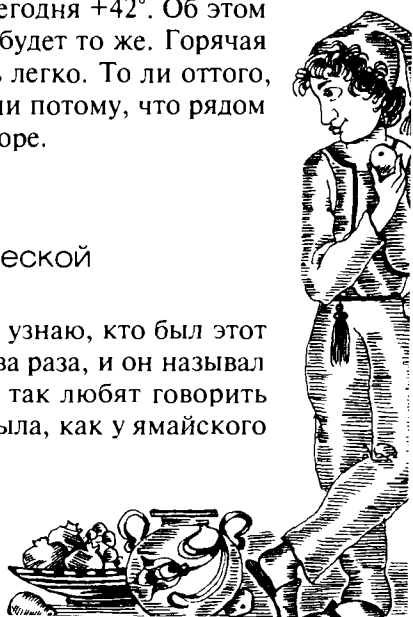
В нынешнем же времени процветание Эйлата вызвало к жизни и Табу египетскую, и туризм в Петре иорданской, и — в сущности — появление Хургады на противоположном берегу кристального Красного моря.

Воздух был горяч и сух. В Эйлате сегодня +42°. Об этом сообщала доска у гостиницы. Завтра будет то же. Горячая сухость не утомляла, дышалось очень легко. То ли оттого, что воздух был совершенно чист. То ли потому, что рядом еле слышно плескалось прохладное море.

Там было всего +28°.

Брат мой с ямайской прической

Наверное, теперь я уже никогда не узнаю, кто был этот человек. Мы поговорили с ним два раза, и он называл меня «брат мой». Как мне известно, так любят говорить ямайские негры. И прическа у него была, как у ямайского



негра, — множество косичек. И кожа была соответствующего цвета. Встретил я его так...

Мне очень хотелось побродить по городу, выйти за пределы набережной, посмотреть: а существует ли город Эйлат вообще за пределами курортной зоны? Гостиница и пляж — это прекрасно, но, согласитесь, хочется иногда уйти из этого оазиса беззаботности, пройтись по обычной улице, посидеть в кафе, общаясь с местными жителями.

От самой набережной, свернув за мраморную стену гостиницы, я прошел по улице и, привлеченный тенью, остановился на небольшой площади. Чернокожий человек с ямайской прической не торопясь подметал дорожку. Работает в субботу! Нет, не местный... Я приветственно поднял руку, не зная, на каком языке к нему обратиться. Человек улыбнулся.

— Шабад шалом, ахи! — сказал он на природном гортанном иврите. — Доброй субботы, брат мой!

— Есть здесь какой-нибудь магазин, открытый в субботу? Мне нужно купить открытки и конверты с марками, — спросил я по-английски.

Но он не принял английского. Значит, точно, не ямайский негр!

— Есть здесь, брат, поднимаешься по лестнице и налево.

— Спасибо, брат, — отвечал я благочестиво, — но работают ли они сегодня?

— Работают, брат, здесь многие работают. Бог им простит.

Он махнул рукой в сторону лестницы и вернулся к своим занятиям.

Я поднялся по лестнице, купил открытки, поплутал еще немного и, свернув за угол, оказался вдруг на крутой, кривой и очень чистой — типично средиземноморской улице. Из-за белых глухих стен свешивались зеленые ветви, виднелись красные черепичные крыши. За красивыми коваными воротами стояли машины. Таких улиц оказалось довольно много, и стихийностью своих поворотов, подъемов и спусков они вызвали умиротворение. Улицы были пусты: время было самое полуденное. Там, ближе к морю, туристы сновали в любое время дня. Здесь туристы не жили. Здесь жили свои. Очень не бедные свои.

Свои жили и в следующем квартале аккуратных, но скучноватых панельных домов. Я вновь вошел в переулки беленых стен. За следующим поворотом наткнулся на двух низкорослых раскосых людей в шортах. Лопатами они пересыпали белый коралловый песок. Они приветливо улыбнулись.

— Шалом, — сказал один с тягучим индокитайским акцентом.

А второй спросил:

— Ма нишма. Как дела, — но как-то без вопросительного знака.

— Шалом. Эсер, — ответил я, гордясь свежеприобретенным слэнговым выражением. — В десятку! Ва ма нишма? А у вас как?

На их лицах ничего не отразилось.

— Шалом, — протянул первый. А второй запел:

— Ма нишма?

— Вы вьетнамцы? — спросил я по-английски. — Вьетнам?

— Вьетнам? Вьетынам?

Это слово было им понятно не более других, и первый вновь протянул:

— Шалоом...

А второй добавил в унисон:

— Ма нишмаа?

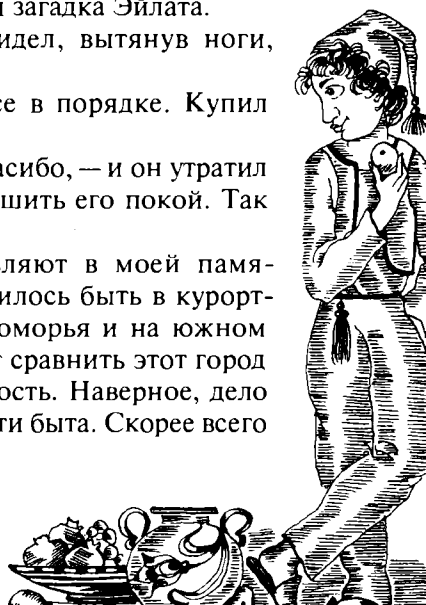
Кто эти люди? Еще одна маленькая загадка Эйлата.

Негр уже кончил подметать и сидел, вытянув ноги, в теньке.

— Спасибо, брат, — сказал я. — Все в порядке. Купил и написал.

— Нет ли у тебя сигареты, брат? Спасибо, — и он утратил ко мне интерес, а я не решился нарушить его покой. Так и не знаю, кто он такой...

Эти странноватые встречи оживляют в моей памяти эйлатскую атмосферу. Мне доводилось быть в курортных городах Восточного Средиземноморья и на южном берегу Красного моря, а потому я мог сравнить этот город с другими и оценить его неповторимость. Наверное, дело не только в превосходной налаженности быта. Скорее всего



в том, что живой город и курорт составляют здесь единое целое. В Хургаде, например, пятизвездочные оазисы и населенный пункт (лучше сказать именно так) разнесены — не дойдешь. Попав же туда, ты становишься объектом повышенного и назойливого внимания легионов мелких и мельчайших торговцев и в конце концов еле уносишь ноги. Хургада хороша по-своему. Эйлат — классом выше: кроме всего прочего и потому, что он живой город, который и курорт тоже.

Меж тем суббота, опустившаяся на бреги сопредельных стран, пошла на убыль в стране моего пребывания: вечером ожидалось воскресенье.

Вечером мы гуляли по широкой улице за гостиницами. От каждого входа тянулись длинные тенты открытых кафе: по южной привычке, народ заполнял их с сумерками. За пешеходной дорожкой расположились кафе поменьше. Легко одетая толпа неторопливо лилась в обе стороны. В дальнем начале улицы, откуда мы шли, за многочисленными столиками, уставленными коробками с кассетами, сидели чернявые юнцы. Из магнитофонов неслась восточная музыка, и, покачиваясь в такт ей, стояли вокруг их друзья: юнцов по десять у каждого столика. Странно, но магнитофоны, включенные на полную мощность, не диссонировали, а как бы сливались в единый «тумбари-китум», удивительно подходивший и к пальмам, и к несколько спавшей жаре, и к смуглым лицам продавцов и их друзей.

К середине променада восточные песнопения стали глуше, ушли из общего шума, и тут я услышал нечто очень знакомое — я сразу не понял что. Но стоило мне вслушаться в почти человеческий голос трубы на синкопированном фоне, как я узнал американский джаз. Старый, настоящий классический нью-орлеанский джаз, по которому мы так сходили с ума в далекие годы юности. А потом я увидел на невысокой эстраде музыкантов: черных американцев в превосходных пиджаках с широкими лацканами, в галстуках. Их совершенно не донимала жара, а на лицах было написано наслаждение музыкой, которую они сочиняли тут же, на месте.

Это было отменное завершение эйлатского дня, полно-го солнца, моря и маленьких тайн.

И все же еще один маленький сюрприз ждал меня в этот день. Мне нужно было позвонить за границу с «оплаченным назадом», как говорили во времена оны в Одессе. Я сконструировал нужную фразу и из первого же автомата набрал номер международной.

— Шалом, — сказал бархатный голос на иврите, — международная. Подождите, пожалуйста, несколько секунд. — И тут же без перерыва на безукоризненном русском: — Здравствуйте, международная.

Ни английского — согласитесь, пока еще международно-го, ни арабского — второго государственного языка, никакого другого не последовало, и через две минуты я уже говорил со своим абонентом.

Не скрою, этот случай был мне приятен — в смысле «не все англоязыким масленица», но в чем тут дело, я так и не понял: когда еще хлынет на эти берега россиянин, да и в самом городе русская речь довольно редка, народ тут больше восточный. Пустячок вроде бы, а радовало.

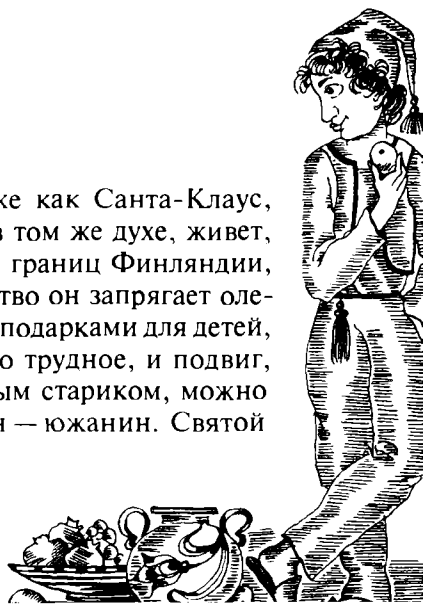
А эйлатский камень я увидел на следующий день, когда в воскресенье начала работать камнерезная фабрика. Он — зеленый, с лазурными вкраплениями — действительно очень красив, и я его с удовольствием купил. На память об Эйлате.

В других местах его не встретишь.

Чаепитие в Демре-кале

(Чудо в Мире Ликийской)

Святой Николай, известный также как Санта-Клаус, Синт-Клаас, Сваты Микулаш и в том же духе, живет, как известно, в Лапландии, на стыке границ Финляндии, Швеции и Норвегии. Каждое Рождество он запрягает оленей и несется на нартах, нагруженных подарками для детей, по тундре. Управлять оленями — дело трудное, и подвиг, совершаемый ежегодно добрым святым стариком, можно особенно оценить, вспомнив, что он — южанин. Святой



Николай родился на берегах Средиземного моря, правда, в те времена места эти назывались Ликией, а город — Мирой. Мирой Ликийской.

Посещение Миры — Демре-Кале по-нынешнему — мы с коллегой Александром наметили в самом начале нашего путешествия в Турцию. Расспросы на *дураке* (что по-турецки значит «остановка», в данном случае — автобусная) показали, что в Демре-Кале ничего не идет. Но, заверили нас, если мы выйдем на шоссе и станем голосовать, то уж до города с волнующим названием Финике доберемся во всяком случае. А из Финике в Демре-Кале не доберется только ленивый.

При всей европеизации турки народ все-таки южный, а это значит, что вы получите столько разной информации, сколько людей опросите. И при всем разнообразии она будет не стопроцентно точной: кому-то не захочется огорчить вас, и он подтвердит все, что вы хотите, а кто-то просто не в силах признаться, что он не знает того, о чем вы спрашиваете. В нашем конкретном случае этот факт оказался нам на пользу. Ибо в первом же новеньком долмуше выяснилось, что нас довезут до Финике, но зачем же высаживаться? Конечная остановка — как раз в Демре. Публика — в основном местная — стала дружелюбно подавать советы: «Айя-Николаас? Святой Николай? Такси возьмите на станции. — Такси-макси! Зачем такси? Там идти всего ничего! Всего-ничего, эффенди! — Они же не привыкли по жаре ходить! — А! Жара! Сейчас разве жара? Вот в прошлом году! — Откуда будете, господа? У вас там тоже святого Николая знают?»

Так, в обстановке дружеской дискуссии мы доехали до Финике, и дорога взяла в горы, не удаляясь, впрочем, от моря, но то взлетая над ним, то серпантинном спускаясь к нему. Заместитель водителя пробрался к заднему сиденью, достал полулитровую бутылку туалетной воды и налил каждому из пассажиров в подставленные ковшиком ладони. Это был еще один — неизвестный нам до того — вид долмушного обслуживания. Все обтерли водой лица и шеи, и, благоухая, автобус привез нас на родину Санта-Клауса.

Прямо у стоянки сидели, попивая чай, мужчины, сильно напомнив мне компанию из нахичеванского города Орду-бад, прошел, перебирая четки за спиной, старичок в кепке «малый аэродром». Но может, потому именно отметил их мой глаз, что невольно искал совпадений с собственными представлениями.

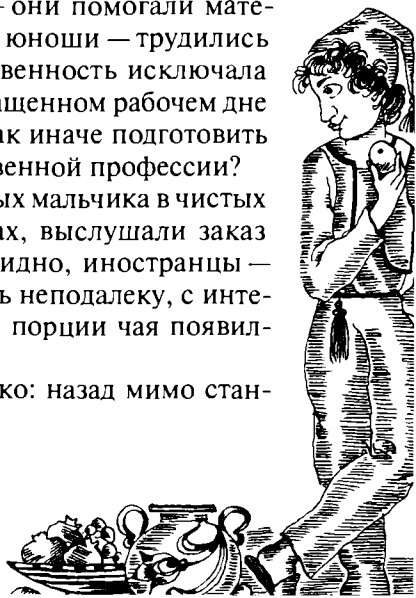
Широкая короткая улица вела к площади Республики с памятником Ататюрку, а справа от нее начинался проспект Ататюрка. Небольшой наш опыт подсказал, что если бы имя Основателя носила площадь, то проспекту бы досталось название Республики, но в любом случае он служил бы главной улицей города. Он действительно был главной улицей, что подтверждали магазины, многоэтажные дома и три обязательные вывески: «Адвокат», «Инженер-механик» и «Зубной врач».

В перпендикулярном к проспекту переулке мы увидели стоящие в тени столики и, безошибочно поняв, что можно выпить чаю, присели к ним: промочить горло, передохнуть и получить консультацию. Улица была малолюдной и тихой.

Из черт местного быта, подмеченных уже до этого нами, удивляло сначала отсутствие слоняющихся по улицам детей — и это в каникулярное время, в приморских городах и в многодетной стране. Объяснение оказалось простым: все дети заняты на работе — в любой лавке, чайхане, мастерской родителям помогали мальчики. Девочек можно было увидеть во дворах — они помогали матерям. Мальчики же — и подростки, и юноши — трудились в семейном бизнесе. И хотя семейственность исключала соображения об эксплуатации, о сокращенном рабочем дне тоже не могло быть речи. Впрочем, как иначе подготовить специалистов в тонком деле наследственной профессии?

Немедленно появились два серьезных мальчика в чистых рубашках и глаженных черных брюках, выслушали заказ и принесли чай. Но поскольку, очевидно, иностранцы — редкость в этой чайхане, остановились неподалеку, с интересом нас разглядывая. К следующей порции чая появился их папа.

— Святой Николай? Совсем недалеко: назад мимо станции, а там указатель.



— Нозль-баба! — заулыбались мальчики. — Нозль-баба!

Вот уж дивное словосочетание! Французское «Нозль» — «Рождество» и совсем тюрко-персидское «баба» — «дед»!

— Нозль-баба приезжает на Новый год и кладет детям в чораб подарки, — объяснил парнишка в очках, похожий на отличника. — Ну, в это маленькие верят и вешают самый длинный чораб, выше колен, — тут же добавил он, опасаясь, что мы примем его за легковерного малыша.

— Разве не только христианам?

— Почему только? Всем! Он здесь родился.

А другой добавил:

— А живет он в Лапландистане, про это много мультфильмов.

Чай придал нам сил, а беседа — знаний, и к церкви св. Николая мы вышли без труда. Сама церковь византийского периода хоть и разрушена (к чему приложили руку и кочевые предки нынешних жителей, что делать, была эпоха религиозного фанатизма, и кочевники еще не смешались с оседлыми коренными обитателями и не превратились в нынешний народ), но то, что сохранилось — изящные и мощные стены, великолепная мозаика пола, — заботливо оберегается. Мне больше всего запомнилось отношение.

Входные билеты продавала старушка в мусульманском платке, она же предлагала копии креста и икон. Это не смущало ни ее, ни посетителей.

Посетителей было немного — коллега Александр, я и наш спутник с фотоаппаратом, молодой человек по имени Антон. Никто и ничто не мешало нам облазить храм, старательно обходя мозаику (на нее ступать запрещено); можно было и снимать.

Но вот во дворе раздались голоса, и в церковь почтиительно вошло множество молоденьких девушек — экскурсия гимназисток из Анкары. Они примолкли, сопровождавший их учитель вполголоса читал лекцию. Прислушавшись, я понял, что разговор идет об историческом наследии, своем наследии, не менее ценном по крайней мере, чем мечеть в городе Конья или блеск двора Сулеймана Великолепного. Я смотрел на светловолосых девушек в шортах и коро-

теньких блузках, приехавших издалека на экскурсию в христианскую церковь — их исторический памятник, один из важных, хотя и не единственный корень, питающий общий древесный ствол, — и вдруг поймал себя на мысли, что аятолла из соседней страны эту экскурсию бы ни с какой стороны не одобрил. Нет, Турция — решительно не Ыран и не Ырак, так утверждали в беседах с нами европеизированные турки.

А чудеса в Мире Ликийской все еще случаются — такая, видать, местность. Мы в этом убедились.

До отправления оставалось минут сорок пять, и протоптанным путем мы отправились попить чаю. В чайхане было безлюдно, день клонился к вечеру, и тени в переулке стали гуще. Посидеть в тени и без чаю было приятно.

Тут появился мальчик в очках и, не спрашивая, поставил перед нами именно тот чай, которого нам больше всего хотелось.

— Молодец, — похвалил его я, — надеюсь, станешь большим человеком!

Он согласно кивнул.

— Для этого я стараюсь хорошо учиться, — отвечал он со скромным достоинством. — Я хочу стать зубным врачом. Я буду им.

Мы подарили ему единственный сувенир — пятирублевую монету, блестящую и с орлом.

— А как вас зовут? — вежливо спросил мальчик.

— Арслан-бей, — отвечал я, переведя свое имя на турецкий.

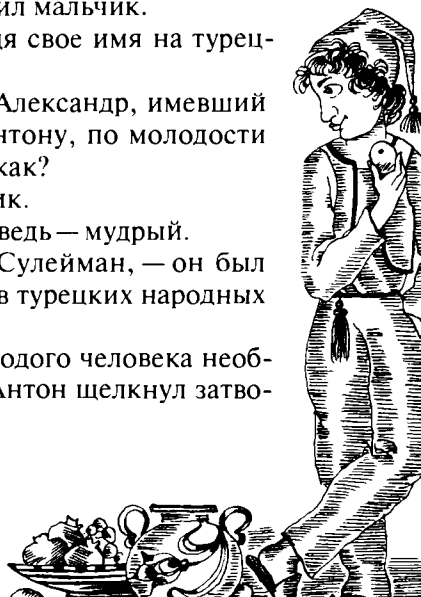
— Искандер-бей, — сказал коллега Александр, имевший большой опыт жизни на Востоке. Антону, по молодости лет, мы титула не добавили. — А тебя как?

— Сулейман, — представился мальчик.

— Ого! — восхитился я. — Сулейман ведь — мудрый.

— Я знаю, — скромно подтвердил Сулейман, — он был султаном в Израиле. Я читал об этом в турецких народных сказках «Тысяча и одна ночь».

Такого умного и воспитанного молодого человека необходимо было запечатлеть на память. Антон шелкнул затвором.

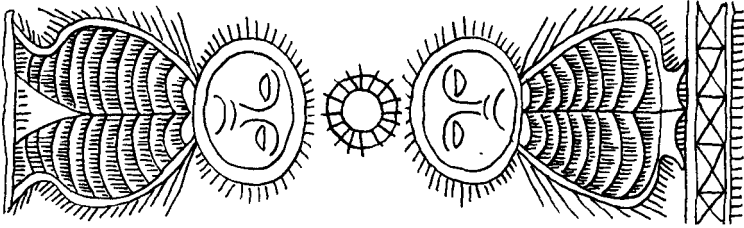


То ли начало смеркаться, то ли выдержку не рассчитал, но Сулейман получился — когда проявили — немного темновато. Но над его головой на фото ярко сияет надпись: «Зубной врач». Мы ее, сидя, не видели.

Это чудо, происшедшее на моих глазах и при заслуживающих доверия свидетелях в Мире Ликийской, ныне Демре-Кале, убеждает меня в том, что Сулейман обязательно станет большим человеком, зубным врачом. Притом очень хорошим.

И я торжественно обещаю: если я доживу до того дня и у меня еще останутся зубы, я обязательно приеду в Демре-Кале и попрошусь к нему на прием.

Глава 9 Бамбуковые письма



Важной составной частью названия науки, о которой мы говорим в этой книге, — этнографии, служит греческое слово «графо», что значит «пишу». Каждый год отправляются во все концы Земли экспедиции; все, что увидят и изучат их участники, они запишут в свои полевые дневники. О народах древности мы знаем по работам древних географов и историков, так как письменность появилась давно. Но ведь существуют народы, у которых письменности нет вообще или появилась она только недавно. Но разве эти люди не стремились запечатлеть свою жизнь и все ее события? Последние исследования говорят: стремились.

Хроника древней Австралии

Что оставляли после себя на Земле поколения австралийских аборигенов? Ведь даже хижин они не строили, и песок пустыни заносит следы их стоянок.

...Племя останавливается на ночлег там, где застала его темнота, почует в нагревшемся за день песке. И кто из бродячих аборигенов может похвастать тем, что хотя бы раз в жизни провел ночь под крышей?..

Зато каждому из них принадлежит вся та земля, что отвели племени неписанные соглашения между соседями. И на этой земле он владеет всеми источниками, всеми горами, всеми долинами. Здесь похоронены предки, духи кото-

рых оберегают племя. Здесь потаенные пещеры хранят священные предметы — тотемы и чуринги, в которых живут духи предков.

...Старейшины племени собираются на советы в пещерах — там, где смотрят на них со стен изображения животных-родоначальников: кенгуру, ехидны, змеи. Они рисуют на стене родоначальника, и он как бы занимает место в их кругу. Когда придет пора посвящения в охотники, в эти пещеры приведут мальчиков, здесь они впервые услышат от старших легенды и предания, которые живут вместе с племенем, а потом подвергнутся испытаниям на мужество и терпение. И каждый из них нарисует на стене свое животное-покровителя...

Писаная история черных австралийцев начинается с того дня, когда первый европейский корабль появился у берегов пятого континента. Правильнее сказать, не история, а описание того, что делали с коренными австралийцами другие, описание кровавое и горестное. Все то, что было до прихода белых, автоматически относится к доисторическому периоду.

Но хоть и нет у древней Австралии писаной истории, каждое племя хранило в своей памяти — в сказках, легендах, обычаях — отголоски событий дней минувших. Разве только буквами можно записать то, что нужно сохранить для потомства? Издавна у коренных жителей Австралии существовали определенные символы для обозначения племен и родов, для самых важных событий — праздников, удачной охоты, голода, смерти, рождения. И у каждого племени хранились и его «летописи» — картины на эвкалиптовой коре.

С эвкалипта снимают кусок коры, расправляют его на доске, придавив тяжелыми плоскими камнями. Потом кору зарывают в песок, а сверху разводят огонь. Из песка ее выкапывают уже сухой, ровной и приобретшей золотисто-желтый оттенок. Полотно будущей картины готово. Глиной, углем, соком трав, замешанным на жире, рисуют на коре условные символы: кенгуру, крокодила, извилистую линию — реку. Понять содержание записи можно, лишь хорошо зная правила, по которым эти фигуры спле-

таются в прихотливый рисунок. Мало кто теперь умеет читать книгу, написанную традиционными символами на эвкалиптовой коре. Разве что старики в немногочисленных теперь племенах Севера. Они еще по-прежнему записывают хронику своего рода на коре.

Такие куски коры прячут в потаенных местах, где хранятся святыни племени. Очень похожие картины на коре можно купить в магазинах. Их делают аборигены, чтобы сдать миссионерам, которые отправляют их в большие города на продажу. Те же кенгуру и те же крокодилы на них, но говорить они не умеют.

Как не умеет летать бумеранг, снабженный овальной печатью: «Сделано руками аборигенов. Подлинность гарантируется».

Родословная на стене

Перси Д. Липтон, который занимался изучением генеалогии народа басуто в Южной Африке, был первым из европейцев, обратившим внимание на стены басутских хижин и описавшим их. Не следует понимать сообщенный выше факт как утверждение, что никто до П. Липтона не замечал хижин басуто и их стен. Отнюдь нет. Басутскую хижину, не схожую ни с круглым жилищем зулуса, сооруженным из прутьев и травы, ни с желто-глиняным домом крестьянина Ботсваны, ни тем более с коттеджем бура, просто нельзя не заметить. Потому хотя бы, что стены ее изукрашены орнаментом и расписаны яркими красками. Орнамент разный на каждой хижине, а краски всегда свежи, потому что хозяйка их подновляет, стоит ей заметить, что где-то потускнел рисунок или облупилась краска.

П. Липтона интересовали прежде всего родственные связи в племени: как называют басуто своих дядей, тетей, дедушек, бабушек, племянников, а также правила вступления в брак и многое другое, что может показаться не очень важным для человека несведущего, но имеет большое значение в этнографии.



Ученый ходил из хижины в хижину, затевал длинные разговоры, пытался сломить естественное недоверие (зачем, мол, все это нужно белому?).

Глава семьи обычно помалкивал, куря трубку и важно кивая головой, все разъяснения давала первая жена. Младшие жены толпились, сгорая от любопытства, у входа снаружи, поминутно заглядывая в хижину. Тем временем первая жена поясняла ученому:

— Сын одной из младших жен родился на четыре дня раньше, чем сын другой, поэтому первый называет второго мальчика «цколи», а тот его «квана». Потому что первый старше...

Дело оказалось, однако, не таким простым. Между женами разгорелся спор, и тогда в него вмешался хозяин. Вместе с Липтоном и всеми женами он вышел во двор и стал водить пальцем по узорам, покрывавшим стены. Время от времени он тихо советовался о чем-то с первой женой, и та тоже водила пальцем по узорам. Наконец хозяин удовлетворенно кивнул головой и, показав на одну из женщин, сказал ученому: «У нее старше...»

Но теперь Липтона уже не интересовала проблема старшинства. Стена! Стена, заменявшая семье архив, — вот настоящая загадка!

Поначалу хозяева не поняли, чем так поражен Липтон. Потом, набравшись терпения, стали втолковывать вещи, на их взгляд, совсем очевидные. Каждая деталь орнамента, конечно же, имеет свое значение: вот из этого ясно, что родился сын, а это, ясное дело, — дочь, тут зарегистрирована покупка скота, ну и так далее. При этом получилось, что разобраться в рисунке могут только члены семьи, а, скажем, соседу это уже не под силу; зато у него есть свои знаки.

И правда, никто из басуто в других деревнях не смог прочитать запись, которую Липтон тщательно перерисовал со стены.

Было это в начале прошлого столетия. Сообщение Липтона, опубликованное в сугубо специальном журнале, издававшемся в Южной Африке, осталось почти незамеченным. С тех пор басуто создали свою — на основе латинской — пись-

менность и, нужно сказать, стали одним из наиболее грамотных народов Южной Африки. Все необходимые записи в Лесото — государстве басуто — теперь делают по-английски и на языке сисуто, так что необходимость записывать на стенах хижин все, что случается в семье и в деревне, отпала. Однако сама традиция украшать стены дома орнаментом сохранилась. Но орнамент в наши дни, к сожалению, уже не меняется, а значение его забылось.

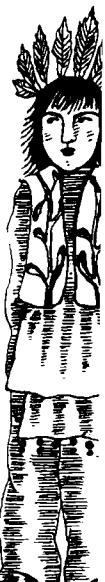
Если ученым удастся выявить его закономерности, расшифровать смысл, то тогда, быть может, откроются перед ними события давно минувших дней, когда не было в стране басуто бумаги...

Бамбуковые письма мангианов

Ждут своих исследователей загадки почти первобытного племени мангианов, населяющих горные районы филиппинского острова Миндоро. В жизни и обычаях этого племени так много непонятного и странного, что, с какой стороны ни возьмись, сразу захлестывает исследователя море вопросов. Возьмите, к примеру, хотя бы почту мангианов.

Мангианы пользуются самым простым в мире и, может быть, самым надежным видом почты. Можно спросить: к чему первобытным людям почта, необходимый атрибут высокоразвитого цивилизованного общества? А разве первобытным людям нечего сообщать друг другу? Мангианы же — их примерно тысяч тридцать или сорок — разбросаны на огромной территории, и деревню от деревни отделяют дни и недели пути.

Для своей почты мангианы не используют ни бумаги, ни конвертов, ни авторучки, и вряд ли удастся почтовому ведомству в Маниле заставить их в ближайшем будущем купить хотя бы одну-единственную почтовую марку. Тем не менее их послания — приглашения в гости, сообщения о смерти или рождении, об успешной охоте — доставляются адресату без промедления. Пропавшее письмо — редчайший случай.



Мангианы посылают друг другу бамбуковые «письма». Она вырубает из куска бамбукового ствола пластинку и острием ножа вырезают сообщение на внутренней стороне бамбука. Затем на внешней стороне вырезается адрес. Например, «Бускадо в Хавали». Понятно, что речь идет о старике Бускадо, проживающем в бамбуковой хижине над обрывистым берегом реки Хавали.

«Письмо» вкладывают в расщепленный ствол бамбука, воткнутого в землю на видном месте у тропы, ведущей к Хавали.

Первый же прохожий, идущий в нужном направлении, возьмет послание и пронесет его до тех пор, пока не свернет в сторону от тропы, ведущей к дому почтенного Бускадо. Тогда он точно так же срежет бамбуковый ствол, расщепит его и укрепит в нем «письмо» для следующего прохожего. (Если здесь уместно такое сравнение, то «письмо» движется по методу автостопа, меняя несколько раз «средства передвижения», прежде чем дойдет до цели.) Поскольку мангианы ходят много, всегда рады помочь ближнему, безукоризненно честны и, кроме того, передвигаются с немыслимой скоростью, бамбуковое письмо попадает к месту назначения куда быстрее, чем нормальное письмо в городских условиях. Правда, при мангианском способе не существует тайны переписки. Но что и от кого скрывать мангианам?

Если какой-нибудь человек найдет у водопада (излюбленного места встречи мангианских влюбленных) аккуратно вырезанный кусок бамбука без адреса с единственным словом: «Пусть!» — ему ясно, что это письмо трогать не следует: адресат придет за ним сам.

Бамбуковая почта, несомненно, загадочная особенность мангианов — ведь ни у каких других племен, близко и далеко от них, ничего подобного нет. Но раз есть переписка, значит, есть и письменность. Откуда могла она взяться у народа столь отсталого, у народа, знающего счет лишь до десяти?

Письменность у местных жителей обнаружили испанцы, когда завоевали Филиппины. Сильно отличаясь у разных племен, она имела общее индийское проис-

хождение. Испанцы, известные мастера искоренять все греховное и языческое, принялись истреблять эту письменность, а заодно и людей, ею владевших, с такой энергией, что в скором времени филиппинская письменность исчезла. Как полагали, навсегда. И лишь относительно недавно исследователи установили, что у трех племен «культурных меньшинств», надежно изолированных от соприкосновения с испанцами, а потом и с американцами, сохранилась письменность, очень схожая с древней.

Письменность мангианов — слоговая; в ней пятнадцать согласных и три гласных: а, и, у. (В слоговом письме нельзя написать, к примеру, слово «банан» пятью буквами: есть особый значок для сочетания «б» и «а», особый — для «н» и «а» и особый для «н» без гласной.) Есть в мангианской письменности, по мнению специалистов, определенные черты сходства с древнеиндийским санскритским алфавитом. Но как попала эта письменность к мангианам — племени, живущему в горах острова Миндоро? Однозначного ответа этнографы не дают. Были предположения — скорее всего далекие от истины, — что мангианы попали на Миндоро в незапамятные времена из Индии. Были теории, что обучили их писать и читать ученые люди, бежавшие в миндорскую горную глушь от свирепствовавших испанцев, когда те истребляли исконную культуру Филиппинских островов. Наконец, некоторые ученые склоняются к мысли, что мангианы стояли некогда на значительно более высокой ступени развития. Есть тому и подтверждение: нынешние мангианы делятся на десять племен, и устная речь одного племени другому непонятна. А вот письменность (или, точнее, письменный язык) одинаково понятна всем мангианам.

Раз в год в равнинной деревне Пантаган происходит «всемангианская встреча», в которой принимают участие почти все мангианские мужчины. Племенной организации с вождями и старейшинами у мангианов нет, поэтому в Пантаган приходят все желающие принять участие. Нечего и говорить, вероятно, что встреча проходит в обоюдном молчании. Зато в сумке, которую уважающий себя мангиан неизменно носит через плечо, у каждого участника приго-



товлен толстый пучок свежесрезанных бамбуковых палок, на которых ножом быстро-быстро вырезают все, что хотели бы сказать. Просьба «замечания и предложения подавать в письменном виде» здесь неактуальна, потому что все переговоры только так и идут.

Мангианы вырезают на бамбуке не только письменна, но и стихи — амбаханы. Для стихов употребляют таблички размером в нашу открытку, вырезанные буквы чернят сажей. Стихосложение подчинено строгим правилам: в каждой строке семь слогов, последние слоги рифмуются. Чтобы понять амбахан, надо знать не только язык, но и обычаи мангианов. Вот, к примеру, стихи, которые написал юноша девушке (стихи даются в подстрочном, крайне несовершенном переводе):

Светлячок говорит,
Глядя на дятла:
«Друг мой милый,
Пошли вместе к реке».

Девушка отказывает ему:

Отвечает дятел:
«Как же мы пойдем вместе,
Когда ты не одинок,
И у меня есть друг,
Который ждет меня в гнезде?»

В случае, когда «дятел» не отвергает «светлячка», складывают такие стихи:

Пусть мать плачет
И отец кричит,
Все равно дерево уже срублено,
И дом открыт всем ветрам
Без охраны гор...

Строгость поэтических правил лишний раз наводит на мысль о том, что некогда мангианы знали лучшие време-

на, нежели нынешние. Но это требует доказательств, потому что пока ни в какие рамки «не укладывается» народ, забывший и утративший все признаки высокой цивилизации, кроме почты, письменности и правил стихосложения.

Говорящие картинками

Страна вичоло была далекой и бедной западной окраиной империи ацтеков. Вичолы подчинялись верховному вождю лишь номинально, они не платили налогов, не поставляли людей для строительства храмов и не снаряжали военных отрядов в войско Монтесумы. Высокие горы укрывали их от остального мира. Может быть, эти горы спасли их, когда за короткое время — одну человеческую жизнь — от величественной цивилизации ацтеков остались лишь развалины дворцов и храмов, а гордый народ превратился в толпу обездоленных рабов на плантациях испанских завоевателей.

А может быть, помогло вичолам то, что земля их не обладала ни золотом, ни серебром и ничем другим, что разжигало алчность конкистадоров.

Скорее всего сыграло роль и то, и другое. Когда в их страну пришло большое войско, вичолы укрылись в горах и оттуда не давали испанцам покоя беспрестанными нападениями. Стоило же испанским войскам разделиться для удобства действий на меньшие отряды, как вичолы расправлялись с ними поодиночке.

Лишь в 1721 году, когда вице-король Новой Испании, не намеренный впредь терпеть упорных язычников, отрезал вичолов от моря (и тем лишил их единственного источника соли), вичолы подписали договор о перемирии. Согласно договору открыты были в Стране вичоло пять миссий.

Миссионеры обязывались «внушать слово Божье кротко и терпеливо, не оскорбляя суеверий и грубых верований вичолов, пока последние, убедившись в преимуществах Христовой веры, сами от них не откажутся». Вичолы же гарантировали безопасность святых отцов из ордена францисканцев.



Договор был составлен в двух экземплярах: по-испански — на бумаге и по-вичольски — на большом квадратном куске шерстяной материи. Причем вичолы потребовали, чтобы командующий отрядом полковник Фернандо Хозе де Магальянос-и-Вильф поставил свою подпись на обоих экземплярах. Из записок полковника мы узнаем, как это выглядело.

«...Дикари же вичолы подали кусок шерстяной материи примерно два локтя в длину и примерно столько же в ширину, размалеванный некими рисунками, настолько грубо и неумело исполненными, что не было возможно их разобрать... При сем они требовали, чтобы я подписал его так же, как и составленный нами документ. Сохраняя всю серьезность и окруженный гг. офицерами, с трудом удерживавшимися от смеха, я выполнил их нелепую просьбу. Поистине страсть к бессмысленному подражанию, столь свойственная диким народам, заставила вичолов «составить» и свой текст договора, но, не умея писать, они просто исчертили материал тем, что почитали за буквы. Естественно, что никакой силы этот «документ» не имел, даже и несмотря на мою на нем подпись...»

Вичолы отнеслись к договору гораздо серьезнее, чем полковник...

Пять миссий были открыты в их стране, и, засучив рукава сутан, святые отцы-францисканцы взялись за работу... с тем, чтобы через несколько лет покинуть паству. Во-первых, паства оказалась неподатливой, во-вторых, войдя в миссионерский раж, кое-кто из монахов серьезно нарушил тот параграф договора, где запрещено было «оскорблять верования вичолов», и вичолы показали им на дверь.

На том попытки обратить вичолов в христианство практически кончились, и так сохранился до наших дней народ, племенная структура которого, верования, традиции и искусство не изменились с доколумбовых времен.

Не изменились и занятия. Вичолы разводят кукурузу, охотятся в горах, а в свободное время все племя — все двадцать тысяч человек — занимается искусством: резьбой по дереву, по камню, а также вышиванием и рисованием. Дело в том, что, согласно вичольским верованиям, свято

любое хорошо сделанное дело: чисто вымытый пол, аккуратно засеянное поле, остро наточенный мачете. Но из всех дел самое святое — ярко нарисованная картина. Картины эти называют «неарики», что на языке вичолов значит «разрисованная шерсть». Самое любопытное в неарики — это то, что для вичолов они не картинки и даже не картины...

...В 1960 году возник земельный спор между племенем вичолов и правительством мексиканского штата Наярит. Обе стороны ссылались на разные параграфы различных документов. Интересы вичолов представлял сеньор Рамон Медина Сильва, колдун племени. И вот, когда всем присутствовавшим на суде стало совсем, казалось бы, ясно, что дело выигрывает штат Наярит, дон Рамон предложил всеобщему вниманию документ: покрытый пестрыми рисунками квадратный кусок шерстяной материи с подписью полковника Магальяноса в углу.

То-то удивился бы полковник, узнай он, что о его исторических записях вспомнят лишь благодаря куску материи, «размалеванному с варварской пестротой некими рисунками, грубо и неумело исполненными», которые он, правда, подписывал, но еле «сохраняя всю серьезность и окруженный гг. офицерами, с трудом удерживавшимися от смеха»! Да и кто не удивится, узнав, что эти рисунки-неарики, скрепленные полковничьей подписью, уже больше двух веков сохраняются жрецами вичолов.

Суду такой документ был в диковинку. Но дон Рамон Медина Сильва, прочтя неарики, точно указал все пункты договора от 1721 года, которые подтверждали права вичолов. Подняли архивы и убедились в правоте индейцев.

Вичолы выиграли процесс, и случай этот попал в газеты вместе с фотографией неарики, сыгравшей на суде столь важную роль.

В мире ученых, занимающихся расшифровкой ацтекской письменности, фотография произвела фурор. В ней усмотрели очевидное сходство с пиктограммами — рисуночным письмом — доколумбовых цивилизаций Америки.

Из Мехико направлены были к Рамону Медина Сильве специалисты с заданием приобрести как можно больше вичольских неарики. Но когда ученые прибыли в город



Сапонан, где проживает дон Рамон, выяснилось, что колдун недавно покинул город: приближалось время самого большого праздника вичолов. Посланцам удалось узнать, что за месяц до праздника из Страны вичолов уходят Великим Пейотлевым Путем люди, которым предстоит рисовать неарики. Ведомые шаманом, они идут от Сиерра-Мадре в пустыню Сан-Луис-Потоси. Здесь, по представлениям вичолов, находится их святая земля Вирикута.

Два дня в пустыне вичолы ничего не едят и не пьют, а только жуют пейотль — дурманящие плоды особого вида кактуса. Вичолы считают, что под воздействием пейотля душа отделяется от тела и уходит в странствие по стране духов. Рассказ об этом путешествии со всеми подробностями заносится на материю, вытканную из белой шерсти. Так и получают неарики.

Возвратившись домой, паломники жертвуют неарики богам Солнца, Огня и Воды. У вичолов множество богов, причем боги эти приходятся им всем родственниками: Дедушка Огонь, Бабушка Вода, Матушка Голубка, Матушка Кукуруза, Братец Святой Олень. Но неарики преподносят только богам, которых считают предками, — скажем, Дедушке Огню и Бабушке Воде. Неарики дарят богам при любых важных событиях: рождении ребенка, свадьбе или, например, серьезной болезни — они подробно и аккуратно излагают просьбы к богам. На первый взгляд неарики напоминают детские рисунки, так много здесь непонятных подробностей, так нелогично расположены на них изображения. Но это только на первый взгляд. Все четко продумано, и ничто не подчиняется чисто живописным задачам. Каждая черточка, каждая завитушка, каждое яркое пятнышко имеют точное значение. Например, изображение голубки символизирует дух кукурузы, а в зависимости от того, в какой части неарики оно помещено, меняется смысл просьбы вичолов: голубка в нижней части картины обозначает моление об урожае, а в верхнем правом углу — ходатайство о защите.

Во время процесса колдун Медина Сильва делал записи в блокноте. Пару страниц из блокнота он обронил в зале суда. Шариковой ручкой на обычной бумаге были сдела-

ны какие-то записи, но отнюдь не на испанском языке и не латинским алфавитом. То были такие же пиктограммы, что и на неарики, только записаны были не легенды, а самые прозаические выступления сторон в процессе.

Качинос тоже могут рассказывать

В дословном переводе слово «качина» означает «дух невидимых сил жизни». В американском английском языке слово это употребляется в испанском множественном числе «качинос» (испанцы были первыми белыми, с которыми хопи встретились) и обозначает куклу — от совсем маленькой до метровой, а то и больше. Для самих индейцев-хопи кукла-качинос — только одно из изображений духов. Но изображать их могут и люди, одетые и раскрашенные точно как куклы, и отдельные предметы — совсем не похожие на кукол, и еще многое другое, сведениями о чем хопи предпочитают не делиться с посторонними.

Более всего известны в окружающем мире именно куклы. Их делают мастера-хопи для продажи (они чуть-чуть отличаются от настоящих, которые непременный атрибут обрядов; чуть-чуть — но это делает их не священным предметом). Поскольку куклы-качинос пользуются в США неизменным успехом, за их изготовление принялись предприимчивые навахо. Они доступнее по цене, но, как выразился один американский торговец индейскими сувенирами: «Работа хопи отличается от любой другой, как «Кадиллак» от других машин».

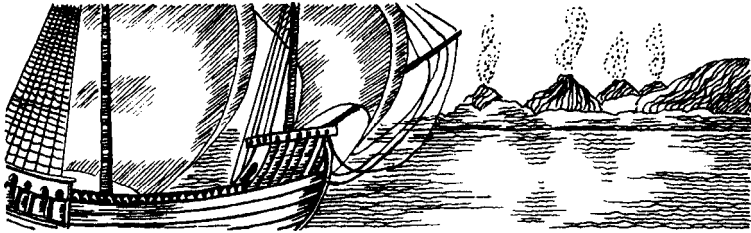
Качинос бывают разные: явно человеческие существа в масках зверей и птиц, «глиняные головы» — существа с телом человека, но с круглым шаром вместо головы, и «клоуны» — изображения голых раскрашенных людей. Есть среди качинос так называемые «убийцы миссионеров»: тут лица самих убивших испанских миссионеров людей из клана орла скрыты масками, в то время как миссионеры изображены абсолютно реалистически, даже с тонзура-



ми. Впрочем, никогда нельзя сказать с уверенностью «люди из клана орла» или «духи-покровители клана орла»: в тот момент, когда индейцы-хопи надевают маску и костюм качинос, они сами становятся ими.

Миссионеров действительно убили в XVII веке — это отражено не только в преданиях хопи, но и в записях испанской администрации. А то, что эта сценка разыгрывается поныне, показывает, что в малопонятных для белых куклах-качинос своеобразно записана и история «мирного, доброго народа» — так переводится самоназвание хопи.

Глава 10
Как исчезает этнос
(Трагедии этнографии)



Погасшие огни

В эпоху, когда карта мира являла собою лист бумаги, лишь постепенно заполнявшийся надписями и чертежами, первооткрыватель волен был давать обнаруженному им острову, реке, горе, морю, да и материку любое название. И вписанное скрипучим гусиным пером название это позволяет нам через века узнать имена и тех, кто покровительствовал экспедиции и снарядил ее, и тех, кто в экспедиции участвовал, а также представить себе душевное состояние людей, увидевших после долгого плавания землю, их восторг или разочарование. Хранят для нас названия и уверенность в правоте, и слепую веру, и заблуждения, и ошибки.

Два названия, о которых пойдет речь ниже, были даны по ошибке. Обе ошибки принадлежат Магеллану. Первое название — Патагония, что переводится как Страна Больших, второе — Тьерра-де-лос-Фуэгос — Огненная Земля.

Ни Магеллану, ни его матросам не довелось встретить людей на патагонском берегу, но на прибрежном песке ясно были видны отпечатки ног — гигантских, однако явно человеческих.

Предположить, что в новооткрытой стране живут люди с гигантскими ногами, было для испанских моряков вполне естественным. Ведь в то время всерьез относились к рассказам об одноглазых великанах-людоедах и людях с песьими головами. И откуда было знать храброму капитану и его

спутникам, что следы эти оставили индейцы племени техуэльчи, обутые в громоздкие мокасины из звериных шкур? Так появилось на карте название Патагония.

А Огненная Земля? Корабли Магеллана шли проливом, названным впоследствии его именем, сквозь густой туман. Дело в том, что густой молочный туман стоит здесь чуть ли не триста шестьдесят пять дней в году и столько же ночей. На еле различимом в тумане берегу светилось множество огней. И на воде тоже видны были огни. То были не вулканы, как думал Магеллан, то горели костры: на суше — индейцев племени она, на воде — в лодках — племени морских кочевников алакалуфов. Незвестный остров назвали Огненной Землей.

Вместе Патагонию и Огненную Землю называют еще Краем света. Такого имени не найти ни в одной даже самой подробной географической номенклатуре, но когда в Аргентине и Чили говорят о Крае света, то имеют в виду самую южную — к югу от сороковой параллели — часть Американского континента. Трудно представить себе место, менее приспособленное для человеческого житья.

Без усталости дуящий ветер: сухой — над пампой, с дождем — вдоль Анд. Ураган над морем, ураган над землей. Редкие деревья, сохранившиеся в пампе, распластаны, как придавленное ползучее пламя. Они изогнуты, они растрепаны, как дым. Ржавая проволока на покосившихся столбах отмечает границы поместий — эстансий. Бесчисленные стада овец бродят по пампе, и кажется, что для них только и создана эта унылая земля на Краю света.

...Для тех, кто жил здесь задолго до того, как корабли Магеллана отправились в путь, эта земля не была краем света. Она была просто их землей.

Король Патагонский и его подданные

... **С**олдаты залегли у входа в пещеру, скрываясь за камнями и кустарником, потом дали залп. Ответных выстрелов не последовало. Тогда лейтенант, сопровождаемый капралом, отважился войти в пещеру.

У костра сидели шесть человек: пятеро индейцев, шестой — белый. Это был высокий человек с изможденным лицом, длинной бородой и спутанными волосами. При виде лейтенанта он даже не поднял головы.

— Именем Республики Чили, — произнес лейтенант, — вы, Антуан де Тунэн, арестованы. Сдайте оружие.

Бородатый не шевельнулся. Лица индейцев оставались невозмутимыми.

— Вы слышите меня, Антуан де Тунэн? Вы арестованы, — повторил лейтенант.

Антуан де Тунэн не поднялся.

— Я Орели Первый, король Араукании и Патагонии, — произнес он тихо, — и требую, чтобы...

Его ударили прикладом. Потом заломили руки и набросили на шею веревку. Вывели из пещеры, посадили на коня, захлестнув петлей ноги под конским брюхом.

Месяц спустя, апрельским днем 1871 года, в порту Вальпараисо бородатый человек в сопровождении двух жандармов подошел к трапу французского корабля «Вандея». Один из жандармов достал из-за пазухи сложенный лист бумаги.

— Именем Республики Чили, — прочитал он, — вам, Антуан де Тунэн, запрещается появляться в пределах Республики при каких бы то ни было обстоятельствах. В противном случае вы будете расстреляны без суда и следствия первым же опознавшим вас чилийским военнослужащим.

Потом они сняли с де Тунэна наручники и подтолкнули его к трапу.

...Путь домой, во Францию, был неблизкий, и Антуан де Тунэн, лежа на жесткой койке, не один раз перебрал в голове бурные события последних лет жизни.

Десять лет назад де Тунэн, скромный адвокат из провинциального французского города Периге, исполнял свои прямые обязанности, никоим образом не связанные ни с пампасами, ни с индейцами далекой Южной Америки. Но как раз в это время в Старый Свет стали проникать скудные сообщения о войне в Араукании, той части Края света, что ограничена с запада Тихим океаном, а с востока — Андами. Земля эта — за рекой Био-Био — номинально принадлежала Чили, но индейцев-арауканцев гражда-



ми Чили фактически не признавали, а эту землю индейцы, естественно, считали своей, потому что испокон веков жили на ней. С течением времени, однако, белых, пришедших с севера, становилось все больше, и вскоре они уже начали теснить индейцев. Земля понадобилась для овечьих пастбищ. Тогда индейцы взялись за оружие. Им противостояла регулярная чилийская армия. На первых порах армии приходилось чаще отступать. Но зато, когда ей удавалось разгромить какое-нибудь племя, она действовала беспощадно. Слухи об этих жестокостях, попадавшие время от времени во французские газеты, дошли и до провинциального адвоката Антуана де Тунэна.

На путешествие ушли все сбережения. Без гроша в кармане де Тунэн сошел на берег в чилийском порту Вальдивия. Не задерживаясь в городе, адвокат отправился в горы. Военные патрули не обращали на него внимания: белый, не опасен. Солдаты только предупреждали его: «Поосторожнее, сеньор! Тут полно вооруженных индейцев!» Именно индейцы и нужны были де Тунэну. И вот однажды ночью, когда француз спал у костра, индейские воины, подкравшись во тьме, набросили ему на голову одеяло, опутали лассо и, перекинув через спину лошади, увезли в горы к своему вождю Килипану.

Таких белых Килипан еще не встречал. Вместо того чтобы просить пощады или угрожать, тот принялся объяснять индейскому вождю, как ему следует бороться против белых. Племена арауканцев, развивал белый свои планы, должны объединиться, забыв старую вражду. У них должен быть командующий, знакомый с европейскими методами ведения войны. И тогда объединенная арауканская армия нанесет чилийцам сокрушительный удар.

Слова де Тунэна убедили вождя; Килипан отправил гонцов к соседям.

В январе 1865 года шестеро арауканских вождей заключили в долине Валье-де-Ареналес военный союз против общего врага. Антуана де Тунэна провозгласили Орели Первым, королем арауканским.

Уже через неделю после встречи в долине Валье-де-Ареналес Орели Первый попал в засаду. Будь на его месте индеец, его бы расстреляли без лишних церемоний. Но это

был белый... Де Тунэна отвезли в Вальпараисо, где решили не раздувать дела (в которое вмешался французский консул), а, объявив пленника помешанным, посадить на французский корабль.

Оказавшись снова в Европе, де Тунэн не забыл о своем королевстве: он пишет бесчисленные письма Наполеону III и Папе Римскому, публикует в газетах статьи, разоблачающие политику чилийских властей. Все напрасно. Слава помещанного, приплывшая с ним из-за океана, делает все его усилия тщетными. Де Тунэну осталось одно: начать все сначала.

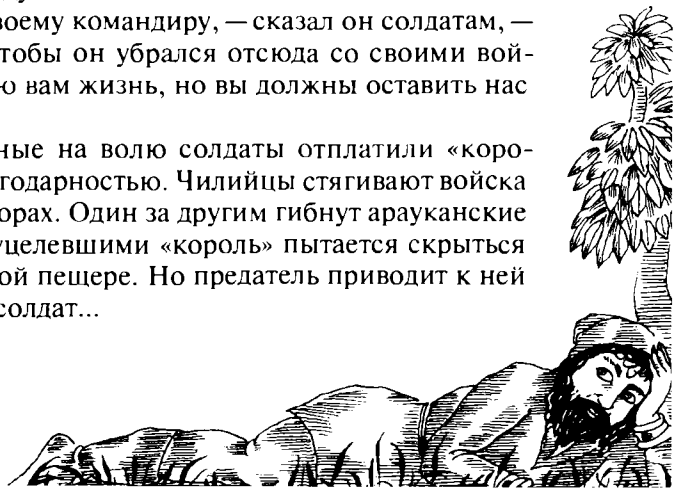
На этот раз де Тунэн высаживается на пустынном побережье Патагонии, в южной части Аргентины. Здесь пока все спокойно. Аргентина не взялась еще на своем юге за производство шерсти, которая во все больших количествах уходила в Европу из Чили. Овцеводческих поместий, или эстансий, в пампе еще не было, так что индейцы-техуэльчи могли пока спокойно охотиться на гуанако.

Орели Первому удалось не только добраться до Анд, но и встретиться с Килипаном. Рассказ вождя был грустным: дела очень плохи, чилийцы за то время, что де Тунэн был в Европе, научились использовать против индейцев не только ружья, но и лезвие и алкоголь. Они натравливают друг на друга арауканских вождей, и те воюют друг с другом. Де Тунэн может рассчитывать только на воинов Килипана.

Орели и Килипан начинают партизанскую войну. Четыре месяца они беспокоят чилийскую армию, нападая на обозы и угоняя верховых лошадей. Однажды удалось взять в плен чилийский патруль. Не раздумывая, де Тунэн отпустил пленных на свободу.

— Ступайте к своему командиру, — сказал он солдатам, — и скажите ему, чтобы он убрался отсюда со своими войсками! Я сохраняю вам жизнь, но вы должны оставить нас в покое!

Увы, отпущенные на волю солдаты отплатили «королю» черной неблагодарностью. Чилийцы стягивают войска к его убежищу в горах. Один за другим гибнут арауканские воины. С пятью уцелевшими «король» пытается скрыться в потаенной горной пещере. Но предатель приводит к ней взвод чилийских солдат...



Снова Антуана де Тунэна возвращают во Францию, и снова он покидает родные края.

В аргентинскую Патагонию начали бурно проникать белые поселенцы. В пампе появляются первые эстансии — овцеводческие поместья. Вскоре между техуэльчами и поселенцами разгорается война.

В 1872 году в пампу на подмогу колонистам была брошена аргентинская армия. Солдаты с одинаковой жесткостью убивают воинов, детей и женщин.

В 1873 году в Патагонии появляется де Тунэн, Орели Первый, король арауканский, а теперь и патагонский. Де Тунэн решает сделать ставку на последний козырь — натравить друг на друга Аргентину и Чили. Он остается на аргентинской стороне Анд и пытается вызвать пограничные конфликты. Но техуэльчи не доверяют странному белому, а установить связь с остатками верных арауканцев ему не удается. Довольно скоро он попадает в плен к аргентинскому полковнику Леонардо де ла Куадра. В 1874 году его вновь отправляют во Францию.

И в четвертый раз появляется он в Южной Америке — через два года в Буэнос-Айресе. Де Тунэн уже старый и надломленный человек. Теперь он просит о разрешении поселиться в Андах, но и в этом ему отказывают.

17 сентября 1878 года Антуан де Тунэн умирает в деревне Туртуарек, в родной провинции Дордонь.

Его подданные истреблены, и теперь в Патагонии нет больше ни одного чистокровного индейца. Лишь в провинциях Чубут и Санта-Крус живут несколько метисов-техуэльчей. Но и они ничего не помнят об Антуане де Тунэне, который величался некогда Орели Первым, королем Патагонии.

Последние дни огнеземельцев

Дожди, холод, ветер охраняли Огненную Землю от чужаков, берегли три ее племени. В северо-восточной части острова Огненная Земля жило племя она, родственное по языку патагонским техуэльчам. Западной частью Огнен-

ной Земли и островами Западно-Патагонского архипелага владело племя алакалуф. А на юге обитали ямана — самые южные люди Земли.

Люди алакалуф были морскими кочевниками. Они охотились на тюленей и выдр, всю жизнь проводя на воде. На берег они высаживались только в том случае, когда на море поднимался шторм, опасный для их легких лодок из коры. Ямана бродили по побережью, выкапывая съедобные корни, собирая ракушки.

Ни ямана, ни алакалуфы не носили никакой одежды — и это в суровом климате Огненной Земли, где даже в январе — летнем месяце Южного полушария — ртуть в термометре не поднимается выше семи градусов! Лишь при особо сильном ветре алакалуфы набрасывали на спину шкуру тюленя. Говорят, что некий миссионер, доказывая индейцам преимущества одежды, пытался убедить их в том, что они отчаянно мерзнут, в то время как он, миссионер, тепло одетый, легко переносит непогоду.

— А почему же лицо у тебя открыто? — спросили индейцы.

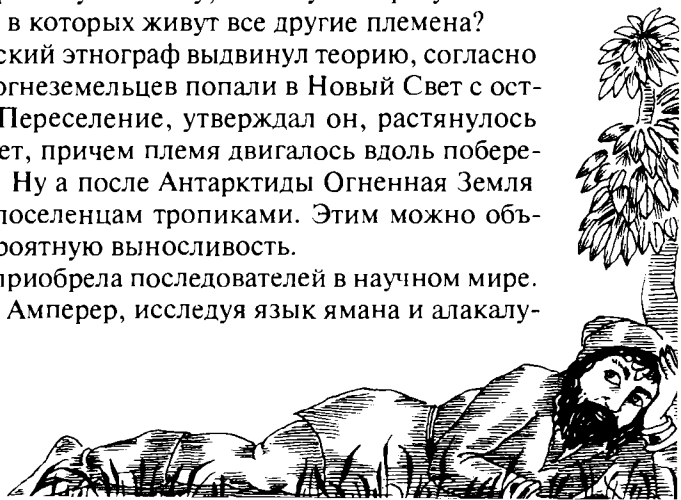
— Лицо не так мерзнет, — отвечал тот.

— Тогда у нас все тело — лицо, — резонно заявили индейцы.

Необычайная морозостойкость огнеземельцев, крайняя бедность их материальной культуры резко отличали их от других индейцев. В самом деле, если они пришли с теплого севера (а ученые считают, что индейцы заселили Америку, продвигаясь с севера), то как их организм приспособился к суровому климату, почему они разучились строить хижины, в которых живут все другие племена?

Один французский этнограф выдвинул теорию, согласно которой предки огнеземельцев попали в Новый Свет с острова Тасмания. Переселение, утверждал он, растянулось на много сотен лет, причем племя двигалось вдоль побережья Антарктиды. Ну а после Антарктиды Огненная Земля показалась новопоселенцам тропиками. Этим можно объяснить и их невероятную выносливость.

Эта теория не приобрела последователей в научном мире. Этнограф Жозеф Амперер, исследуя язык ямана и алакалу-



фов, установил, что они обладают чертами сходства с языками индейцев бразильского побережья. Американский ученый-археолог Лотроп пришел к выводу, что южные берега Огненной Земли заселены были уже две тысячи лет назад. Причем антропологический тип древних людей не отличался от типа ямана.

Увы, нынешнему исследователю приходится пользоваться чужими записями: сегодня на Огненной Земле огнеземельцев не больше, чем в Патагонии патагонцев. Причина их исчезновения все та же.

В семидесятых годах прошлого века десятка два овец, вывезенных с Фолклендских островов, были забыты на двух крошечных островках в Магеллановом проливе. Через несколько лет они расплодились, и тут выяснилась интересная подробность: в сыром, холодном климате, под вечными ветрами у овец отрастает необычайно густая, длинная шерсть.

И тогда на Огненную Землю хлынул поток колонистов. Первыми столкнулись с ними она. Места, где они исстари охотились на гуанако, оказались очень удобны для пастбищ. Скотоводы вытеснили индейцев в труднодоступные районы. Индейцы стали охотиться на овец: ведь они не очень-то разбирались в понятии «частная собственность» и не видели особой разницы между гуанако и овцой. Белые взялись за ружья. В виде отчета о работе пастухи сдавали хозяевам поместий ожерелья из ушей индейцев, нанизанных на шнуры. Но так как после этого часто стали попадаться живые индейцы с отрезанными ушами, хозяева эстансий потребовали представлять вместо ушей головы.

А в это время на юге, где жили ямана, цивилизация наступала другими путями. Здесь земля была непригодна для овец, и потому никто не прогонял индейцев с их земли. Но в самом центре обитания племени основали миссию, и миссионеры (среди них стоит упомянуть имя Бриджеса, составившего словарь и грамматику яманского языка) начали завлекать к себе индейцев, раздавая им пищу. Постепенно вокруг миссии образовался целый поселок ямана, забросивших охоту и существовавших от подачи к подачке.

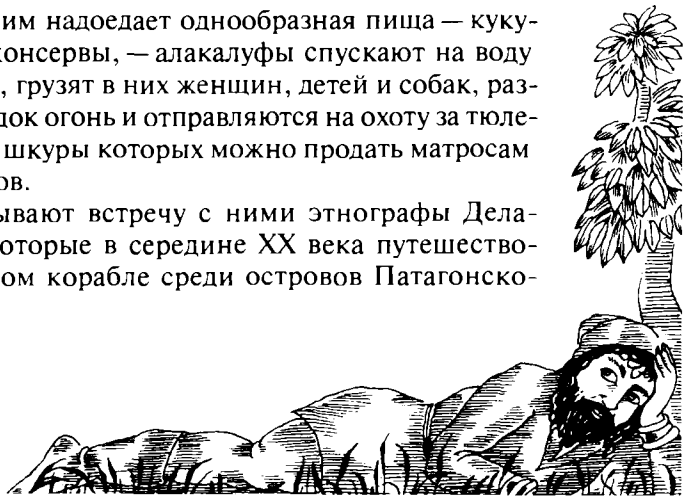
Приучив таким образом бродячих язычников к оседлой жизни, пастыри взялись, засучив рукава, за следующий, весьма ответственный этап: надлежало голую паству одеть. С этой целью в миссию были завезены из Европы тюки старой одежды. Для малорослых индейцев собирали платье детского размера: бархатные курточки и штанишки, матроски, пальтишки. Так на Огненную Землю попали корь, скарлатина, свинка. Огнеземельцев, не знавших до сих пор детских болезней, распространенных, но в общем-то безопасных в Европе, новые заболевания косили сотнями. Вскоре на кладбищах вокруг миссионерских поселков оказалось больше крестов, чем живых индейцев. Эти кресты да высокие кучи почерневших ребристых раковин — все, что осталось от самых южных людей на свете.

С той поры туманы на Огненной Земле не стали реже, чем во времена Магеллана. Но сквозь туман этот не пробиваются больше огни. Пятеро последних ямана, нищие, больные туберкулезом, ютятся на окраине поселка Вальверде.

А на восточном побережье скалистого островка Веллингтон доживают свой век на вспомогательной станции для индейского населения несколько семей алакалуфов. Станция носит идиллическое название «Пуэрта-Эден», что переводится как «Врата рая». «Врата рая» состоят из приземистого барака — резиденции командующего станцией, ефрейтора чилийской армии, и нескольких хижин из прутьев и тюленьих шкур, где обитают человек тридцать алакалуфов.

Иногда, когда им надоедает однообразная пища — кукурузная каша да консервы, — алакалуфы спускают на воду долбленные лодки, грузят в них женщин, детей и собак, разжигают на дне лодок огонь и отправляются на охоту за тюленьями и выдрами, шкуры которых можно продать матросам со встречных судов.

Вот как описывают встречу с ними этнографы Делаборд и Лоофс, которые в середине XX века путешествовали на чилийском корабле среди островов Патагонского архипелага.



«— Индиос, индиос! — неожиданно крикнул один из наших матросов, стоявший у поручней, и указал на приближающуюся лодку.

Под дождем юноша с непокрытой головой и две женщины, стоя, медленно и осторожно гребли длинными узкими веслами; несколько детей с растрепанными черными волосами сидели на корточках под навесом, по шиколотку в воде, набравшейся на дне лодки. Индейцы приближались к пароходу без страха, но и без радости, как дитя приближается к тому, кого оно не знает, но кто его, наверное, не обидит. Они подплыли к борту нашего корабля, им бросили канат. Они привязали свою лодку и почти два долгих часа сидели в ней молча, почти неподвижно, обратив к нам лица с немим выражением ожидания и неопределенного любопытства.

Индейцы безмолвно предлагали нам свои немудреные предметы обмена: чолгас и чорос — громадные съедобные раковины, морских ежей, тоже огромных размеров, и маленькие, сплетенные индианками тростниковые корзиночки.

Мы хорошо знали, чего они ожидали от нас, и бросили им хлеб, сигареты и старую одежду. Наши подарки падали большей частью в воду, и индейцы их молча подбирали. Только изредка их лица с прилипшими мокрыми прядями черных волос кривились в подобии улыбки, так что раскосые глаза почти совсем исчезали в складках кожи. В серьезности этих лиц, особенно детских, в безмолвии этих людей было столько подавленности, что к горлу подступал комок.

Наконец-то нам удалось увидеть индейцев племени алакалуф. Мы всматривались в эти серьезные, безмолвные лица и чувствовали, что бесконечная их грусть вызвана не только мрачной природой их родных мест, непроходимыми лесами Анд, бесприютными горами, вечным дождем, не только однообразием вереницы дней без солнца и ночей без звезд, но и глухим, смутным, как медленно действующий яд, сознанием неизбежной гибели их рода.

...Свистки с корабля звали матросов на места, и под громыхание цепей был поднят якорь. Большие альбатросы

парили над кораблем. Последние канаты, которые связывали нас с черными, мокрыми каноэ, были подняты, как будто мы хотели освободиться от тягостного, компрометирующего спутника. Индейцы молча поднялись в лодках и начали грести. Неожиданно, как сердитое прощание, прозвучал короткий, сиплый лай собаки. И снова все окутала тишина, такая же глубокая, как и два часа назад, когда лодки появились из тумана. Шел дождь, люди и лодки снова возвращались в небытие. Они растаяли в туманной мгле, как исчезают при пробуждении ночные кошмары...»



Глава 11 Придуманные люди с острова Минданао (Трагикомедия этнографии)



Эта история потрясла ученый мир и широкую общественность дважды. В первый раз, когда было открыто неведомое миру племя — первобытное и не имевшее контактов с окружающим миром во второй половине XX века. Во второй... Лучше о втором случае рассказать, подробно изучив перед этим историю открытия племени, взлета славы ученого-этнографа и крупного чиновника в тогдашнем филиппинском правительстве доктора Мануэля Элисальде.

Мы расскажем об этом точно так, как писала вся мировая пресса, — со всеми рассказами очевидцев и умозаключениями ученых.

Может ли быть приключение, более захватывающее, чем открытие и исследование «белого пятна» на карте? Неведомые земли, загадочные племена, следы исчезнувших навсегда великих культур. Но ведь «белых пятен» на Земле больше нет!

Фраза эта, на первый взгляд совершенно верная, банальна. И как каждая банальная истина — неверна. Человечество вступает в космическую эру, вся (или почти вся) территория планеты снята на пленку со спутников — где же место для неизведанного? Но вот в 1963 году геологическая экспедиция в глубине Австралии открывает первобытное племя

биндибу, а племя биндибу с удивлением узнает, что существуют люди, внешний вид которых, одежда и привычки непонятны и загадочны. В 1965 году строители коммуникаций в районе новой бразильской столицы натываются на индейские племена, не подозревающие даже о существовании Бразилии, бразильцев и вообще XX века (правда, им иногда, хотя и не так часто, приходилось видеть самолеты в небе над своим стойбищем).

Каждый раз эта встреча каменного века с двадцатым проходит по-разному, но каждый раз она порождает трудности и проблемы — конкретные проблемы и проблемы общие, закономерные.

Но, пожалуй, никогда еще эти закономерности не удавалось проследить в таком, так сказать, «химически чистом» виде.

Первое знакомство с тасадай-манубе

Первым человеком, который встретил тасадай-манубе, был охотник из племени манобо-блит.

Обилие малопонятных слов в этой фразе требует разъяснения. Племя манобо-блит живет в южной части филиппинского острова Минданао. Тасадай-манубе — племя, обитающее на том же острове в дождевых лесах, покрывающих склоны хребта Тасадай. Если посмотреть на карту острова Минданао, то между местами обитания обоих племен расстояние совсем незначительное. Однако оно вмещает и горные ущелья, и непроходимые леса, и стремительные реки. Но не только они обычно разделяют два племени-соседа. У здешних племен не принято охотиться в тех местах, где живут чужие люди. Незримые границы между племенами все четко знают.

Но о том, что племя тасадай-манубе вообще *существует*, не знал никто: ни чиновники из Панамина (филиппинского агентства по делам национальных меньшинств), ни власти провинции Котабаты, ни люди из соседнего племени манобо-блит.



Встреча произошла в 1966 году, когда забравшийся глубоко в джунгли охотник набрел на стоянку людей, говоривших на неизвестном ему языке.

Люди эти — невысокие, со светло-шоколадной кожей и волнистыми волосами — в большинстве своем не носили никакой одежды. У них не было домов, и вся стоянка состояла из десятка шалашей да общего костра.

Когда в июле 1971 года в деревню племени манобо-блит попал антрополог Мануэль Элисалье, руководитель Панамина, охотник рассказал ему о странной встрече.

— Вам это будет интересно, — говорил он, — совершеннейшие дикари, не знают даже, что такое табак.

...Дорога по земле заняла бы слишком много времени. Вызвали вертолет...

Элисалье так рассказывает о своем путешествии к неожиданно найденному племени:

«...Наш вертолет промчался над мягко всхолмленной долиной и круто свернул к горе, поросшей темно-зеленым дождевым лесом. Эти джунгли — пожалуй, самые непроходимые на Филиппинах — сплошь покрывают склоны гор, вершины же их окутаны мглой и туманом. Где-то здесь, среди невероятно густых зарослей, бог знает сколько веков живет в абсолютной изоляции неизвестное миру племя.

Вертолет летит над склоном, где люди племени манобо-блит недавно начали вырубать и выжигать джунгли под свои поля. Мы наметили посадочную площадку — расчищенный участок на опушке леса. Отсюда недалеко до самого последнего поля манобо-блит. Двое из наших помощников, уроженцев этих краев, пришли сюда неделю назад, чтобы подготовить нашу встречу с таинственными лесными людьми. Поэтому мы точно знали, что внизу нас ждут двое; веселый парень Флуди из племени т'боли и Дафал, тот самый охотник из племени манобо-блит, который первым поведал миру о таинственных жителях леса.

Дафал сам по себе заслуживает отдельного рассказа. Он долговяз, скуласт, с птичьим носом. Соплеменники называют его «человеком, который ходит по лесу, как ветер». Дафал — отличный охотник, лучший в племени. Он обычно забирается глубоко в джунгли, ставит там бамбуко-

вые силки — балатик, охотится на обезьян, ящериц, диких кабанов, оленей, а также собирает редкие корни и травы для лекаря племени убу, откуда родом его жена.

Во время одной из охотничьих вылазок, примерно лет пять назад (сколько точно — Дафал сказать не может, у него вечные нелады с определением времени), Дафал наткнулся на лесных людей. Заметив его, люди остолбенели на мгновение и тут же пустились наутек, а он кинулся за ними, непрерывно крича: «Вернитесь! Я — друг! Я не причиню вам зла! Вернитесь! Я — друг!» Перепуганные люди наконец остановились, и Дафал попытался убедить их в своих дружеских чувствах. Во время следующих встреч он приносил им куски металла и ткани, луки, стрелы, серьги — вещи, которых они до того и в глаза не видели.

Следует признать, что роль Дафала в жизни лесного племени еще ждет своей оценки. Пока же отметим, что, по словам Дафала, он встречал лесных людей за последние пять лет всего лишь раз десять, всякий раз принося им самые разные вещи, вроде примитивнейшего музыкального инструмента из железа — варгана или кремневой зажигалки. Благодарные лесные люди всегда были гостеприимны — мало того, они помогали ему ставить силки и собирать добычу.

Мы выпрыгнули из кабины и двинулись к Флуди, махавшему нам рукой с дальнего конца площадки. Еще мотор вертолета дробил тишину, а поднятый винтом поток воздуха бешено хлестал по высокой траве и листьям деревьев, когда стали появляться *они*. Шесть мужчин, одетых в эфемерные набедренные повязки — из кусков ткани, из листьев пальмы или травянистой орхидеи, несмело двигались к нам из чащи. Их кожа была янтарного цвета, светлее, чем у большинства племен на Минданао, волосы — волнистые и длинные, а тела гибкие и мускулистые. Они дрожали от ужаса, а один из них был явно близок к потере сознания.

Сам вид удивительного предмета, с грохотом и воем спустившегося с неба, и мы, и наша одежда, и разные вещи, что явились с нами, — все должно было наполнить их смертельным ужасом, но, как выяснилось, Дафал сумел придать встрече совсем иной смысл. Наш друг охотник слышал



от лесных людей легенды о некоем добром существе, которое должно однажды сойти с неба. Имя ему — Дивата, и, судя по всему, он немногим отличается от других своих собратьев — божественных мессий соседних племен. Сообразительный Дафал сказал своим друзьям, что на расчищенной площадке они встретят Дивату!

Я шагнул к стоявшему впереди всех мужчине. Тот трясся как в лихорадке. Я похлопал человека по спине и обнял его. Он судорожно обхватил меня руками. Остальные слегка придвинулись — настороженные, дрожащие, но по крайней мере укротившие на время страх.

Я заговорил как можно мягче. Как и следовало ожидать — ни намек на понимание. Дафал тоже стал что-то говорить им, но быстро выяснилось, что его возможности коммуникации крайне ограничены.

Замечу, что мы не сразу осознали тот факт, что на наших глазах происходит единственный в своем роде опыт — явление перед лесными людьми божества. Насколько мы могли понять, каждый из них утверждал и настаивал на том, что Дафал — единственный человек, живущий за пределами леса. Дафал, который одарил их разрозненными крохами знания. Дафал, который пришел и продвинул их сразу на тысячи лет вперед.

Мы дали им длинные тяжелые ножи, шары-боло, бусы, три зеркальца, фонарь и разные съестные припасы. Они приняли подарки, не выразив при этом никаких чувств. Мы дали еще мужчинам соли и сахару. Таких вещей они отродясь не видели, и мы заставили их попробовать и то, и другое. Они подчинились, хотя, похоже, были убеждены, что все это яд. Попробовав, они немедленно выплюнули их.

Сигареты и табак — предметы первой необходимости у окрестных племен — были им также неизвестны, они даже не знали, что с этими вещами делать. Мы все пытались узнать, не нужно ли им чего, в чем они нуждаются, чего бы хотели. Их ответ — если мы только правильно поняли то, что они говорили, — гласил: «У нас есть все, что нам нужно, но мы все равно были так рады встретиться с Диватой!»

Мы вернулись через неделю. Вертолет сделал над площадкой несколько кругов, чтобы лесные люди замети-

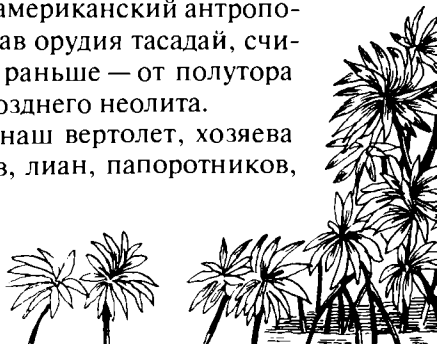
ли нас. На этот раз с экспедицией была Игна, круглолицая веселая женщина из племени манобо-блит, известная своими лингвистическими талантами. И хотя Игне удалось разобрать куда менее половины того, что говорили лесные люди, в стене непонимания была пробита немалая брешь.

Нам удалось выяснить, что изучаемые нами люди называют себя тасадай-манубе. Это имя, объяснили они, оставили им предки, а те, в свою очередь, получили его во сне от существа, которое повелевает лесом. Почти все, что тасадай знают, досталось им от предков, души которых живут на верхушках деревьев. До сего времени тасадай думали, что этими верхушками и кончается мир. Они рассказали нам, что никогда еще не выходили из своего леса и даже не подозревали, что могут существовать такие штуки, как вот эта расчищенная в лесу площадка.

Тринадцати из двадцати четырех тасадай, которые пришли на встречу, было лет по десять — плюс-минус два-три года, потому что точно установить возраст людей тасадай оказалось невозможным. У них нет ни малейшего представления о таких понятиях, как месяц или год, и очень слабое — о временах года. Среди детей было девять мальчиков и четыре девочки, что, несомненно, уже в самом недалеком будущем угрожает им нарушением демографического баланса племени.

Любопытно, что, несмотря на недостаток женщин, в племени нет полиандрии, когда у женщины несколько мужей, обычно братьев. Так бывает у некоторых народов Южной Азии. Насколько мы смогли понять, по каким-то причинам люди тасадай много веков назад оказались отрезанными в своем лесу от всего мира. По оценке профессора лингвистики Теодоро А. Льямсона, прилетевшего с нами, язык тасадай явно относится к малайско-полинезийской группе, однако по меньшей мере тысячу лет он как диалект развивался изолированно. Роберт Фокс, американский антрополог и член нашей группы, исследовав орудия тасадай, считает, что изоляция наступила еще раньше — от полутора до двух тысяч лет назад, в период позднего неолита.

От площадки, где приземлился наш вертолет, хозяева повели нас сквозь заросли деревьев, лиан, папоротников,



корней, где мы с трудом сохраняли равновесие на скользкой, сырой земле. У ручья наконец остановились передохнуть, и наши хозяева развели костер. Они добывали огонь трением двух кусочков дерева! Фокс воскликнул: «Господи боже! Да посмотрите же только! Видел ли кто-нибудь из вас нечто подобное?!» Он поднял какой-то тасадайский инструмент — нечто вроде топора, сделанного из небольшого, с куриное яйцо, камня, привязанного гибким камышом к ротанговой рукоятке. «Да ведь это чистейший неолит!»

Кроме топора, который так обрадовал Фокса, у тасадай есть и другие каменные орудия. Камень и бамбук — основные их инструменты. Камнем они вырезают и затачивают куски бамбука; из кусков бамбука делают острые ножи и сверла.

Тасадай обладают необычайно острым чувством связи с окружающей их средой. Они живут в удивительной гармонии с лесом, не пытаясь нарушить в свою пользу достигнутого равновесия. Тасадай никогда не возделывали землю и не приручали животных, они всегда были собирателями пищи, которую дает лес. В поисках съедобных корней и ягод они неустанно бродят по лесу, не задерживаясь нигде подолгу. Но при этом есть в лесу место, которое тасадай называют «особым местом». Оно спряталось в горных дебрях на высоте полутора тысяч метров. Как говорят тасадай: «Там вода течет с гор, там тепло и тихо». Сами мы стали называть это место долиной Шангри-Ла, хотя, скорее, оно больше походит на каньон между двумя хребтами. Тасадай очень любят эту долину и стараются не уходить от нее слишком далеко.

Свою пищу из корней и ягод тасадай разнообразят, ловя руками рыбу в ручьях. Домов они не строят, а от непогоды прячутся под естественными навесами в скалах или под опорными корнями гигантских деревьев.

У тасадай приятная внешность; ростом они невелики — метра полтора, чуть пониже среднего филиппинца. У них овальные, довольно широкие лица с четкими чертами. Они вечно жуют бетель (точно так же, как большинство племен Минданао), и оттого губы и зубы их всегда красны. Зубы лесных людей подпилены чуть ли не до десен, и каждому

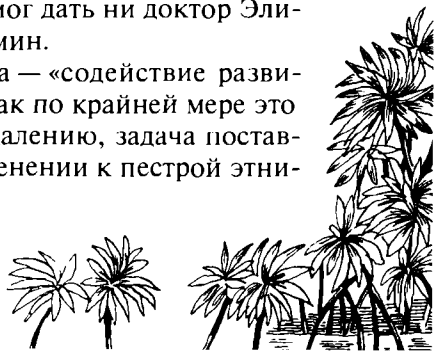
придан вид клыка: тут, очевидно, тасадай подражают животным. Врач нашей экспедиции Сатурнино Ребонг, проведя предварительные наблюдения, сделал вывод, что тасадай — народ физически здоровый (единственное, что их мучит, — кожные болезни). Однако, судя по тому, что самым старым мужчине и женщине в племени что-то около сорока, жизнь их коротка.

Тасадай очень ласковы друг с другом: то и дело видишь, как они обнюхивают друг друга — это заменяет у них поцелуи. Они научились жить в гармонии и согласии не только с природой, но и между собой. Между людьми племени тасадай вообще не бывает конфликтов — во всяком случае, в нашем смысле слова. Насколько мы смогли установить, у них даже не существует слова, обозначающего «войну» или «борьбу». Один из них сказал нам, что до тех пор, пока Дафал не научил их ставить силки, самое большое животное, на которое они охотились, была лягушка. К диким свиньям и оленям они относились почти как к друзьям. И это, пожалуй, самое трогательное из того, что нам удалось подметить у затерянного в лесах племени. (Это явно противоречит утверждению большинства религий об изначальности греха: человек-де в основе своей плох и грешен и посему должен посвятить свою жизнь искуплению грехов.) Если у одного из людей в племени нет пищи, значит, другие тоже не едят. Когда мы дали им боло, каждый мужчина взял себе по шару. Остался лишний шар, но никто не захотел его брать...»

...Через некоторое время вертолеты забрали всех посторонних. В лесу остались люди тасадай-манубе и несколько ученых, людей из того далекого и непонятного для тасадай-манубе мира, с которым им отныне придется сосуществовать.

Сосуществовать... Но как именно сосуществовать? Однозначного ответа на этот вопрос не мог дать ни доктор Элисальде, ни возглавляемый им Панамин.

Основное назначение Панамина — «содействие развитию национальных меньшинств»; так по крайней мере это формулируется официально. К сожалению, задача поставлена очень общо. Особенно в применении к пестрой этни-



ческой мозаике Филиппинских островов, где название «национальные меньшинства» объединяет и крестьян биколов и пангасинан, и охотников игорротов и аэта — малые народы Филиппинских островов, находящиеся на разной ступени развития, и — теперь первобытное племя тасадай-манубе...

Тасадай-манубе год спустя

Больше года прошло с того времени, когда страницы печати всего мира облетела весть: в непроходимых горных джунглях филиппинского острова Минданао обнаружено самое отсталое на Земле племя.

По мнению специалистов, занимавшихся языком тасадай-манубе, племя прожило в изоляции от остального мира от пятисот до тысячи лет. Этим вопросом занимались именно лингвисты, потому что язык племени относится к той же малайско-полинезийской языковой группе, что и наречия других племен острова, и изменения в словарном запасе могли показать, с какого времени языки начали развиваться отдельно.

Жили тасадай-манубе отдельно тысячу лет или «всего» пятьсот — в любом случае эти цифры не сопоставимы с цифрой «один» — один год. Ибо этот год настолько отличался от предшествующих ему сотен лет, что на весах истории мог бы их перевесить.

Каковы же изменения, происшедшие за этот год в жизни затерянного в джунглях племени?

Немедленное воссоединение племени тасадай-манубе с остальной семьей человеческой могло бы закончиться для племени катастрофой. Тому в этнографии мы сыщем множество примеров; достаточно вспомнить южноамериканских индейцев, австралийских аборигенов, влачащих более чем жалкое существование в слепленных из хлама хижинах за окраинами больших городов. Потому и было по рекомендации открывателя тасадай-манубе доктора Мануэля Элисалде принято решение об объявлении района, где живет племя, заповедником. Это означа-

ет, что никому не дано право вступать в контакты с людьми джунглей иначе, чем под контролем специалистов из Президентского совета по делам национальных меньшинств, того самого Панамина, которым руководит Мануэль Элисальде. Сам Элисальде пишет: «Разве смогут теперь тасадай остаться в спокойном одиночестве? Все ближе продвигаются к их «дому» лесоразработки, совсем рядом уже рубят и выжигают под поля джунгли соседние племена. Мы убеждены, что скоро — это вопрос не лет, а месяцев — в лес придут люди, куда менее дружелюбные, чем мы. Лес в опасности, и не случайно мы начали с того, что стараемся убедить правительство, чтобы оно объявило лес заповедником. Конечно, ученые хотят изучить племя тасадай. И я в их числе. Но прежде всего надо защитить племя от возможных бед, а уж потом можно подумать и о науке».

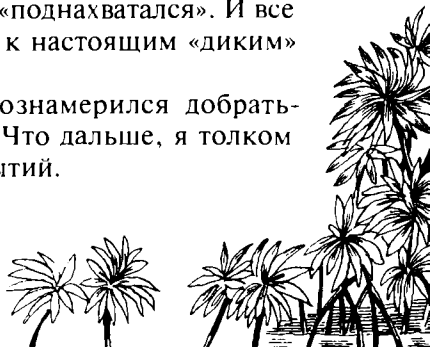
Чтобы читателю стало яснее, почему новооткрытое племя необходимо оберегать от любых неконтролируемых контактов, мы расскажем вкратце о последствиях такого контакта. Дело, правда, было с другим племенем и в другой части света, но не это суть важно, ибо в принципе разница невелика: первобытное племя и неподготовленный «пришелец» из далекого и чуждого мира — в отличие от доктора Элисальде, который готовился к своему приключению всей своей жизнью и работой ученого-этнографа.

«...Мне, наверное, не следовало отправляться к вайка, живущим на реке Риу-Матураса, притоке Риу-Негру на севере Бразилии, — пишет американский путешественник-любитель Фрэнк Саласар. — Как-то я нанялся коллектором в антропологическую экспедицию, отправляющуюся в Гватемалу. Мы изучали быт индейцев в джунглях, делали антропометрические обмеры.

Потом было еще несколько таких же путешествий.

Короче говоря, не получив сколь бы то ни было серьезной подготовки, я, что называется, «поднахватался». И все время мне очень хотелось попасть к настоящим «диким» индейцам.

Скопив некоторую сумму, я вознамерился добраться до племени вайка. Добраться... Что дальше, я толком не знал и полагался на течение событий.



Если бы я мог представить, какие это будут события!..

Не могу сказать, что вайка приняла меня чересчур радушно. Но все же они позволили мне остаться пожить в их деревне. Позволение стоило мне груды бус, зеркалац, ножей. Воздю я преподнес мачете. Что бы я ни просил у вайка — позировать перед моим фотоаппаратом, показать, как стреляют из лука, и тому подобное, — все это требовало очередных даров из моих запасов...»

Скоро в деревне не осталось человека, который не мог бы похвастаться каким-нибудь медным, железным, стеклянным или пластмассовым предметом.

Один из индейцев — молодой мужчина по имени Камбои — выпросил у Саласара часы. Он чаще других бывал у американца, и между ними возникло что-то вроде дружбы. Увы, только вроде, ибо Камбои относился к Саласару корыстно, видя в нем неиссякаемый источник подарков. Да и Саласар относился к нему не иначе: за побрякушки Камбои приносил разные предметы индейской утвари.

В общем-то дилетанту довольно скоро надоела жизнь среди вайка, и он стал собираться в обратный путь. Оставалось одно: сфотографировать индейца-охотника в джунглях.

Саласар пошел к Камбои.

Несмотря на то что индейцы редко охотятся в одиночку, удалось уговорить Камбои. Конечно, не обошлось без взятки, этого постоянного стимулятора «дружбы». Он захватил с собой лук, колчан с отравленными стрелами и небольшую сумку с едой. Американец взял пистолет, банку сардин и пригоршню галет.

Без труда он шел за Камбои по лесной тропе: тот продвигался не так быстро, как путешественник ожидал. Движения Камбои были бесшумны и плавны, он едва касался земли. Солнечные лучи, пробившиеся сквозь густую листву, обливали его тело ровным матовым блеском. Вдруг яркий свет резанул глаза, потом это повторилось еще несколько раз... «Я не мог понять, откуда исходил этот свет, пока не заметил на руке Камбои золотые часы, мой первый подарок. Через некоторое время начал греметь мешок с моими подарками, который Камбои не захотел оставить дома и прикрепил

к своему поясу. Сперва он придерживал мешок руками, но это, видно, ему надоело, и мешок гремел отчаянно».

В том месте, куда они отправились, дичь была необычайно редка. Один раз только набрели на недоеденного зверька размером с кролика — остатки обеда ягуара или оцелота.

Друзья остановились, чтобы перекусить.

Белый достал из кармана сардины. Камбои внимательно следил за тем, с какой легкостью консервный нож сворачивал крышку с банки, обнажая плавающих в масле рыбок. Он протянул руку: «Дай!»

Весь завтрак Камбои провел в задумчивости. Губы его шевелились, образуя беззвучные слова. Он облизал пальцы и посмотрел на часы, послушал, как они тикают, и потом долго смотрел на бегающую по циферблату секундную стрелку.

Он сидел на корточках в растерянности, оружие его в беспорядке валялось по траве, а ум боролся со странными новыми мыслями: «Почему тикают часы? Много ли растет в джунглях белого человека этих маленьких коробочек с рыбками внутри?»

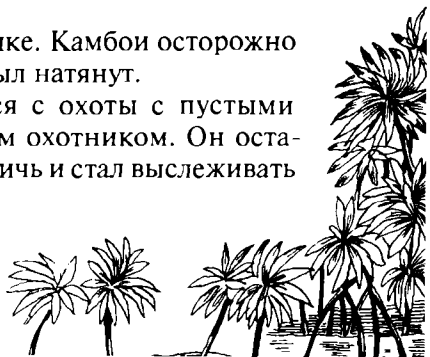
Эксперимент провалился: не было уже прежнего Камбои, полноправного властелина джунглей. Он не стал человеком мира белых и не мог им стать, но уже не был и хозяином своего мира.

Это был уставший индеец. Его тело было обременено ненужными мелочами, голова переполнена мыслями о подарках, об огненной трубке, которая, может быть, перейдет к нему от белого вождя, об алюминиевой кастрюле, которую он постарается выменять у своего соседа, о зеркальце, которое он спрятал в надежном месте. («Надежно ли оно? Вдруг чужой человек любит себя своим отражением именно в этот момент?»)

Камбои успел выучиться жадности, обману и подозрительности.

...Возвращались по другой тропинке. Камбои осторожно раздвигал ветки деревьев, лук его был натянут.

Вайка никогда не возвращаются с охоты с пустыми руками. А Камбои был прекрасным охотником. Он оставил надежду подстрелить крупную дичь и стал выслеживать



мелкую. Он убил двух диких индеек и обезьянку и, связав их за ноги, перекинул добычу через плечо.

Шаг его был легким и быстрым. Он на время забыл чудеса другого, непонятного мира. Он снова стал самим собой (по крайней мере так показалось белому наблюдателю), снова стал главой семьи, индейцем-вайка, который возвращается с охоты домой и несет своей жене и детям свежее мясо.

«Но как я ни старался, — пишет Саласар, — сохранить в памяти Камбои таким, каким я видел его в этот день, — свободным индейцем, живущим в бесконечном мире джунглей, образ его не удерживался в моем сознании...»

Так вот, чтобы подобные вещи не произошли с тасадай-манубе, и намерен был доктор Элисальде защищать неведомое еще не так давно миру племя.

Гостями племени побывали несколько групп журналистов и антропологов. И даже эти короткие визиты оставили в жизни племени свои следы. Так, необычайно понравились тасадаям консервные банки. Именно сами банки, а не их содержимое. Тасадай-манубе расплющивали банки камнями и складывали пластины в специально отведенное место. Из них делали потом наконечники для палок, которыми выкапывают съедобные корни, или стрелы для ловушек-самострелов на мелкую дичь. Впрочем, тасадай-манубе ничего не имели против консервов, ели их с удовольствием, но относились к консервам несерьезно. Это, мол, вкусно и сытно, но с настоящей едой несравнимо.

А настоящая еда тасадай-манубе почти не изменилась: корни, водяные луковицы, лягушки. Еще сюда надо добавить мелких пресноводных крабов, ракушки и время от времени небольшую обезьяну или мелкого кабана. Последние два блюда появились в тасадайском меню совсем недавно: еще до прихода Элисальде, после встречи тасадаев с охотником Дафалом из племени манобо-блит. Он научил их ставить силки и мастерить самострелы.

Врачи, осматривавшие тасадаев, предположили, что вымирание племени (у тасадай-манубе очень мало детей) связано со скудным и крайне однообразным питанием.

Как быть? Привозить пищу и раздавать ее? Но это привело бы к новым проблемам: тасадай-манубе прекратили бы нормальный для них образ жизни. Доктор Элисалде решил действовать иначе. Тасадаям понравился рис, значит, нужно попробовать научить их его выращивать. Несколько мужчин из леса отвезли в деревню племени маноблит. Манобо-блит выращивают рис самым примитивным и, по мнению ученых, вполне для тасадай-манубе доступным способом: выжигают участок леса и несколько лет используют удобренную золой почву.

Тасадай-манубе внимательно знакомилась с жизнью и работой манобо-блит. Но они не могли взять в толк: зачем зарывать в землю зерно, которое можно съесть? Зачем нужно столько трудиться и ждать, когда можно накопать в лесу съедобных корней, которые совсем не хуже риса?

Некоторое изменение претерпела одежда тасадай-манубе (если можно назвать одеждой ее отсутствие). Все взрослые в племени хоть чем-то стали прикрывать тело, по крайней мере при встречах с посторонними людьми. В остальном материальная культура племени не изменилась. Тасадай-манубе с интересом могли смотреть на различные забавные и непонятные предметы, которых у пришельцев полно, но не выражали при этом ни малейшего желания обладать этими «штучками». Пока еще неясно, почему тасадай-манубе вели себя таким (сильно отличным от других примитивных племен) образом, скорее всего они не привыкли к мысли, что странные, прилетающие на ревуших железных птицах могущественные существа всего лишь люди, как и они сами. А если это не люди, а боги, то у них свои вещи, «божеские», и людям нечего их желать.

Язык тасадай-манубе не обогатился новыми словами. Неизвестно, как они стали обозначать понятия «вертолет», «консервная банка», «рис». Вероятно, прибегали пока к описательному методу: «то, что летит и шумит», к примеру. Новых понятий пока не так много, поэтому еще можно обходиться без новых слов.

Что будет дальше? Этот вопрос тревожил специалистов.

Большинство из них склонялось к мысли, что нужно медленно «выводить» тасадай-манубе на уровень хотя бы самых



отсталых племен острова Минданао. Для тасадай-манубе это, конечно, было бы немыслимым шагом вперед. Постепенно сравнившись с соседями, тасадай-манубе смогли бы развиваться вместе с другими племенами. Может быть, это позволит решить брачную проблему племени, где мужчин больше, чем женщин? Возьмите, к примеру, племя т'боли. Они ведь живут рядом...

Рядом — т'боли

Они действительно рядом: час полета на вертолете, и из района, где проживают тасадай-манубе, можно попасть в деревни племени т'боли. Но если в вашем распоряжении нет вертолета, если вы можете положиться лишь на собственную пару ног — вы доберетесь за месяц. Может быть.

А если вообще не знать, что у вас есть соседи, вы не доберетесь до них никогда.

В Маниле, филиппинской столице, обычно называют остров Минданао «диким-диким Югом». И верно: до самого недавнего времени народы, населяющие горные районы острова, были напрочь изолированы от экономических и культурных центров Филиппин. А это не могло не отразиться на уровне их развития. Внешний мир представлял перед ними в образе миссионера, чиновника, прибывшего переписать население и установить налоги, торговца, втридорога продавшего всякие нужные вещи, сделанные в далеких от гор Минданао местах. После войны с целью поднять культурный уровень Юга, а заодно и «разгрузить» перенаселенные места правительство стало поощрять переселенцев: ведь если на Лусоне, самом развитом из Филиппинских островов, плотность населения достигает трехсот пятидесяти человек на квадратный километр, то на Минданао на том же километре живет едва один человек. При всем уважении к статистике следует оговорить, что излюбленные ею средние цифры хороши на бумаге, а в действительности люди населяют не весь остров, а лишь удобные для жизни прибрежные и равнинные места; в горном тропическом лесу можно бродить месяцами, не встретив

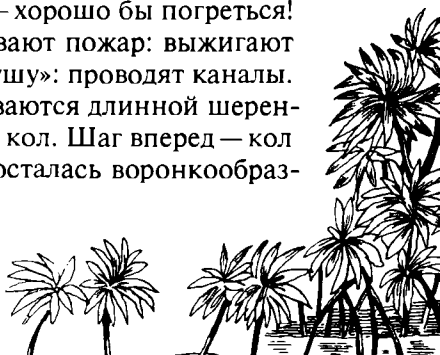
живой души. Переселенцы старались занять именно эти удобные места. Начались конфликты, вскоре горцы познакомились с солдатами, которые защищали христиан-переселенцев. Переселенцы направляются в основном из перенаселенных районов острова Лусон, где живет крупнейший народ Филиппин — тагалы. Тагалы — христиане-католики, их язык — государственный язык Филиппин.

Так возникла между коренным населением и пришельцами глухая стена взаимных обид, вражды и ненависти. Все это отнюдь не помогало основной задаче: поднять культурный уровень Юга. И все же, когда появилась на Минданао промышленность, выросли города, пролегли во внутренние районы дороги, горцы стали понемногу втягиваться в общее развитие страны.

...Когда на карте острова Минданао — даже самой подробной — точками или квадратиками обозначены поселения горцев — барриос, не следует слишком доверять этим значкам. Дело в том, что каждые два-три года горцы переносят свои деревни: поле истощилось, или, как считают люди племени т'боли, «душа риса» ушла из земли и поселилась в новом месте. Надо это место найти. Шаман-дугуни с несколькими помощниками уходят искать участок для нового поля.

«Душа риса», как известно, любит более-менее ровные участки, поросшие деревьями, не слишком толстыми и не слишком тонкими, покрытые высокой травой. Найдя участок, дугуни и его помощники проверяют его: привязывают к колышку поросенка, а сами уходят подальше. Если поросенок за ночь исчез, все в порядке, «душа риса» согласна послужить людям племени т'боли еще года два-три, пока вновь ей не надоест и вновь не переберется она на новый участок. Но и люди за это обязаны хорошо ее поить водой, кормить золой, а по праздникам — кровью поросят и кур. Да и замерзла «душа риса» в земле — хорошо бы погреться! Чтобы согреть ее, мужчины устраивают пожар: выжигают выбранный участок; потом поят «душу»: проводят каналы.

В день посева мужчины выстраиваются длинной шеренгой. У каждого в руках заостренный кол. Шаг вперед — кол выдернут, а там, где он вонзился, осталась воронкообраз-



ная ямка, снова шаг, и так до тех пор, пока не покроется ямками все поле. Следом за мужчинами идут женщины и дети. В каждую ямку кладут зерна; ловким движением пятки засыпают ямку. (Кстати, все эти процедуры с согреванием и кормлением «души риса» в науке называются подсечно-огневым земледелием.)

Дальше уж рисом будут заниматься женщины. Мужская работа окончена, но когда женщины начнут полоть рис, их мужья и отцы придут на поле с тростниковыми флейтами и барабанами, сядут по краям поля и приятной быстрой музыкой будут подбадривать женщин. (Следует признать, что тут горцы Минданао обогнали Европу, где лишь в самые последние годы специалисты по научной организации труда додумались до того, что веселая музыка помогает ускорить темп работы.)

Рисовое поле обрабатывают сообща: выжигают кустарник, вырубая деревья, а дальше каждая семья занимается своим участком сама. И урожай у каждой семьи разный — где больше работников, где меньше, где инвентарь лучше; кое у кого есть и рабы, которые ухаживают за посевами, стерегут урожай от птиц и животных. Рабство у горцев на Минданао патриархальное, попадают в него обычно за долги, и раб может всегда выкупиться, но тем не менее оно существует, ибо у т'боли есть богатые и бедные, есть люди, с трудом дотягивающие до урожая, и есть люди, амбары которых ломаются от риса, бататов, таро.

Как тут не вспомнить тасадай-манубе, которые немедленно делят поровну все, чем завладеют! (И вот вам один из вопросов, мучающих филиппинских этнографов: должны ли тасадай-манубе научиться стяжательству и познать собственность? Некоторые считают, что обязательно должны, ибо без этого они останутся невосприимчивыми к новому. Другие же этнографы полагают, что развитие затерянного племени может пойти и иным путем.)

У риса одна душа, считают люди т'боли. И у каждого дерева есть душа, и у реки, и у камня, и у кошки, и у меча. А вот у человека — две души, правая и левая. Правая душа всегда находится при нем (ну разве что ночью может отправиться на прогулку), а левая большую часть времени стран-

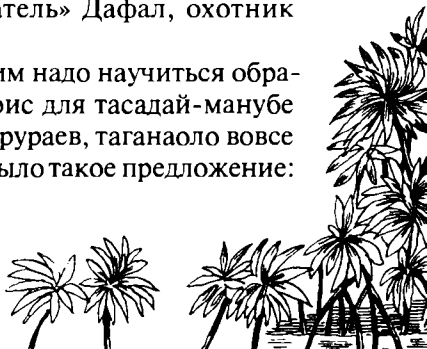
ствует. Когда же человек умирает, правая душа становится духом — покровителем рода; левая же — злым духом или тигром. Иногда такой тигр может превратиться в человека, чтобы коварно вредить людям. Но его очень легко опознать: у него ровные белые зубы. Настоящие же люди подпиливают себе зубы и покрывают их черным лаком.

Когда к горцам приходят миссионеры, говорят непонятные вещи и вмешиваются в жизнь, все видят их звериные белые зубы, и каждому т'боли ясно — это «левые души». Их деятельность заранее обречена на провал. Хорошо еще, если их не убьют, а просто изгонят из деревни под уханье барабанов и заклинания дугуни.

Неожиданный успех имел в горах Минданао манильский монах Педро Бирай. Причина была проста: у проповедника почти все зубы были золотыми (не удержался святой отец от мирской суетности и вместо того, чтобы вставить «почти настоящую» пластмассовую челюсть, украсил рот презренным металлом!). Хотя т'боли и поняли, что у человека таких зубов быть не может, но уж если это дух, то дух какого-нибудь умершего шамана или вождя. И они покорно и быстро выполнили все, что требовал «золотозубый дух». И так же быстро забыли все, чему он учил, стоило лишь ему покинуть горы. Но зато в хижине шамана, помимо старых идолов, появилось несколько икон и статуэток католических святых.

Чему же могут научиться тасадай-манубе у своих соседей? Многому — ибо т'боли искусные земледельцы, хорошие кузнецы и ткачи, они строят удобные дома и проводят воду на свои рисовые поля. И притом все это на столь низком, примитивном уровне, что не требует какого-то предварительного большого запаса культуры для освоения. Вопрос в другом: как объяснить тасадай-манубе, что им надо учиться у соседей? То, что научиться они способны, сомнений не вызывает. Освоили же они ловушки и капканы, делать которые научил их «первооткрыватель» Дафал, охотник из племени манобо-блит.

Но как вы объясните людям, что им надо научиться обрабатывать землю, сажать рис? Ведь рис для тасадай-манубе в отличие от т'боли, манобо-блит, тирураев, таганаоло вовсе не предмет первой необходимости. Было такое предложение:



разбросать в местах обитания тасадай-манубе семена дикорастущего риса: рис прорастет, тасадаи на него наткнутся, соберут, он им — конечно же! — понравится, и они захотят его постоянно иметь на своем столе (мы хотели сказать — на банановом листе, заменяющем стол). Эта теория вряд ли выдержала бы проверку практикой. Ибо одно дело научиться есть рис, а другое — захотеть его выращивать. Филиппинская пословица не зря утверждает, что «все любят рис на столе, но не все на поле».

...Ушла с поля «душа риса», и отправились на ее поиски шаман с помощниками. Глубже и глубже уходят они в горные джунгли, совсем уже близко к не тронутому людьми и временем лесу, где бродят тасадай-манубе. И может быть, несмотря на старания этнографов, очень скоро состоится встреча соседей.

Ведь тасадай-манубе и т'боли рядом; между ними — час полета на вертолете. И тысяча лет...

И все это надувательство...
Но зачем?!

То, что вы прочитали до сих пор, относится к первой сессии, когда история первобытного племени тасадай-манубе стала достоянием мира. На Филиппинах тогда правил президент Фердинанд Маркос, мужчина крутой и суровый, не боявшийся ничего на свете, кроме своей супруги доньи Имельды. И если при режиме Маркоса район проживания тасадай-манубе был закрыт для всех посторонних, это значило, что нечего туда и соваться.

А желающих повидаться с людьми каменного века было очень много: прежде всего этнографы, антропологи и журналисты. Впрочем, объяснения запрету были весьма логичными и убедительными — вы их только что прочитали. Но логика — логикой, а любопытство, особенно ученое, любопытством. И устоять против него ничто не может.

Не устоял и режим Маркоса. Мы, естественно, не хотим утверждать, что падение диктатора вызвано было именно тем, что десяток-другой ученых мужей видел в нем основ-

ное препятствие на пути развития этнографической науки. Нет, конечно, причин и без того хватало. Но все-таки следует помнить, что диктатуры приходят и уходят, а неудержимое стремление к познанию неизведанного остается. Оно — вечно.

И потому понятно, что когда в 1986 году Маркос пал, а с ним его запреты и правила, первое, что сделали несколько достойных антропологов, была стремительная экспедиция на остров Минданао. Без бюрократии, без запросов и — главное — без мелочной опеки Панамина.

Уже в ближайших к заветному лесу деревнях племен т'боли и манобо-блит расспросы ученых вызывали странные улыбки. Нет, никто не смеялся ученым в лицо, но люди как-то отводили глаза. Более того, одному из ученых, побывавших в одной из поездок, устроенных Элисальде, показалось, что он узнал в пьяном, валявшемся у деревенской панситерии (в данном случае — трактира), одного из тасадаев. Был он, правда, в обрезанных джинсах и без украшений в носу... Но, в конце концов, можно и ошибиться, тем более, что на европейский взгляд местные жители сильно схожи между собой..

Наконец нашелся местный активист из охотников, который взялся организовать встречу: он уйдет в лес, найдет тасадаев и договорится, на какую поляну они выйдут. То ли что-то не сработало, то ли еще что, но ученые вышли к поляне несколько раньше условленного времени.

...На поляне выпивали и закусывали несколько мужчин и женщин, совершенно обычно для жителей здешних горных трущоб одетых. Ученые, затаившись в зарослях, с ужасом наблюдали, как они со смехом стягивают платья и джинсы с шортами и опоясываются ветками и листьями. Всеобщее веселье вызвал давешний пьяный: он завязывал лиану поверх ядовитого цвета трусиков. До ученых донеслись его слова:

— Сейчас, как появятся, задрожу от страха и быстро сниму... мистер, гив ми э сигарет! — проблеял он, вызвав общий хохот.

Компания веселилась, разбирая плетеные заплечные корзины и каменные топоры. И онемевшим от момента истины ученым вдруг стало все ясно. И очень неприятно.



Но исследователь должен идти до конца, а отрицательный результат — тоже результат, даже если он сокрушает стройные и логичные теории, построенные, увы, на песке. И ученые сделали шаг к этому отрицательному результату: они шагнули из зарослей на поляну. Псевдопервообытные люди раскололись довольно быстро: бояться больше было некого. Ибо и «Панамин» развалился, и доктор Мануэль Элисалде исчез в неизвестном направлении (найти его не удалось до сих пор). Бывшие тасадаи рассказали, как отбирал их в окрестных деревнях дон Мануэль, как долго убеждал, как соблазнил заработком. Он учил их поведению, и они оказались превосходными актерами, он — это было самое трудное — требовал ходить голыми, еле прикрытыми листочком, он запретил им — может быть, это оказалось еще труднее — кланчить сигареты, выпивку и деньги — невинные дети джунглей не могли и знать о таких вещах.

Помните каменный топор, восхитивший профессора Фокса из Музея естественной истории? Он был один к одному с неолитическим экспонатом музея. Еще бы ему не быть один к одному: по книжке из музея его и делали! Так — позорно! — закончилась одна из крупнейших (и не только этнографических) сенсаций XX века. И больше нечего о ней писать.

Но все-таки не хотелось бы присоединиться сразу к толпам, метавшим камни (заочно) в пропавшего доктора Мануэля Элисалде. Врать, конечно, и надувать весь мир — нехорошо, даже очень плохо. И лишения звания «полного профессора», которое доктор получил за свое «открытие», он заслуживает.

Но... Задержим руку с камнем, дорогой читатель. Какие выгоды черпал Элисалде из своего надувательства? Степень? Шаткую славу? Звание профессора? Согласитесь, что все это, в сущности, слишком ничтожно, чтобы из-за этого обманывать весь мир.

Кажется, Элисалде руководствовался совсем другим. Он ведал национальными меньшинствами, а улучшить их положение и привлечь к ним внимание ему не удавалось. Не было в стране средств, крал Маркос, в десять раз

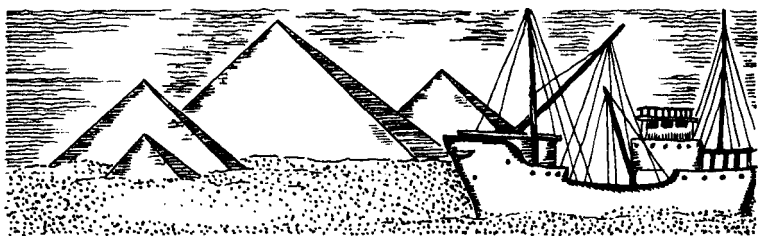
больше воровала донья Имельда, а также каждый из мощного клана бюрократов-паразитов.

А племенам надо было помочь, пока не спились, не вымерли, не разбрелись по трущобам больших городов и мелких поселков. И иностранная помощь была просто необходима. Не потому ли и задумал доктор Элисалде свою сомнительную операцию «Неведомое миру племя»? Повторяем, это всего лишь предположение.

Но пусть в Элисалде бросит камень кто сам не грешен...



Почти заключение
Нильский пароход
(Прибытие в порт назначения)



Пока пароход стоит, к борту лучше не притрагиваться: обжигает. Но после пяти вечера на палубе быстрого судна стало холодновато, ветер нильских просторов пронизывал и напоминал, что февраль он и в Африке февраль, даже в десяти градусах от тропика Рака. Но стоило «Аиде» застопорить ход, и вновь стало тепло. Мы шли к северу и прибыли в город Идфу.

Ночью пароходы по Нилу не ходят: мели. Они швартуются впритык бок к боку у пристани. Открывают дверцы в бортах, и к набережной надо идти через два-три корабля. (Кстати, утром я не мог понять: отчего в восемь утра полумрак, как в Москве зимой? Оказалось, что ночью к нам притерся следующий пароход, а за ним — еще один — «Аида VII»). Получается очень обширная и вместительная гостиница у пристани.

Через три парохода (в гостиной одного из них сидели вокруг большого кальяна и курили нильские капитаны; рядом на низеньких столиках — у каждого свой — стояли кофейники и крошечные чашечки) мы прошли на набережную. Это была самая европейская часть города, в чем мы скоро убедились. Набережная была пыльновата. Повсюду сидели в уличных кафе люди, пили чай и курили кальяны: каждый доставал свой мундштук и вставлял его в гибкую трубку, идущую от основного кувшина. Мерцали экраны телевизоров. Пахло резко, как-то по-восточному и по-юж-

ному: смесь запахов от реки, от выплеснутой на тротуар воды, от какого-то растения с мясистыми листьями. Пахло кофе и пряностями. Пахло пылью.

Еще больше народу, шаркая, шло вдоль набережной. Европейских костюмов не видно. Шли какие-то величавые старцы в долгополых одеждах, в плащах-накидках, некоторые с посохами. Лица хотя и не совсем негритянские, но уже почти черные. Как-то очень чувствовалось, что мы не только на мусульманском Востоке, но и в Африке. Прежде всего — в Африке.

Поплутав в кривых почти не мощеных переулках, освещенных лишь лампами в проемах домов, мы вышли на небольшую площадь. И здесь — но не на воздухе, а в голых серых помещениях — курили и пили чай люди. Молча. В одной комнате — двери распахнуты — на чем-то вроде широкой деревянной кровати сидели, поджав ноги, два человека. Они безмолвно смотрели друг на друга. Что они делали? Редкие прохожие удивленно на нас оборачивались.

Мы пошли на свет и очутились у мощного входа с еле различимыми барельефами на колоннах. То был храм египетского бога Гора.

Прошу извинения у читателя, но я совершенно сознательно не описываю храм бога Гора. То же относится и к Долине царей в луксорском Занилье (следует понимать: противоположном берегу Нила).

Скажу лишь, что Долина очень обширна, совершенно безжизненна, а дорога к усыпальницам напоминает дорогу в ад. Уже от берега и до самого входа в Долину громоздятся высокие и — по сравнению с прибрежными деревенскими хижинами из ила — благоустроенные дома, расписанные в хрестоматийно-древнеегипетском стиле.

Подойдя ближе, я увидел вывески на них: «Институт алебаstra», «Академия алебаstra», «Алебастровая школа» — судя по обилию этих, несомненно, научных заведений, я попал в местный Академгородок древнеегипетских наук. Но тут из одного института выскочил человек со статуэткой в руках и кинулся ко мне с криком:

— Сэр! Подлинный алебастр из раскопок! Дешево, сэр!

На плече у него висела прозрачная пластиковая сумка, полная алебастровых скарабеев. Они, несомненно, были подлинниками из раскопок. И очень свежими подлинниками.

Я понял, куда попал. Под академическими вывесками скрывались кустарные мастерские по производству древностей. По секрету вам расскажут, что правительство давно собирается переселить отсюда людей, ибо под каждым домом есть шурф («Это семейная тайна, сэр! Три тысячи лет в нашей семье!»). При этом торговец ваткой быстро счищает со статуэтки свежую алебастровую пыль. Покупка подлинных, с пылу с жару древностей тоже входит в атмосферу путешествия по Нилу.

Г-н Кукушкин, мой спутник, обстоятельный человек в народовольческой бороде, пресытился древностями и возжелал купить кальян. Именно в Луксоре, ибо в здешних кофейнях он углядел просто роскошные курительные приспособления. К нему часто приходят друзья, пояснил он, и вместе они будут предаваться восточной неге, любуясь через окно пейзажами Фили-Мазилова.

Кукушкин попросил меня быть свидетелем при заключении сделки, пригласил еще одну даму. У входа в магазинчик стояла масса кальянов, кальянчиков и совсем маленьких кальянчат. Я показал на лавку г-ну Кукушкину. Тот мотнул головой: он уже был здесь, но здешние кальяны показались ему технически несовершенными.

В другой предложили неплохой кальян и предложили опробовать, для чего тут же достали спецуголь, спецтабак и глиняную чашечку. Г-н Кукушкин не решился на столь серьезный шаг, так как никогда не курил до этого кальяна. Я — тоже, но покупать вдвоем Кукушкину казалось надежнее. Вдвоем он собирался энергичнее сбить цену и потребовать в подарок две пачки местного табака.

Еще от дверей лавки я увидел на полке керамическую фигурку — уморительного старичка в серой галабее и красном тарбуше. Я тут же влюбился в эту фигурку и потребовал от г-на Кукушкина, чтобы он выпросил ее в виде подарка и отдал мне.

Хозяин же норовил всучить в дар скарабея, который в здешних краях служит как бы разменной монетой. Их вручают вместо сдачи или дарят при удачной (для продавца) покупке. Скарабеи бывают синие и серые, размером от таракана до детского кулака. Наши сумки и даже карманы были уже полны скарабеев.

Старик, заверял продавец, слишком дорог — 25 фунтов. Сам он берет такие фигурки по 30. И продает не каждому, а только тем, кто ему понравится. Это бывает не каждый день. Он оценивающе посмотрел на меня.

— Значит, я не зря зашел в ваш магазин, — отвечал я благодарно, — хотя что-то похожее видел в других местах...

— И правильно сделали! — перебил меня продавец.

— ...но у меня, увы, нет должных денег. Десять фунтов, — упорно продолжил я, — и ни куруша больше!

Призывая Аллаха, мы пустились в торг.

— Двадцать пять и халас!

— Десять, чтобы не огорчить тебя. Когда ты еще увидишь достойного гостя?

— Двадцать пять, и я теряю на этом!

— Аллах на небе! — горестно воскликнул я.

— Ты мусульманин? — продавец понизил голос.

— Я — не шиит, — искренне ответил я полуправдой.

— О, брат, двадцать два!

— Десять, о, брат, ибо нет у меня денег, но я хочу, чтобы ты обо мне помнил.

Он сделал заход с другой стороны:

— А ты постишься в рамадан?

— О, брат, — отвечал я, показывая на своих светловолосых спутников, — мы вместе делим трудности пути, и как мог бы я усугубить их трудности? Разве смогли бы они есть, глядя на меня?

— Трудно тебе, брат! Двадцать!

— Сказано ведь: «Возьми их грех на себя», — благочестиво сказал я, не подчеркивая, что сказано это мною и только что, — одиннадцать!

— Да, так сказано. Пятнадцать, брат!

— Двенадцать и все, машалла!

— Тринадцать, но только для тебя, иншалла, и не говори никому, за сколько ты купил.

Продавец победил. Я сдался. Честно говоря, я купил бы и дороже, очень уж мне понравилась фигурка. Даже не знаю почему. Мы хлопнули по рукам.

Он завернул статуэтку в обрывок газеты «Аль-Ахрам». Мы покурили с Кукушкиным. Кальян так уютно булькал...

Вдохновленный победою надо мною (и, очевидно, господином Кукушкиным) хозяин подарил ему табак. И сунул нам по скарабею. Время поджимало. По случаю удачной и объемистой покупки г-н Кукушкин кликнул фаэтон. Вдоль викторианских фасадов старомодных отелей мы двигались к «Аиде II» под цоканье копыт.

Я развернул сверток, чтобы еще раз полюбоваться покупкой. Старец браво глянул на меня из-под тарбуша. И я вдруг понял, чем привлекла меня эта фигурка.

Это был один к одному капитан нильского парохода...

Оглавление

| | |
|--|-----|
| Нильский пароход (Отплытие) | 7 |
| Глава 1. О пользе вежливости | 13 |
| Глава 2. Есть ли у иноземцев чувство юмора? | 33 |
| Глава 3. Отведать ишкембе. | 48 |
| Глава 4. Краткие заметки о полевых исследованиях. | 72 |
| Глава 5. Четыре мира | 86 |
| Глава 6. Брахманы, которых я видел | 145 |
| Глава 7. В тот день в Пенанге | 183 |
| Глава 8. Чудеса буднего дня | 205 |
| Глава 9. Бамбуковые письма | 233 |
| Глава 10. Как исчезает этнос (Трагедии этнографии). | 247 |
| Глава 11. Придуманные люди с острова Минданао (Трагикомедия этнографии) | 258 |
| Почти заключение. Нильский пароход (Прибытие в порт назначения) | 280 |

- Минц Л.
М62 Придуманные люди с острова Минданао / Лев Минц. — М.: «Ломоносовъ», 2010. — 288 с.
ISBN 978-5-91678-051-2

Эта книга посвящена мелочам, из которых состоит этнография буднего дня. Есть ли у иноземцев чувство юмора, и чем оно отличается от нашего. Какие русские слова нельзя произносить при иностранцах. Что делать, когда зовут за стол в чужой стране, — отзываться на приглашение, или местные правила требуют ритуального отказа. Как понимают личную собственность разные народы. Обо всем этом рассказывает увлекательная книга Льва Минца, в недавнем прошлом ведущего сотрудника журнала «Вокруг света». В 2009 году в издательстве «Ломоносовъ» вышла его книга «Котелок дядюшки Ляо».

УДК 392

ББК 26.8

История. География. Этнография

Минц Лев Миронович

Придуманные люди
с острова Минданао



Редактор В. Петров
Художественный редактор Е. Трушина
Верстка М. Васильевой

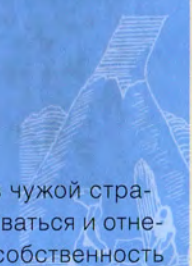
Подписано в печать 20.04.2010.
Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 18,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 2388.

ООО «Издательство «Ломоносовъ»
119270 Москва, Лужнецкая набережная,
д. 2/4, стр. 8, 4 этаж, офис 400
Тел. (495) 788-85-20
info@lomonosov-books.ru
www.lomonosov-books.ru

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Сайт: www.oaomprk.ru тел.: (495) 745-84-28 (49638) 20-685

Лев Минц
Придуманные
люди с острова
Минданао



Что делать, когда зовут за стол в чужой стране, — сразу садиться или отказываться и отнекиваться? Как понимают личную собственность разные народы? Есть ли у иноземцев чувство юмора, и чем оно отличается от нашего? Как не попасть впросак, если лесть у одних звучит как брань у других? Какие русские слова нельзя произносить в иноязычной среде и почему? На эти и многие другие вопросы отвечает эта увлекательная книга. А кроме того, в ней пойдет речь о самом крупном надувательстве в области этнографии — «подставном» племени в филиппинских джунглях.

Читатели «Вокруг света» времен его расцвета хорошо помнят Льва Минца — свыше тридцати лет он был ведущим сотрудником журнала. В нашем издательстве в 2009 году вышла его книга «Котелок дядюшки Ляо».

ISBN 978-5-91678-051-2



9 785916 780512